АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Исследования „Слова о полку Игореве“



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

Исследования „Слова о полку Игореве“



Ответственный редактор
Д. С. ЛИХАЧЕВ



ЛЕНИНГРАД
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1986

Сборник приурочен к восьмисотлетию со времени создания выдающегося памятника древнерусской литературы — «Слова о полку Игореве». Статьи сборника содержат новые разыскания о походе Игоря Святославича в 1185 г., о времени написания «Слова», анализ особенностей поэтики памятника и его ритмического строя, лингвистический комментарий к «темным местам» текста. В книгу включена также библиография основных работ о «Слове» за последние 40 лет.

Сборник рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся «Словом о полку Игореве», а также историей, литературой и духовной культурой Древней Руси.

Заставки и концовки в книге исполнены по рисункам М. В. Добужинского.

Редколлегия:

Л. А. ДМИТРИЕВ, Д. С. ЛИХАЧЕВ, О. В. ТВОРОГОВ

Рецензенты:

В. В. КОЛЕСОВ, Л. В. СОКОЛОВА

И $\frac{4603010101\text{-}538}{042(02)\text{-}86}$ 344-86-I

ПРЕДИСЛОВИЕ

800 лет прошло со времени похода Игоря Святославича Новгород-Северского в Половецкую степь (май 1185 г.). Однако событие это замечательно в русской истории не само по себе, а тем, что ему посвящено «Слово о полку Игореве» — величайший памятник русской и мировой литературы. Опубликованное в 1800 г., «Слово о полку Игореве» стало неотъемлемой частью русской и мировой культуры XIX—XX вв. С течением времени интерес к «Слову» не только не проходил, но возрастал все больше и больше. Едва ли найдется еще такой литературный памятник, которому, несмотря на его краткость, было бы посвящено столько исследований, как «Слову о полку Игореве». Литература о «Слове» огромна, и все же до сих пор многие вопросы поэтики памятника, его литературной истории, вопросы толкований текста произведения, истории его в литературном и культурном процессе нового времени не до конца раскрыты и вновь и вновь привлекают к себе внимание и специалистов, и многочисленных любителей этого удивительного творения человеческого гения.

В предлагаемом вниманию читателей сборнике статей, посвященных «Слову о полку Игореве», участвуют и исследователи-филологи, уже давно и много занимавшиеся «Словом», и филологи, впервые выступающие со статьями о «Слове», и историки, и искусствоведы, и поэты, и просто любители «Слова о полку Игореве». В статьях сборника рассматриваются вопросы поэтики памятника и его литературной истории, вопросы текстологии «Слова», анализируются некоторые аспекты историко-культурной жизни «Слова» в XVIII в. и в наше время. Несмотря, однако, на разнообразие и разнохарактерность статей, составляющих этот сборник, большинство из них объединяет то, что все они так или иначе затрагивают вопросы семантики текста «Слова о полку Игореве», т. е. в конечном счете стремятся полнее и глубже раскрыть смысл и поэтическую сущность «Слова о полку Игореве».

Открывается сборник статьей Д. С. Лихачева «Предположение о диалогическом строении „Слова о полку Игореве“», в кото-

рой рассматривается текст «Слова» как текст, безусловно созданный одним автором, но, возможно, построенный с расчетом на исполнение его двумя лицами. Д. С. Лихачев подчеркивает, что выдвигаемая им гипотеза — «не более чем догадка», хотя она находит подтверждение в наблюдениях над «Словом» музыковеда Л. В. Кулаковского, пришедшего к выводу о том, что в музыкально-словесный замысел автора входил расчет на исполнение его произведения двумя или несколькими певцами.[1] Предлагаемый Д. С. Лихачевым подход к тексту «Слова», несмотря на всю его предположительность, дает возможность, как отмечает сам Д. С. Лихачев, «выявить в „Слове“ некоторые „рельефы“, которые иначе были бы незаметны». Гипотеза о диалогическом строении «Слова», о том, что «Слово» было предназначено для амебейного исполнения, заслуживает тем большего внимания и дальнейших поисков в этом направлении, что типологически этому соответствует амебейное исполнение произведений поэзии ранней европейской литературы.

В статье А. А. Горского рассматриваются существующие в настоящее время в науке гипотезы о дате написания «Слова о полку Игореве», относящие его создание к концу XII в. Наиболее распространенной была точка зрения, согласно которой создание «Слова» относилось к 1187 г. Хронологические уточнения Н. Г. Бережкова по русскому летописанию показали, что доводы, приводимые в пользу такой датировки (время возвращения из плена Владимира Игоревича и дата смерти Ярослава Осмомысла), не могут приниматься в расчет.[2] А. А. Горский, отвергая на основе данных Н. Г. Бережкова датировку «Слова» 1187 г., анализирует три остальные гипотезы, в которых с развернутой аргументацией обосновывается датировка «Слова»: 1185 г. (Б. А. Рыбаков), 1194—1196 гг. (Н. С. Демкова) и 1198—1199 гг. (Б. И. Яценко). Автор статьи приходит к выводу, что перечисленные точки зрения нельзя признать достаточно убедительными. Считая, что «Слово» в том виде, в каком оно дошло до нас, могло быть написано после возвращения Владимира Игоревича из плена (1188 г.), учитывая характер междукняжеских взаимоотношений и русско-половецких отношений в конце XII в., А. А. Горский приходит к заключению, что «Слово» было создано осенью 1188 г.

В статье Б. И. Яценко «Черниговская повесть о походе Игоря

---

[1] *Кулаковский Л. В.* Песнь о полку Игореве: Опыт воссоздания модели древнего мелоса. М., 1977. Ср. также более раннюю работу Л. В. Кулаковского: Песнь о полку Игореве. (Проблема воссоздания музыки). — Советская музыка, 1946, № 12, с. 77—89.

[2] См.: *Бережков Н. Г.* Хронология русского летописания. М., 1963. Сделанные Н. Г. Бережковым уточнения времени смерти Ярослава Осмомысла и возвращения сына Игоря из плена были в свое время приняты во внимание Н. С. Демковой. См.: *Демкова Н. С.* К вопросу о времени написания «Слова о полку Игореве». — Вестн. Ленингр. ун-та, 1973, № 14. Сер. истории, языка, литературы, вып. 3, с. 73.

Святославича в 1185 г.» рассматривается вопрос о существовании различных по происхождению летописных повестей, посвященных походу Игоря. Наблюдения Б. И. Яценко над различным характером изложения событий в первой и второй редакциях «Истории российской» В. Н. Татищева как отражением того, что это было обусловлено различными источниками, которыми пользовался Татищев, представляют значительный интерес. Необходимо отметить, что более углубленное и пристальное изучение всех летописных материалов, связанных с событиями 1185 г. и ближайших к этому времени дат, может внести новые оттенки в наше понимание событий того времени и уточнить тем самым ряд вопросов, связанных с литературной историей «Слова о полку Игореве».

Автор статьи «Мотив движения в „Слове о полку Игореве“ и литературе Руси XII в.» Г. Ю. Филипповский на ряде конкретных примеров показывает, что характерный для «Слова о полку Игореве» динамизм, при всем его своеобразии, присущ и всей литературе XII в.

Л. В. Соколова, анализируя смысл зачина в «Слове о полку Игореве», останавливается на вопросе об отличии литературных задач автора «Слова» от творческой манеры Бояна, характеризует разницу в идеологической направленности творчества Бояна и автора «Слова». Л. В. Соколова уделяет внимание выдвинутому впервые Д. С. Лихачевым вопросу о роли «плачей» и «слав» в «Слове о полку Игореве» и дополняет наблюдения Д. С. Лихачева по этой проблеме своими соображениями.

Статья В. В. Медведева также посвящена начальной части «Слова о полку Игореве» — вопросу об изображении в памятнике солнечного затмения. Автор этой статьи, предлагая внести конъектуру во фразу «Слова»: «Спала князю умь похоти, и жалость ему знамение заступи...» (вместо «ему» — «чему»), считает, что поэтическая логика «Слова» не требует никаких перестановок текста в упоминаниях солнечного затмения: в обоих случаях автор «Слова о полку Игореве» говорит о солнечном затмении как о событии, которое произошло уже после выступления Игоря в поход.

В статье Я. И. Гина «К истолкованию финала плача Ярославны» с лингвистической точки зрения анализируется заключительная фраза плача Ярославны: «Въ полѣ безводнѣ жаждею имъ лучи съпряже, тугою имъ тули затче...». Вывод Я. И. Гина о полисемантизме этой фразы, о том, что автор «Слова» хотел достигнуть структурно-семантической неоднозначности избранной им конструкции, представляет интерес в плане углубления нашего представления о поэтике «Слова о полку Игореве». Примечательно в этом отношении, что поэт Андрей Чернов, переводчик «Слова», статьей которого завершается настоящий сборник, приходит к выводу о ярком проявлении в «Слове» поэтической полисемии. Вопрос о полисемии «Слова» весьма существен как для понимания самого «Слова о полку Игореве», так и для объясне-

ния своеобразного феномена этого памятника древнерусской литературы: неисчерпаемой многозначности очень небольшого по объему текста и в смысловом и в поэтическом отношении.

Приведенная А. Д. Михайловым интереснейшая параллель к похвале воинам-курянам в «Слове» из старофранцузского текста дает новый материал для типологических сопоставлений «Слова» с одновременными ему явлениями в других европейских литературах.

В статье Н. А. Мещерского и А. А. Бурыкина «Проблема критического текста „Слова о полку Игореве“» рассматриваются существующие в науке прочтения отдельных мест «Слова», носящие спорный характер, а также имеющиеся конъектуры. Авторы статьи выносят на обсуждение свои соображения по этим вопросам, предлагают собственные прочтения и конъектуры. Статья имеет и историографический характер и самостоятельное значение в текстологии «Слова».

К статье Н. А. Мещерского и А. А. Бурыкина тематически примыкают статьи Э. Я. Гребневой и Р. Манна, авторы которых выступают с толкованием отдельных фраз и слов «Слова о полку Игореве». В статьях Э. Я. Гребневой особого внимания заслуживает привлечение автором для истолкования текста «Слова» славянских переводов памятника и славянских языковых данных. Статья Р. Манна интересна обращением автора к свадебным фольклорным текстам, которые дают бесспорно заслуживающие внимания параллели к тексту «Слова о полку Игореве».

В статье В. Г. Пуцко «Искусство Киевской Руси на рубеже XII—XIII вв.», носящей обзорный характер, дается общее представление о состоянии и развитии русского искусства в этот период.

В последнее время вопрос об истории текста и рукописи «Слова о полку Игореве» в конце XVIII—начале XIX в. неоднократно привлекал внимание исследователей. Однако новых, до этого неизвестных архивных материалов, непосредственно относящихся к тексту «Слова», обнаружено не было. Тем больший интерес представляет найденная В. П. Козловым цитата из древнерусского текста «Слова о полку Игореве» в рукописи «Опыта повествования о России» И. П. Елагина. Цитата из «Слова» в труде И. П. Елагина является бесспорным документальным свидетельством того, что А. И. Мусин-Пушкин стал владельцем рукописи «Слова» во всяком случае не позже 1793 г. Это документальное свидетельство ценно тем, что оно окончательно подтверждает целый ряд предположений по истории рукописи «Слова», основанных на косвенных данных. Обнаружение выписки из «Слова» в историческом труде И. П. Елагина ценно и тем, что это расширяет наше представление о круге лиц, связанных с А. И. Мусиным-Пушкиным, которым было известно открытие им рукописи «Слова» и которые интересовались этим памятником древнерусской литературы. Наконец, открытие В. П. Козлова свидетельствует о том, что подобного рода находки,

связанные с историей рукописи «Слова» в XVIII в., еще возможны.

Статья В. В. Колесова «К акцентной реконструкции „Слова о полку Игореве“» представляет собой обстоятельный ответ на появившийся в зарубежной печати отклик на ранее опубликованное исследование В. В. Колесова по этому вопросу в ТОДРЛ.

В статьях «Против дилетантизма в изучении „Слова о полку Игореве“» Д. С. Лихачева и «Несостоявшееся открытие («поэмы» Бояна и «Слово о полку Игореве»)» М. А. Робинсона и Л. И. Сазоновой рассматривается очерк А. Никитина «Испытание „Словом...“», опубликованный в 1984 г. в журнале «Новый мир». Обе статьи дают исчерпывающую критику очерка, однако не это является главной целью публикации их в настоящем сборнике. Критика общих положений, конкретных ошибок, натяжек, произвольных толкований А. Никитина, которыми пестрит его работа, имеет принципиальный характер. На конкретном примере в данных статьях показывается опасность произвольного, антинаучного подхода к «Слову о полку Игореве». К сожалению, во многих работах по «Слову» наметилась тенденция слишком безответственного, поверхностного отношения к этому памятнику древнерусской литературы. Создается впечатление, что отдельные толкователи «Слова» превратили его в некий полигон для упражнений в своих домыслах по толкованию древнерусского текста памятника и древнерусской литературы вообще. И это наиболее ярко проявилось в очерке А. Никитина, у которого «Слово о полку Игореве» из оригинального, тесно связанного своей идейной направленностью с событиями 80-х гг. XII в. памятника превращается в компиляцию, составленную из «поэм» Бояна, которые никому неизвестны и искусственно «воссозданы» самим же Никитиным. Пример «исследования» А. Никитина свидетельствует о том, что к древнерусским текстам при их истолковании необходимо относиться так же бережно, как и ко всяким другим памятникам древности. Неквалифицированное, дилетантское вмешательство в литературный памятник наносит ущерб нашему культурному наследию.

Образцом бережного и вдумчивого отношения к «Слову о полку Игореве» может служить опыт изучения «Слова» И. П. Ереминым, одним из виднейших советских специалистов по истории древнерусской литературы, много сделавшим в исследовании «Слова». Характеристике научных трудов И. П. Еремина по «Слову о полку Игореве» посвящена статья Л. А. Дмитриева.

В статье искусствоведа Г. И. Чугунова рассматривается графический цикл М. В. Добужинского к «Слову о полку Игореве». Эта статья интересна не только тем, что в ней дается характеристика мало известного у нас графического цикла к «Слову» одного из самых прославленных мастеров русской книжной графики, но и тем, что те принципы, которыми руководствовался М. В. Добужинский, иллюстрируя «Слово о полку Игореве»,

важны при рассмотрении проблемы иллюстрирования этого памятника вообще.

Краткая тематическая библиография по «Слову о полку Игореве» О. В. Творогова охватывает период с 1940 г. до нашего времени. Библиография эта представит интерес как для специалистов по «Слову о полку Игореве», так и для всех, кто в той или иной связи занимается «Словом». Вместе с тем библиография эта служит очередным напоминанием о необходимости составления полной аннотированной библиографии «Слова о полку Игореве» со времени открытия памятника и до наших дней.

Завершается сборник статьями поэтов И. И. Шкляревского и А. Ю. Чернова. Наблюдения поэтов-переводчиков «Слова о полку Игореве» по поэтике памятника, истолкование ими отдельных сложных по смыслу отрывков текста представляют несомненный интерес.

Л. А. Дмитриев



Д. С. Лихачев

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ О ДИАЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Внимание мое давно обратило на себя своеобразное маятниковое движение темы в «Слове о полку Игореве». Вслед за упоминанием или рассказом об одном географическом пункте в действие вводится географический пункт на противоположном конце Руси; за общим размышлением — конкретный факт, и наоборот; вслед за событием — лирический вздох, вслед за современпой автору «Слова» действительностью — обращение к истории и т. д. Я всегда объяснял это широтой художественного восприятия действительности автором и монументализмом формы «Слова», присущими его эпохе. И от этого я не отказываюсь и сейчас. Стиль, к которому принадлежит «Слово», — стиль исторического монументализма или монументального историзма (можно сказать и так и так). В XI—XIII вв. он сказывается и в летописях, и в поучениях, и в житиях святых, и в исторических повестях. Он имеет себе аналогии в живописи, в зодчестве, в политической мысли. Отголоски его сохранились в былинах на сюжеты, связанные с Киевом. Для этого стиля характерно «широкое ви́дение», вовлечение в действие больших пространств, постоянный перенос действия из одного пункта страны в другой и т. д.

Однако вот что обращает на себя внимание именно в «Слове»: бинарность, как бы два удара, смысловых, фразовых, логических... Если бы переходы в «Слове» от одной темы к другой объяснялись ассоциативным характером художественного мышления автора только под воздействием господствующего монументализма и широты художественного ви́дения, то почему только «два удара» или четное их число: как бы вопрос и ответ, как бы факт и обобщение, как бы обобщение и факт?.. Там, где мы видим большее скопление «ассоциаций», — число их четное, и мы можем их расположить снова по два. Только в самом конце «Слова о полку Игореве» два удара, как мы покажем, сливаются в один сильный.

В ряде случаев автор говорит о себе во множественном числе, как бы рассчитывая заранее на исполнение своего произведения

несколькими исполнителями: «Не лѣпо ли ны бяшетъ, братие...», «Почнемъ же, братие...». Характерно, что множественное или двойственное число (оба числа в XII в. уже смешивались) употребляется тогда, когда речь идет об исполнении. Когда же говорится о восприятии, тогда выступает певец от своего имени: «Что ми шумить, что ми звенить»; это субъективное восприятие одного исполнителя.

Правда, первое лицо множественного числа могло относиться и к одному исполнителю, объединяющему себя с аудиторией, тем более что автор называет себя также и в единственном числе — «внуком» Бояна (хотя «внук Бояна» может быть истолкован, как мы увидим в дальнейшем, и иначе — в качестве одного из исполнителей). Но, с другой стороны, особый автор, изображенный в «Слове о полку Игореве», — сочинитель «Золотого слова» Святослав — говорит о себе в своем «слове» только в единственном числе. Предшественники же автора «Слова о полку Игореве» — Боян и Ходына (конъектура, свидетельствующая, что певцов — двое, предполагаю, верна) говорят о себе в двойственном числе («Святъславля пѣснотворца... Ольгова коганя хоти»).

Возникает вопрос: не рассчитано ли было «Слово о полку Игореве» на двух исполнителей, на амебейное исполнение?

В самом деле, «Слово» исполняется как бы двумя певцами. Второй развивает мысль первого, его факт, его образ, вводит иногда свое толкование или аналогию через союз «а» — присоединительный, начинательный, обособительный, разделительный, противительный: «а половци неготовами дорогами побѣгоша», «а не сорокы втроскоташа», «а храбрии русици преградиша чрълеными щиты» и пр. или союзом или местоимением «то», наречием «тогда», наречием «тут» и пр. Но бывает, что второй певец подхватывает и развивает мысль первого безо всякого переходного слова. В некоторых местах «Слова» мы ясно видим, что второй певец продолжает свою, перед тем высказанную мысль, как бы перебивая первого певца, заставляя песнь вернуться к старой, уже высказанной мысли. Отсюда многочисленные повторения в «Слове», создающие его своеобразный ритм: ритм не только слов, но и ритм мыслей и образов.

В своем замечательном, к сожалению, обратившем на себя мало внимания литературоведов музыковедческом труде «Песнь о полку Игореве. Опыт воссоздания модели древнего мелоса» (М., 1977) Л. В. Кулаковский непреложно установил путем тщательного исследования и сопоставления с народными песенными произведениями, что «Слово» по своей форме близко к народному песенному мелосу чрезвычайным разнообразием метроритмики, характером изложения, наличием «перебоев» и т. д. Далее Л. В. Кулаковский отмечает, что при всем единстве музыкального замысла «Слова», указывающего на одного автора, в тексте «Слова» ясно ощущается наличие «второго певца» (с. 31), «возможное участие двух и более певцов», входившее, очевидно, в музыкально-словесный замысел автора. Не приводя полностью всю

пространную и хорошо аргументированную концепцию автора, укажу лишь на некоторые примеры, где «двоичность» и «двуэпизодность» «Слова» подчеркнута Л. В. Кулаковским особенно энергично. Эта двоичность «Слова» выступает, по Л. В. Кулаковскому, наиболее отчетливо в выделяемых им «микроэпизодах» «Слова». Если в общей структуре произведения может быть выделен принцип троичности, тройного построения, то в микроэпизодах выступает отчетливее двоичность.

Л. В. Кулаковский пишет: «„Тройное" построение, действительно, типично, скажем, для заклинаний; в „микромасштабах" оно дает себя знать в частой трехсложности русских слов, в распространенности трипольного деления, трехдольных размеров. В максимально широком развитии этот принцип, действительно, проявился в общем разделении рапсодии (так Л. В. Кулаковский называет в данном случае «Слово». — *Д. Л.*) на три резко контрастирующие части. Всем этим примерам можно, однако, противопоставить и частное „двоичное" деление, тоже имеющее свои глубокие корни. В микромасштабах — это двудольность ходьбы, дыхания, сказывающаяся на частых случаях двудольных метров. В немного более крупном масштабе „двоичность" построения обусловлена, например, принципом „психологического параллелизма", таким важным в народном песенном творчестве, в частности, русском и украинском: принципом сопоставления образного, символического тезиса — с разъясняющим его вторым построением. Дыхание этого народного принципа художественного мышления явственно ощущается в ряде мест „Песни о полку Игореве". Принцип этот, заметим, дает гораздо более органическую связь частей, чем принцип трехчастного построения, продиктованного мистическим правилом троичности заклинаний. В самом широком по масштабу проявлении принцип этот можно усмотреть в вещем сне Святослава и последующем разъяснении этого сна боярами. В более скромных масштабах этот принцип сопоставления образного тезиса с немедленным разъяснением его можно обнаружить в нескольких местах рапсодии, начиная уже с „Большого зачина", где поэт говорит о десяти соколах, пущенных на стадо лебедей, а в конце — разъясняет, что речь шла о 10 пальцах на златых струнах. Часто „двудольность" изложения возникает и в перечислениях, и в двойном расчленении фразы: „Ту ся копиемъ приламати... Ту ся саблямъ потручяти"; „Хощу бо, рече, копие приломити... хощу главу свою приложити". Ярко „двоичны" и все случаи двустрофности» (с. 107). Достаточно длинная цитата из книги Л. В. Кулаковского далеко не исчерпывает всех тех примеров двоичности в построении «Слова», которые выявлены внимательным наблюдением Л. В. Кулаковского.

Отличие моего понимания строения «Слова» от понимания его Л. В. Кулаковским заключается в том, что я исключаю все предположения о том, что «Слово» могло исполняться больше чем двумя певцами, и в дополнительном, как мне представляется,

важном наблюдении, что эти два певца противопоставлены друг другу по отношению к событиям, о которых в «Слове» идет речь. Два певца сменяют друг друга, по моему мнению, не потому, что исполнение одним певцом было бы слишком утомительным, а потому, что автор «Слова» (он несомненно один, и в этом я целиком согласен с Л. В. Кулаковским) распределил как бы роли между двумя певцами. Один сообщает — другой толкует, один рассказывает — другой выражает свои эмоции по поводу рассказанного.

Попытаемся прочесть «Слово» именно в таком аспекте. Заранее должен оговориться, что деление текста «Слова» между двумя певцами разного типа дается сугубо предположительно. Предположительна и вся концепция о диалогическом строении «Слова». Она не более чем догадка.

Разделим текст «Слова» между двумя различными певцами. Первый певец поет: «Не лѣпо ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми словесы трудныхъ повѣстий о пълку Игоревѣ, Игоря Святъславлича!» Вопроса в конце этой фразы нет: есть утверждение, что начинать «трудные» повести о походе Игоря «лепо» «старыми словесы».

Итак, первый певец предлагает исполнять песнь «старыми словами», в традиционной манере.

Второй певец возражает. Он предлагает петь по «былинам сего времени», т. е. в согласии с тем, как события произошли: «Начати же ся тъй пѣсни по былинамь сего времени, а не по замышлению Бояню!». Второй певец — сторонник фактического рассказа, «по былинам сего времени», а не в старомодной, пышной манере Бояна.

Первый певец, сторонник Бояна, объясняет: «Боянъ бо вѣщий, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется мыслию по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы». Первый певец настаивает на пении в духе Бояна, и об этом свидетельствует частица «бо»: она может относиться только к первой фразе и напоминает далее, что Боян имел не только превыспреннюю манеру, но мог петь и по былинам своего времени: «Помняшеть бо, рече, първыхъ временъ усобицѣ. Тогда пущашеть 10 соколовь на стадо лебедѣй: который дотечаше, та преди пѣснь пояше — старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю предъ пълкы касожьскыми, красному Романови Святъславличю».

Тут второй певец снова спорит со своим напарником: не соколы налетали на лебедей, а Боян персты воскладал на струны, и те рокотали славу: «Боянъ же, братие, не 10 соколовь на стадо лебедѣй пущаше, нъ своя вѣщиа пръсты на живая струны въскладаше, они же сами княземъ славу рокотаху». Обычно это место толкуется так, что сами струны рокотали славу. Мне представляется более правильным толковать это в реальном духе: персты, а не лебеди рокотали славу князьям.

Первый певец продолжает спор: он снова предлагает петь

в широкой манере — от старого Ярослава и старого Владимира до нынешнего Игоря — и демонстрирует эту старую манеру Бояна: «Почнемъ же, братие, повѣсть сию отъ стараго Владимера до нынѣшняго Игоря, иже истягну умь крѣпостию своею и поостри сердца своего мужествомъ; наплънився ратнаго духа, наведе своя храбрыя плъкы на землю Половѣцькую за землю Руськую». Место это обычно понималось так, что рассказ будет идти начиная от старого Владимира I до нынешнего Игоря. И к тому есть некоторое основание, ибо «Слово» постоянно возвращается к глубокой истории. Но если понимать «Слово» как песнь, которую поют два певца, как бы поправляющие друг друга, то место это означает своего рода сближение времен автора и старых событий времен Владимира I.

Условный спор на этом не заканчивается, но только откладывается. Второй певец, певец-рассказчик (более реально настроенный), приступает петь «по былинам сего времени» про поход Игоря: «Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты. И рече Игорь къ дружинѣ своей: „Братие и дружино! Луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти; а всядемъ, братие, на свои бръзыя комони да позримъ синего Дону“. Спала князю умь похоти и жалость ему знамение заступи искусити Дону великаго. „Хощу бо, — рече, — копие приломити конець поля Половецкаго; съ вами, русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомь Дону“».

Певец, который хотел петь в манере Бояна, снова возвращается к Бояну и демонстрирует его выспреннюю манеру: «О Бояне, соловию стараго времени! Абы ты сиа плъкы ущекоталъ, скача, славию, по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы! Пѣти было пѣснь Игореви, того внуку (т. е. так бы начал петь автор «Слова», если бы он был внуком, учеником Бояна): „Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая — галици стады бѣжать къ Дону великому“. Чи ли въспѣти было, вѣщей Бояне, Велесовь внуче: „Комони ржуть за Сулою — звенить слава въ Кыевѣ; трубы трубять въ Новѣградѣ — стоять стязи въ Путивлѣ!“».

Так начал бы петь про поход Игоря Боян. Певец, предлагавший петь «по былинам сего времени» (будем называть его «певец-рассказчик»), продолжает свой более простой рассказ, повторяя и разъясняя сказанное певцом-архаистом: «Игорь ждетъ мила брата Всеволода. И рече ему буй туръ Всеволодъ: „Одинъ братъ, одинъ свѣтъ свѣтлый — ты, Игорю! оба есвѣ Святъславличя! Сѣдлай, брате, свои бръзыи комони, а мои ти готови, осѣдлани у Курьска напереди“».

Возможно, что следующие слова принадлежат снова первому певцу — стороннику превыспренней Бояновой манеры: «А мои ти куряни свѣдоми къмети: подъ трубами повити, подъ шеломы възлелѣяни, конець копия въскръмлени, пути имь вѣдоми, яругы имь знаеми, луци у нихъ напряжени, тули отворени, сабли изъ-

острени; сами скачють, акы сѣрыи влъци въ полѣ, ищучи себѣ чти, а князю славѣ». Слова эти больше соответствуют манере певца-архаиста, сторонника Бояна. Характерно, что автор «Слова» создает воображаемый диалог между Игорем и Всеволодом, разделенными большим расстоянием: один говорит в Новгороде-Северском, а другой отвечает ему у Курска. Диалоги постоянно вплетаются в текст «Слова»: это диалогическая стихия «Слова».

Затем второй певец, певец-рассказчик, придерживающийся «былин сего времени», продолжает: «Тогда въступи Игорь князь въ златъ стремень и поѣха по чистому полю. Солнце ему тъмою путь заступаше; нощь стонущи ему грозою птичь убуди; свистъ звѣринъ въста, збися Дивъ — кличетъ връху древа, велитъ послушати земли незнаемѣ, Влъзѣ, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебѣ, Тьмутороканьскыи блъванъ! А половци неготовами дорогами побѣгоша къ Дону великому: крычатъ тѣлѣгы полунощы, рци, лебеди роспужени». Где-то посередине приведенного пассажа второй певец передает исполнение первому — стороннику манеры Бояна. У этого первого певца, очевидно, появляется и Див, а кроме того — лебеди, о которых он пел уже раньше, изображая манеру Бояна. Второй певец спорит с ним (отсюда «рци», т. е. ты бы сказал и о скрипе телег, что это поют лебеди).

Певец-рассказчик снова возвращает повествование «на землю»: «Игорь къ Дону вои ведетъ! Уже бо бѣды его пасетъ птиць по дубию; влъци грозу въсрожатъ по яругамъ; орли клектомъ на кости звѣри зовутъ; лисици брешутъ на чръленыя щиты».

То ли первому певцу одному, то ли двум певцам вместе принадлежит в дальнейшем лирический вздох: «О Руская земле! Уже за шеломянемъ еси!»

И опять вступает голос певца-рассказчика: «Длъго ночь мрькнетъ. Заря свѣтъ запала, мъгла поля покрыла. Щекотъ славий успе; говоръ галичь убуди».

Певец, верный пафосной манере Бояна, комментирует: «Русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша, ищучи себѣ чти, а князю — славы».

Снова поет певец-рассказчик: «Съ зарания въ пятокъ потопташа поганыя плъкы половецкыя и рассушясь стрѣлами по полю, помчаша красныя дѣвкы половецкыя, а съ ними злато, и паволокы, и драгыя оксамиты. Орьтъмами и япончицами, и кожухы начашя мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ, и всякыми узорочьи половѣцкыми».

В духе Бояна, близко к своему предшествующему «перечислительному» описанию достоинств «сведомых кметей» — курян и прославлению князя первый певец подхватывает: «Чрьленъ стягъ, бѣла хорюговь, чрьлена чолка, сребрено стружие — храброму Святъславличю!»

Еще один отрывок начинает певец-архаист, а «разъясняет» певец-рассказчик. Певец-архаист поет: «Другаго дни велми рано кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ; чръныя тучя съ моря идутъ,

хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещуть синии млѣнии. Быти грому великому, итти дождю стрѣлами съ Дону великаго!» Эту аллегорическую картину певец-рассказчик разъясняет: «Ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти о шеломы половецкыя, на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону великаго!»

Затем следует повторение «лирического вздоха» обоих или одного певца: «О Руская землѣ! уже за шеломянемъ еси!»

Снова певец-архаист продолжает свою тему аллегорического изображения начинающейся битвы (похоже, что он ведет все пение): «Се вѣтри, Стрибожи внуци, вѣютъ съ моря стрѣлами на храбрыя плъкы Игоревы. Земля тутнетъ, рѣкы мутно текуть, пороси поля прикрываютъ».

Певец-рассказчик разъясняет: «Стязи глаголютъ: половци идуть отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ Рускыя плъкы оступиша» и повторяет свой рефрен (каждый певец, как правило, повторяет свой текст и никогда не повторяет текст другого певца): «Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша, а храбрии русици преградиша чрълеными щиты» (ср. выше: «Русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша, ищучи себѣ чти, а князю — славы»).

Снова вступает второй певец — певец-рассказчик. Он поет «по былинам сего времени»: «Яръ туре Всеволодѣ! Стоиши на борони, прыщеши на вои стрѣлами, гремлеши о шеломы мечи харалужными! Камо, туръ, поскочяше, своимъ златымъ шеломомъ посвѣчивая, тамо лежатъ поганыя головы половецкыя. Поскепаны саблями калеными шеломы оварьскыя отъ тебе, яръ туре Всеволоде!»

Поэт-архаист, склонный к широким природным, историческим или нравоучительным обобщениям, так развивает тему беззаветной смелости Всеволода: «Кая раны дорога, братие, забывъ чти и живота, и града Чрънигова отня злата стола, и своя милыя хоти, красныя Глѣбовны, свычая и обычая?»

Обобщение это, вернее психологическое наблюдение, встречается и в других памятниках литературы Киевской Руси. Это свидетельствует о том, что перед нами в лице поэта-архаиста и, может быть, его предшественника Бояна представлен не просто поэт-язычник. Он пользуется старой языческой образной системой не потому, что верит в нее, а потому, что она является системой художественного обобщения и помогает ему художественно познавать мир.

Поэт-архаист обращается к аналогиям из мира природы так же, как он обращается к аналогиям из области русской истории, при этом обнаруживая свои знания Начальной летописи в новгородской ее редакции.[1]

---

[1] Об этом см.: *Лихачев Д. С.* Летописный свод Игоря Святославича и «Слово о полку Игореве». — В кн.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. 2-е изд. Л., 1985, с. 145—175.

Следующий большой отрывок опять-таки принадлежит поэту-архаисту, который ищет аналогии в русской истории (во временах Трояна, Ярослава, Олега Святославича). Отрывок начинается со слов: «Были вѣчи Трояни» и заканчивается описанием опустошения Русской земли при Олеге Гориславличе. В этом отрывке характерно постоянное напоминание о том, что речь идет о других князьях и о других событиях: «Тъй бо Олег», «Съ тоя же Каялы», «Тогда, при Олзѣ Гориславличи...», «Тогда по Руской земли...»

Поэт-рассказчик, собиравшийся петь «по былинам сего времени», как бы споря с первым певцом, возвращает повествование к нынешним событиям, к «былинам сего времени»: «То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицей рати не слышано!» И далее не менее пространно, чем певец-архаист, певец-рассказчик повествует о битве Игоря.

В противоположность повторениям «тъй», «тогда», которые мы видели в предшествующем историческом отрывке, здесь певец-рассказчик повторяет: «ту», «ту», «ту». Впрочем, сравнение битвы с пиром, со свадебным пиром, и поиски аналогий в природе: «ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось» — могли принадлежать любому из двух певцов. Здесь поэт-рассказчик (если это действительно он) смыкается с певцом-архаистом, который в своем дальнейшем обращении к событиям современности, вслед за певцом-рассказчиком, уже плотно соединяет их с явлениями природы и язычества: «Уже бо, братие, не веселая година въстала, уже пустыни силу прикрыла. Въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука».

Я не привожу дальнейшего текста вплоть до рассказа о сне Святослава. Этот текст может быть по-разному распределен между двумя певцами. Доля первого певца — сторонника Бояновой традиции — в этом тексте очень велика: здесь встречается много языческих представлений, образов в характерной для певца-архаиста манере отвлеченно передавать события.

Последующее повествование продолжает парное построение, но различить, где первый певец и где второй, очень трудно. Парность построения выявляется тем, что отдельных смысловых единиц в повествовании всегда четное число: «Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо. Далече залетѣло! Не было оно обидѣ порождено ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръный воронъ, поганый половчине! Гзакъ бежитъ сѣрымъ влъкомъ, Кончакъ ему слѣдъ правитъ къ Дону великому».

Следующий отрывок снова делится на четное число смысловых единиц, которые могли исполняться певцами как подтягивание голосом одного другому: «Другаго дни велми рано кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ; чръныя тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещуть синии млънии. Быти грому великому, итти дождю стрѣлами съ Дону великаго! Ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти о шеломы половецкыя, на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону великаго».

Переход от одного певца к другому мог совершиться и по каждой из указанных единиц и один раз — со слов: «Ту ся копнемъ приламати...». Один певец сообщает о движении половцев навстречу русским, а другой предрекает битву. В последних строках заметно, что певец-рассказчик как бы разъясняет, конкретизируя, поэтические образы певца-архаиста.

Не следует представлять себе певца-рассказчика как некоего прагматика, чуждого ощущениям высокой значимости происходящего. Именно он, по-видимому, рассказывает сон Святослава и при этом осознает значительность сна, его пророческий характер. Но все-таки истолкование сна принадлежит поэту-архаисту.

В «Золотом слове» Святослава в каждом из его обращений к русским князьям как бы по солнечному движению определяются две части: одна, описывающая военные возможности князей, а другая, содержащая предложение вступиться за Русскую землю.

Мы уже отмечали, что в «Слове» имеются повторения образов и самого способа выражения, рефрены. Этими повторами певец заявляет о своем присутствии, о своей индивидуальности. Певец не повторяет образы или рефрены другого певца. Это было бы и антиэстетично. Он повторяет, как мы уже говорили, только свои образы. Поэтому повторы служат важным признаком для разделения текста «Слова» по певцам.

Напомню текст обращений к русским князьям; этот текст в «Золотом слове» начинается не сразу. Сперва Святослав говорит о себе. Поэтому неясно, относятся ли обращения к «Золотому слову» или это самостоятельная часть, ведущаяся от автора. Как бы то ни было, вглядимся в построение обращений.

Первое обращение: «Великый княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеча отня злата стола поблюсти? Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти! Аже бы ты былъ, то была бы чага по ногатѣ, а кощей по резанѣ. Ты бо можеши посуху живыми шереширы стрѣляти — удалыми сыны Глѣбовы».

Последняя фраза в этом обращении как бы «отскочила» от первой, где говорится о могуществе Всеволода. Что это: дефект текста или возвращение к первому певцу? Первый певец продолжает свою тему, не слушая товарища? «Ты бо можеши» — повторяет в третьей фразе то, что было в первой и более уместно сразу после нее.

Рассматриваем текст второго обращения: «Ты, буй Рюриче, и Давыде! Не ваю ли вои злачеными шеломы по крови плаваша? Не ваю ли храбрая дружина рыкаютъ, акы тури, ранены саблями калеными на полѣ незнаемѣ?»

Снова первый певец как бы вопрошает, предполагает, описывая могущество и ярость, «обиду» тех князей, к которым обращается. И снова второй певец призывает выступить за Русскую землю. Запомним те образы и те выражения, в которые облекает свой призыв певец-рассказчик, — это будет важно в дальнейшем:

«Вступита, господина, въ злата стремень за обиду сего времени, за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича!»

Третье обращение также делится на две части: «Галичкы Осмомыслѣ Ярославе! Высоко сѣдиши на своемъ златокованнѣмъ столѣ, подперъ горы Угорскыи своими желѣзными плъки, заступивъ королеви путь, затворивъ Дунаю ворота, меча бремены чрезъ облакы, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землямъ текутъ, отворяеши Киеву врата, стрѣляеши съ отня злата стола салътани за землями».

Второй певец подхватывает тему стрельбы — куда-то далеко в противника, находящегося «за землями», и предлагает стрелять в более близкого врага, снова повторяя те выражения, которые употребил в заключении к предшествующему обращению: «Стрѣляй, господине, Кончака, поганого кощея, за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича!»

Напомню то, что я уже сказал: каждый певец повторяет только свои выражения и образы и не пользуется буквальными повторениями из другого.

Четвертое обращение также делится на две части: констатирующую могущество и личные основания князей выступить против половцев и вторую, содержащую призыв: «А ты, буй Романе, и Мстиславе! Храбрая мысль носитъ вашъ умъ на дѣло. Высоко плаваеши на дѣло въ буести, яко соколъ на вѣтрехъ ширяяся, хотя птицю въ буйствѣ одолѣти. Суть бо у ваю желѣзныи папорзи подъ шеломы латиньскыми. Тѣми тресну земля, и многы страны — Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела и половци сулици своя повръгоша, а главы своя подклониша подъ тыи мечи харалужныи». Второй певец от этой превыспренней картины успехов Романа и Мстислава обращается к «ранам» Игоря: «Нъ уже, княже Игорю, утръпѣ солнцю свѣтъ, а древо не бологомъ листвие срони: по Рси и по Сули гради подѣлиша. А Игорева храбраго плъку не крѣсити! Донъ ти, княже, кличетъ и зоветь князи на побѣду. Олговичи, храбрыи князи, доспѣли на брань...»

О том, что не воскресить Игорева полка, говорится в «Слове» вторично: это тот же певец. Новость, однако, в том, что призыв исходит от самой природы, от Дона, зовущего князей на победу.

Пятый призыв также начинается с характеристики положения князей, к которым обращен призыв: «Инъгварь и Всеволодъ и вси три Мстиславичи, не худа гнѣзда шестокрилци! Не побѣдными жребии собѣ власти расхытисте! Кое ваши златыи шеломы и сулицы ляцкии и щиты?» Это описание положения князей содержит типичное сравнение князей с животным миром: зверями, а в данном случае — с птицами. Второй поэт, делающий выводы, повторяет себя из своего третьего заключения-обращения: «Загородите полю ворота своими острыми стрѣлами за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича!»

Шестое обращение направлено к Полоцкому княжеству, но там нет князя, который мог бы стать на защиту Русской земли, на что первый певец может только сетовать с горечью.

Вот что говорит второй певец: «Уже бо Сула не течетъ сребреными струями къ граду Переяславлю, и Двина болотомъ течетъ онымъ грознымъ полочаномъ подъ кликомъ поганыхъ. Единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвони своими острыми мечи о шеломы литовьскыя, притрепа славу дѣду своему Всеславу, а самъ подъ чрълеными щиты на кровавѣ травѣ притрепанъ литовскыми мечи и с хотию на кров, а тъй рекъ: „Дружину твою, княже, птиць крилы приодѣ, а звѣри кровь полизаша"».

По-видимому, именно первый певец с печалью признает: «Не бысть ту брата Брячяслава, ни другаго — Всеволода. Единъ же изрони жемчюжну душу изъ храбра тѣла чресъ злато ожерелие. Уныли голоси, пониче веселие, трубы трубятъ городеньскии».

Из всех обращений это — наиболее необычное, так как по существу в нем нет призыва. Потому, очевидно, в нем труднее всего установить двуголосие. Оно все могло бы принадлежать и одному певцу. Мы делим его на два, потому что таковы все другие обращения.

Седьмое, последнее обращение, наиболее широкое и как бы обобщающее, снова делится на два: «Ярославли вси внуце и Всеславли! Уже понизите стязи свои, вонзите свои мечи вережени. Уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ». Это обращение ко всем русским князьям, из которых существовали только две ветви — потомки Ярослава Мудрого и потомки Всеслава Полоцкого. Первый певец обращает к ним свой наиболее сильный призыв и наиболее широкое осуждение одновременно, поминая и Русскую землю, и «жизнь Всеслава», т. е. все наследие последнего, все его, условно говоря, «богатство»: «Вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Рускую, на жизнь Всеславлю. Которою бо бѣше насилие отъ земли Половецкыи!»

Если в прежних своих призывах певец-рассказчик говорил о «ранах Игоревых», т. е. о недавних событиях, текущих, животрепещущих, то теперь он, обобщая вслед за первым певцом, говорит о длительном историческом сроке насилия от земли Половецкой. Соответственно этому певец-рассказчик (таким он нам рисуется) обращается к историческим событиям вековой давности — к истории борьбы полоцкого князя Всеслава и его потомков с другими князьями — потомками Ярослава Мудрого, ярославичами.

Всякая политическая рознь на Руси в XII в. рассматривалась как наследственная. Поэтому князья и приглашались на княжение, и расценивались как представители той или иной наследственной политической линии. И междукняжеские усобицы считались наследственными. Поэтому естественно было, говоря о междоусобиях князей, выводить эти усобицы от их истоков и родоначальников.

Певец-рассказчик так ведет свой рассказ, несомненно фольклорного, легендарного характера: «На седьмомъ вѣцѣ Трояни връже Всеславъ жребий о дѣвицю себѣ любу. Тъй клюками

подпръ ся о кони и скочи къ граду Кыеву и дотчеся стружиемъ злата стола киевьскаго. Скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плъночи изъ Бѣлаграда, обѣсися синѣ мьглѣ утръже вазни, с три кусы отвори врата Новуграду, разшибе славу Ярославу, скочи влъкомъ до Немиги съ Дудутокъ». Попутно отметим: это повествование певца-рассказчика сильно отличается по своему характеру от его же рассказов о событиях Игорева похода, и ясно почему: Игорев поход совершился только что, события же княжения Всеслава отделены веком. Поэтому рассказ о Всеславе ближе по своему типу к рассказу об Олеге Гориславиче — последний рассказ тоже о прошлом, хотя и чуть более близком. Это, между прочим, один из аргументов в пользу того, что «Слово» создано вскоре после похода и возвращения Игоря.

Певец-архаист, не сообщая новых фактов, толкует то, что рассказал второй: «На Немизѣ снопы стелютъ головами, молотятъ чепи харалужными, на тоцѣ животъ кладутъ, вѣютъ душу от тѣла. Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни — посѣяни костьми рускихъ сыновъ».

Певец-рассказчик приводит о Всеславе новые данные: «Всеславъ князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше, а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше. Тому въ Полотьскѣ позвониша заутренюю рано у святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ Кыевѣ звонъ слыша». Информативность всего этого текста необыкновенно велика. Тут за каждым словом кроются многочисленные и драматические факты.

Певец — архаист и интерпретатор, певец-философ, и если читатель помнит, споривший с певцом-рассказчиком относительно вещего Бояна (он сторонник его манеры), подводит философский итог истории Всеслава Полоцкого: «Аще и вѣща душа въ дрѣзѣ тѣлѣ, нъ часто бѣды страдаше. Тому вѣщей Боянъ и пръвое припѣвку, смысленый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути“. О, стонати Руской земли, помянувше пръвую годину и пръвыхъ князей!»

Певец — рассказчик и информатор, предлагавший петь от «старого Владимира до нынешнего Игоря», выполняя свое обещание, обращается от событий вековой давности к современности. Вот какие события он отмечает «нынѣ», т. е. в момент созидания «Слова»: «*Того стараго Владимира* нельзѣ бѣ пригвоздити къ горамъ киевьскымъ: сего бо *нынѣ* сташа стязи Рюриковы, а друзии — Давидовы, нъ розно ся имъ хоботы пашутъ. Копиа поютъ».[2] Не будем комментировать, какой из Владимиров здесь упоминается — Владимир I Святославич или Владимир Мономах. Историческое комментирование не входит в нашу задачу. Отмечу только, что события, которые происходят «ныне», — размолвка

---

[2] По поводу фразы «Копия поют» интересные соображения в связи с диалогическим мелосом «Слова» высказаны в книге Л. В. Кулаковского (с. 59). Автор предполагает здесь повторение «цепочкой».

Рюрика Ростиславича и Давида Ростиславича — произошли в 1185 г., т. е. в том же году, к которому относится и поход Игоря Святославича.

Далее в «Слове» следует плач Ярославны. Он состоит из четырех обращений: к Каяле, к ветру, к Днепру и солнцу. Делить плач Ярославны по певцам нельзя. Он приписывается автором весь целиком одному певцу — самой Ярославне и может быть воспроизведен только одним певцом. Делить его было бы, кроме того, просто антихудожественно и не соответствовало бы эстетической системе «Слова». Правда, каждое обращение Ярославны начинается с предваряющих его сходных слов: первое — «На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышитъ, зегзицею незнаема рано кычеть», три остальных — «Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи». Можно было бы предположить, что эти вводные слова произносятся одним певцом, а за Ярославну поет другой певец, но такая «режиссерская аранжировка» была бы для своего времени, т. е. для автора «Слова», чрезмерно изысканной, в духе нового времени. Поэтому оставлю плач Ярославны без деления по певцам. Напомню этот плач: «На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышитъ, зегзицею незнаема рано кычеть: „Полечю, — рече, — зегзицею по Дунаеви, омочю бебрянъ рукавъ въ Каялѣ рѣцѣ, утру князю кровавыя его раны на жестоцѣмъ его тѣлѣ“.

Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи: „О вѣтрѣ, вѣтрило! Чему, господине, насильно вѣеши? Чему мычеши хиновьскыя стрѣлкы на своею нетрудною крилцю на моея лады вои? Мало ли ти бяшетъ горѣ подъ облакы вѣяти, лелѣючи корабли на синѣ морѣ? Чему, господине, мое веселие по ковылию развѣя?“

Ярославна рано плачеть Путивлю городу на заборолѣ, аркучи: „О Днепре Словутицю! Ты пробилъ еси каменныя горы сквозѣ землю Половецкую. Ты лелѣялъ еси на себѣ Святославли насады до плъку Кобякова. Възлелѣй, господине, мою ладу къ мнѣ, а быхъ не слала къ нему слезъ на море рано“.

Ярославна рано плачеть въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи: „Свѣтлое и тресвѣтлое слънце! Всѣмъ тепло и красно еси: чему, господине, простре горячюю свою лучю на ладѣ вои? Въ полѣ безводнѣ жаждею имъ лучи съпряже, тугою имъ тули затче?“»

Заметим, что во втором и третьем обращении, как и в предшествующем обращении к русским князьям, последняя фраза заключает в себе конкретное предложение, а в первом и четвертом — некую конкретизацию ситуации. Поэтому, если бы мы решились выделять в плаче Ярославны певцов, то последние фразы можно было бы приписать тому же певцу, который заключает и обращения автора к князьям.

Вслед за плачем Ярославны идет рассказ о бегстве Игоря из плена — бегстве, которое по существу своему является выполнением просьб Ярославны к ветру, реке и солнцу, — с элементами той же последовательности. Принадлежит этот рассказ певцу-рас-

сказчику: «Прысну море полунощи, идутъ сморци мьглами. Игореви князю богъ путь кажетъ изъ земли Половецкой на землю Рускую, къ отню злату столу. Погасоша вечеру зори. Игорь спитъ, Игорь бдитъ, Игорь мыслию поля мѣритъ отъ великаго Дону до малаго Донца. Комонь въ полуночи Овлуръ свисну за рѣкою; велить князю разумѣти, князю Игорю не быть! Кликну, стукну земля, въшумѣ трава, вежи ся половецкии подвизашася. А Игорь князь поскочи горнастаемъ къ тростию и бѣлымъ гоголемъ на воду. Въвръжеся на бръзъ комонь и скочи съ него бусымъ влъкомъ. И потече къ лугу Донца, и полетѣ соколомъ подъ мьглами, избивая гуси и лебеди завтроку, и обѣду, и ужинѣ».

Итак, ветер отвечает Ярославне тем, что посылает смерчи, которые, направляясь от моря на север, указывают путь Игорю. Солнце, которое жгло Игоревых воинов, посылает тьму, зори гаснут (напомню, что в описании затмения солнце также посылает тьму на Игоревых воинов).[3] Главная же русская река Днепр, что пробила каменные горы и несла на себе Святославовы пасады, предоставляет путь Игорю по Донцу: Игорь мысленно мерит свой путь на Русскую землю по рекам, за рекой свистнул ему и Овлур. В плаче Ярославны заключено обращение к двум рекам: в первом обращении Ярославна хочет омочить свой бебряный рукав в Каяле-реке и утереть Игорю кровавые его раны. И в рассказе о бегстве Игоря отмечено, что реки оказывают Игорю два раза услугу — вторую и последнюю, укрывая Игоря на своих берегах. Перед нами певец-рассказчик — тот, что в начале «Слова» собирался вести рассказ «по былинамъ сего времени».

Певец-философ, архаист, берет заключительное слово, как он постоянно делал и перед тем, вводя и развивая зооморфные мотивы. Он указывает на различие между бегством Игоря и Овлура: «Коли Игорь соколомъ полетѣ, тогда Влуръ влъкомъ потече, труся собою студеную росу: претръгоста бо своя бръзая комоня». Игорь, русский князь, — сокол. Овлур, верный Игорю половец, половец-слуга, — волк, как волком был и Всеслав-князь.

Удачное бегство Игоря вселяет веселие в обоих певцов. Дальнейший их диалог напоминает скоморошью сценку, такую же, какие есть в «Молении Даниила Заточника», и намеком на какую заканчивается «Задонщина».

Диалог разыгрывается между Донцом и Игорем. Певец-рассказчик говорит за Донца. «Донецъ рече: „Княже Игорю! Не мало ти величия, а Кончаку нелюбия, а Руской земли веселиа!“»

На эти слова Донца певец — архаист и «обобщатель» — отвечает за Игоря: «Игорь рече: „О Донче! Не мало ти величия, лелѣявшу князя на влънахъ, стлавшу ему зелѣну траву на своихъ сребреныхъ брезѣхъ, одѣвавшу его теплыми мъглами подъ сѣнию зелену древу; стрежаше его гоголемъ на водѣ, чайцами на стру-

[3] О древнерусских представлениях о свете и солнце см.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. 2-е изд., с. 261—264.

яхъ, чрьнядьми на встрѣхъ"». Впрочем, в данном разделении текста между двумя певцами я не очень уверен.

Надо думать, что «Слово» и не стремится точно передать ответ Игоря: это воображаемый диалог. Игорь говорит о себе в третьем лице, называя самого себя князем. При этом певец соответственно плачу Ярославны пользуется теми же выражениями, что и Ярославна. Ярославна говорит, что Днепр «лелѣялъ» на себе Святославовы насады. Игорь же благодарит Донец, который «лелѣялъ» князя на волнах. При этом Игорь употребляет прошедшее время — «лелѣявшу», что опять-таки указывает на то, что это не передача слов Игоря, а как бы рассказ о его словах, воспроизведение слов Игоря.

Поведение реки заставляет певца-рассказчика, певца-историка в последний раз обратиться к историческим воспоминаниям — к поведению другой реки и в другое время: «Не тако ти, рече, рѣка Стугна: худу струю имѣя, пожръши чужи ручьи и стругы, рострена къ устью, уношу князю Ростиславу затвори Днѣпрь темнѣ березѣ. Плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславѣ». Рассказ этот почти точно повторяет рассказ «Повести временных лет» 1093 г., когда Ростислав утонул в Стугне, был привезен в Киев и там оплакан матерью. Певец-рассказчик здесь не в первый раз выступает в «Слове» знатоком летописи.[4]

Обращает на себя внимание в этом тексте и глагол «рече». Кто «рече»? Вряд ли о смерти Ростислава вспоминает Игорь: исторические воспоминания — прерогатива певца-рассказчика. Не указывает ли это «рече» на переход от одного певца к другому?

Наступает очередь певца, поющего в манере Бояна, певца-обобщателя: «Уныша цвѣты жалобою, и древо с тугою къ земли прѣклонилось».

Затем певцы снова обращаются к счастливому бегству Игоря из плена. Певец-рассказчик поет о бегстве, и рассказ его опять переходит в шутливый диалог: на этот раз двух половецких ханов Гзака и Кончака. Ясно, что здесь также нет попытки передать реальные слова Гзака и Кончака (разговор между ними, если бы он был, шел бы по-половецки и не мог быть подслушан).

Приведу полностью это место «Слова». Оно легко разбивается на речи одного певца и другого, особенно там, где они разыгрывают между собой скоморошью сценку.

Певец-рассказчик: «А не сорокы втроскоташа — на слѣду Игоревѣ ѣздитъ Гзакъ съ Кончакомъ».

Певец — архаист и обобщатель, склонный к языческим реминисценциям и аналогиям с явлениями природы: «Тогда врани не граахуть, галици помлъкоша, сорокы не троскоташа, полозие ползаша только. Дятлове тектомъ путь къ рѣцѣ кажутъ, соловии веселыми пѣсньми свѣтъ повѣдаютъ».

---

[4] Напомню, что совсем в иную, церковно-религиозную, связь поставлена смерть Ростислава в Киево-Печерском патерике, но это особая тема для размышлений.

Певец-рассказчик приписывает своему персонажу, Гзаку, собственные свойства, собственную манеру рассуждать (прагматически). Певец-архаист влагает в своего персонажа — Кончака — свою манеру обобщать. Гзак и Кончак снова разыгрывают те же две роли, но в комических тонах.

Певец-рассказчик поет: «Млъвитъ Гзакъ Кончакови: „Аже соколъ къ гнѣзду летитъ, соколича ростр ѣляевѣ своими злачеными стрѣлами“». Вспомним, как в зачине к «Слову» певец-рассказчик опровергал привычку сторонника Бояна называть пальцы певца лебедями.

Певец-архаист отвечает: «Рече Кончакъ ко Гзѣ: „Аже соколъ къ гнѣзду летитъ а вѣ соколца опутаевѣ красною дѣвицею“».

Певец — рассказчик и прагматик — передает воображаемую речь Гзака: «И рече Гзакъ къ Кончакови: „Аще его опутаевѣ красною дѣвицею, ни нама будетъ сокольца, ни нама красны дѣвице, то почнутъ наю птици бити въ полѣ Половецкомъ“».

Это чисто воображаемый диалог, в котором даже страна половцев названа так, как ее не назвали бы сами половцы, а называли только русские — «Поле Половецкое».

На этом диалогическая форма «Слова» прерывается. В дальнейшем оба певца поют вместе, как и полагается в патетической концовке. И они вспоминают двух своих предшественников — Бояна и Ходыну.[5] «Рекъ Боянъ и Ходына, Святъславля пѣснотворца стараго времени Ярославля, Ольгова коганя хоти: „Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣлу кромѣ головы“ — Руской земли безъ Игоря».

Затем оба певца продолжают петь вместе уже славу князьям: «Солнце свѣтится на небесѣ, — Игорь князь въ Руской земли; дѣвицы поютъ на Дунаи, — вьются голоси чрезъ море до Киева. Игорь ѣдетъ по Боричеву къ святѣй Богородици Пирогощей. Страны ради, гради весели. Пѣвше пѣснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ пѣти: „Слава Игорю Святъславличю, буй туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу!“ Здрави князи и дружина, побарая за христьяны на поганыя плъки! Княземъ слава а дружинѣ. Аминь».

То, что оба певца поют вместе в конце «Слова», не может вызывать сомнения. Это оправдывается всем содержанием концовки: она посвящена прославлению русских князей и дружины. Невозможно себе представить, чтобы один певец пел славу, а другой молчал, тем более что в летописи есть свидетельства о хоровом пении славы, а в миниатюрах Радзивиловской летописи это хоровое пение девицами даже и изображено.

---

[5] Эта версия темного места «Слова» кажется мне наиболее вероятной, ибо она подкреплена не только поэтикой амебейного пения, но и двойственным числом, которое здесь случайно появиться не могло: «пѣснотворца».

* * *

Итак, мы подошли к концу нашего построения. Конечно, оно не доказано. Если это только предположение, то почему все-таки оно нужно? Предлагаемый взгляд на «Слово» — это взгляд под особым углом зрения. Этот угол зрения позволяет выявить в «Слове» некоторые «рельефы», которые иначе были бы незаметны. В частности, даже если не принимать предположения об исполнении «Слова» двумя певцами, нельзя не обнаружить в «Слове» некоторого диалогизма: в «Слове» чередуются изложение с обобщением изложенного, повествовательность с «художественным приговором» совершившемуся. Две манеры, два взгляда на события. Предположение о диалогическом характере «Слова» многое объясняет и в его структуре — например, отдельные переходы; тема Бояна оказывается в известной мере более естественной и органичной для «Слова»: спор о том, как рассказывать о походе, не заканчивается в начале «Слова», а продолжается до конца произведения, имеет «практический» смысл, поскольку обе манеры представлены в «Слове» на всем его протяжении.

Спрашивается: мог ли один певец вести все повествование при оправданности наших наблюдений над диалогичностью «Слова»? Конечно, мог, хотя ему было бы трудно последовательно выдерживать одному это «маятниковое качание».

Диалогическое исполнение «Слова» объясняет и «поэтику повторов», которой я недавно посвятил особую статью.[6]

Сделанное мною предположение о диалогическом строении «Слова» литературоведчески подкрепляет музыковедческие выводы неоднократно мною уже упоминавшейся книги Л. В. Кулаковского. Если оба подхода совпадают в итоге, а мой вывод даже несколько шире вывода Л. В. Кулаковского, поскольку я вижу в двух певцах две разные поэтические позиции, то это значительно подкрепляет предположение, выдвинутое Л. В. Кулаковским.

* * *

Хоровое на два голоса исполнение произведений на древнейших стадиях развития поэзии хорошо исследовано А. Н. Веселовским в его «Трех главах из исторической поэтики».[7]

Хоровое исполнение и авторский расчет на это хоровое, амебейное исполнение были присущи всей ранней европейской литературе. Не буду вдаваться в подробности. Предоставлю слово крупнейшему специалисту в этой области М. И. Стеблин-Камен-

---

[6] *Лихачев Д. С.* Поэтика повторяемости в «Слове о полку Игореве». — В кн.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени, с. 234—253.

[7] Последнее издание: *Веселовский А. Н.* Три главы из исторической поэтики. — В кн.: *Веселовский А. Н.* Историческая поэтика. Л., 1940, с. 200—380.

скому. В своей книге «Древнескандинавская литература» (М., 1979) он писал: «Дротткветные хвалебные песни[8] первоначально сочинялись для исполнения двумя певцами или хором на два голоса. Строфа могла распадаться на две партии. Было принято поэтому переплетать в строфе параллельные предложения. Исполнение на два голоса впоследствии вышло из употребления... Не сохранилось никаких свидетельств об исполнении хвалебных песней в Скандинавии в древнейшие времена. Однако сравнительный материал показывает, что обычай хорового, или амебейного, исполнения хвалебных песней широко распространен у племен земного шара. На ранних этапах культурного развития он был, по-видимому, общераспространенным. Есть свидетельства о его наличии и у германских племен. В заключительных строках древнеанглийской поэмы „Беовульф" рассказывается о том, как двенадцать дружинников гарцуют вокруг могильного кургана героя и воспевают его доблести и подвиги; и это — точная параллель описания погребения Аттилы у готского историка Иордана. Ясное указание на амебейное исполнение есть в рассказе Приска, одного византийского автора, о том, как после пира у Аттилы два варвара (т. е., вероятно, гота) стали против него и „произнесли сложенные песни, воспевая победы и военные доблести", а также в древнеанглийской поэме „Видсид", в которой певец говорит: „когда я со Скиллингом ясным голосом перед нашим победоносным князем песнь зачинали". Гиральд Кембрийский — английский средневековый автор — упоминает исполнение песни в два голоса в Нортумбрии и высказывает предположение, что оно идет от скандинавских викингов. Следом древнего исполнения хвалебных песен в Скандинавии может быть и то, что согласно „Перечню скальдов", памятнику XIII века, число скальдов у древнейших норвежских королей, как правило, было кратно двум (2, 4, 6 или 10), а также то, что в „Саге о Стурлунгах" дважды рассказывается о том, что двое исполняют строфу, каждый свою строку (правда, в обоих случаях такое исполнение снится кому-то)».[9]

Приведенная цитата отнюдь не означает, что «Слово о полку Игореве» написано (я подчеркиваю — «написано») его автором по законам скандинавского или вообще какого-то нерусского принципа. Русский характер поэтики «Слова» доказывать не надо: «Слово» — памятник наполовину фольклорный и при этом явно русского фольклора. Диалогическое начало в русском мелосе бле-

[8] Должен на всякий случай предупредить читателя, что «Слово о полку Игореве» никак не может быть сведено по другим признакам в их целокупности к жанру «дроттквeтных хвалебных песен», насколько я об этом могу судить и поскольку его связи с русским, украинским и белорусским фольклором, а также с древней Киевской литературой неоспоримы и многочисленны. Речь идет лишь о типологической (как сейчас принято говорить) близости в области хорового, на два голоса, исполнения в ранней европейской поэзии.

[9] *Стеблин-Каменский М. И.* Древнескандинавская литература, с. 67—68. Ср. также: *Стеблин-Каменский М. И.* Историческая поэтика. Л., 1978, с. 66—69.

стяще раскрыто и в книге Л. В. Кулаковского. Я привел цитату из М. И. Стеблин-Каменского для того, чтобы показать свойственность диалогического начала многим древним песнопениям. Если предположение Л. В. Кулаковского и мои дополнительные соображения к нему в будущем оправдаются, это не только объяснит многое в строении «Слова», но и подкрепит и так уже не вызывающую сомнений мысль о древности «Слова», его связи с архаической стадией русского народного творчества.

* * *

Время несомненно «размыло» текст «Слова». Поэтому даже если согласиться с предположением об изначальном диалогическом строении «Слова», то четкое разделение всего дошедшего текста «Слова» по двум певцам-исполнителям вряд ли возможно. Весьма вероятно, что и намеченные нами выше литературные позиции каждого из двух исполнителей не были в само́м авторском тексте достаточно определенно выделены: в этом, в сущности, и не было необходимости — кроме самого начала «Слова» и некоторых «поддержек» их позиций в середине; в конце «Слова» обе позиции смыкаются. Однако сделанное нами предположение о диалогическом строении «Слова» и о различии в литературных позициях певцов может многое объяснить в поэтике «Слова», в толковании отдельных его мест и помочь в переводе «Слова» на современный русский язык. Первую фразу «Слова» не следует, например, считать вопросительной. Это предложение начать «Слово» в стилистической манере Бояна. Оправдывается и последующее двукратное возвращение к Бояну — к его манере и к его высказываниям. Вся вступительная часть «Слова» более ясна по смыслу. Это спор двух певцов, спор в известной мере условный, говорящий об актуальности обеих стилистических (или даже жанровых) систем во второй половине XII в.: «по былинам сего времени» или в манере славословий Бояна, причем манеру Бояна певец явно стилизует, ощущая ее архаичность. Пассаж «Крычатъ тѣлѣгы полунощы, рцы, лебеди роспужени» благодаря сделанному нами предположению можно переводить более точно: «Кричат телеги в полуночи: ты бы (это обращение к певцу-архаизатору. — *Д. Л.*) сказал — это лебеди вспугнутые». Диалогическая форма «Слова» подкрепляет вероятность конъектуры о двух певцах — предшественниках нынешних тоже двух певцов — Бояне и Ходыне. Диалогическая форма «Слова» объясняет и следующее явление: персонажи «Слова» всегда говорят о себе в первом лице единственного числа (князь Святослав Киевский, Ярославна, Всеволод Буй-тур, Игорь), а певцы-исполнители — то в первом лице единственного числа, то в первом лице множественного числа. Исчезновение диалогического строения в конце «Слова», исполнение концовки хором делают окончание «Слова» более пафосным. Объясняются в «Слове» повторы и переходы от одного ритма к другому.

Можно было бы наметить еще и другие аспекты более детализированного понимания поэтики и текста «Слова», если принять предположение о его диалогическом строении.

* * *

И все-таки, не боясь вступить в противоречие со всем вышесказанным, я должен добавить, что «Слово о полку Игореве» производит впечатление удивительной цельности и художественной продуманности. «Лирический беспорядок» — только внешний, на самом же деле «Слово» развивается с последовательностью музыкальной симфонии; смены настроений, смены объектов повествования (лирического повествования) — все это не могло быть следствием одной импровизации. Поэтому я думаю, что предложенное выше разделение текста по «певцам» — чисто условное. Мне представляется, что «Слово» написано или записано одним автором. Если даже «Слово» и произносилось на каком-то этапе своего существования устно, то окончательную отделку оно получило в письменном виде под пером одного гениального автора. В результате же чего создалась сама диалогичность? Очевидно, что автор «Слова» был во власти традиции амебейного пения произведений подобного типа. «Слово» ясно показывает во всех своих деталях свою принадлежность к могучей и очень высокой фольклорно-литературной традиции. Именно поэтому оно и сохраняло общеевропейскую амебейность строения. Вполне вероятно, что оба «певца» — фигуры чисто воображаемые. Думаю, что Боян и Ходына — реальные певцы. Жили они за столетие до автора «Слова». За это время фольклорная традиция дружинной поэзии (термин «дружинная поэзия» мне кажется удачным) перешла из устного бытования в письменность, сохранив довольно много от устной поэзии Руси. В письменном произведении сохранилась и традиция амебейности, диалогического строения. Однако в «Слове» есть все же места (преимущественно в описаниях), где амебейность проступает не совсем ясно.

В заключение я снова хочу напомнить, что предлагаемая мною концепция — не более чем предположение, требующее дальнейших размышлений и исследований.





А. А. Горский

ПРОБЛЕМА ДАТЫ СОЗДАНИЯ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Величайшее произведение древнерусской литературы — «Слово о полку Игореве» — не донесло до нас ни имени своего создателя, ни даты своего появления. В настоящее время не вызывает сомнений, что поэма была создана вскоре после описанных в ней событий. Всякий поиск более точной датировки в силу отсутствия прямых данных остается гипотетичным. Тем не менее эта проблема занимает исследователей, поскольку то или иное ее решение может вызывать определенную корректировку как в трактовке политических взглядов автора, так и в осмыслении некоторых литературных образов поэмы. Вполне правомерным представляется использование при рассмотрении вопроса о дате создания «Слова о полку Игореве» его дошедшего до нас текста, поскольку особенности последнего свидетельствуют о том, что «Слово» было впервые записано во время своего создания или вскоре после него: в пользу этого говорит сохранение в списке, попавшем к А. И. Мусину-Пушкину, очень сильного авторского элемента и точности в описании фактической канвы событий 1185 г., чего бы не могло быть, если бы поэма была впервые записана после какого-то более или менее длительного бытования в устной передаче.

В советской науке сейчас можно выделить 4 точки зрения относительно даты создания «Слова», изложенные с развернутой аргументацией: 1) 1185 г.; 2) 1187 г.; 3) 1194—1196 гг.; 4) 1198—1199 гг.

Первая точка зрения (Б. А. Рыбаков) обосновывается двумя аргументами. Один из них общего плана — актуальность «Слова» в условиях половецкого нашествия 1185 г., явившегося результатом поражения Игоря.[1] Аргумент этот достаточно весом, но сам по себе, без подкрепления его конкретными датирующими данными, он не может служить доказательством, поскольку тема

[1] *Рыбаков Б. А.* «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, с. 8—9, 277—282.

борьбы с половцами оставалась актуальной и в последующие годы. Конкретным же аргументом является наименование в «Слове» рязанских князей Глебовичей «шереширами» Всеволода Юрьевича Суздальского. Поскольку летом 1185 г. Глебовичи вышли из повиновения Всеволода, постольку позже 1185 г. их уже нельзя было изображать его вассалами.[2] Однако в «золотом слове» Святослава (где находится фраза о «шереширах») обращения к князьям не обязательно содержат упоминания только об их настоящем могуществе. К примеру, в обращении к Ярославу Галицкому говорится: «отворяеши Киеву врата». По убедительному предположению Б. А. Рыбакова, здесь имеется в виду помощь Ярослава Мстиславу Изяславичу в овладении Киевом в 1158 г.[3] В 1185 г. Ярослав Осмомысл не имел возможности возводить на киевский стол союзных ему князей, следовательно, в «Слове» вспоминается его былая слава. То же может быть и в случае со Всеволодом: возможно, имеется в виду использование Глебовичей в качестве вассалов во время похода на Волжскую Болгарию в 1183 г.[4] Во всяком случае, выход Глебовичей из повиновения не мог отменить характеристику Всеволода как распорядителя судьбами рязанских князей.

Таким образом, твердых конкретных аргументов в пользу написания «Слова» именно в 1185 г. пока не приведено. Между тем исследователи поэмы давно уже отметили в ее тексте место, позволяющее утверждать, что в 1185 г. «Слово», в том виде, в каком оно дошло до нас, не могло быть написано. Это диалог Кончака и Гзака, едущих по следам Игоря:

Млъвить Гзакъ Кончакови:
«Аже соколъ къ гнѣзду летитъ,
Соколича ростр
ѣляевѣ своими злачеными стрѣлами».
Рече Кончакъ ко Гзѣ:
«Аже соколъ къ гнѣзду летитъ,
а вѣ соколца опутаевѣ красною дивицею».
И рече Гзакъ къ Кончакови:
«Аще его опутаевѣ красною дѣвицею,
ни нама будетъ сокольца,
ни нама красны дѣвице,
то почнутъ наю птици бити
въ полѣ Половецкомъ».[5]

Упоминание о возможном браке Владимира Игоревича с Кончаковной можно было бы отнести к 1185 г. (поскольку они были сосватаны до похода). Однако во вложенной автором в уста Гзака фразе: «Аще его опутаевѣ красною дѣвицею, ни нама будетъ сокольца, ни нама красны дѣвице» содержится явный на-

---

[2] Там же, с. 277—278.
[3] Там же, с. 117—121.
[4] См.: ПСРЛ. М., 1962, т. 1, стб. 388—389; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950, с. 277.
[5] Слово о полку Игореве. М.; Л., 1950, с. 30. В дальнейшем цитаты из «Слова» даются по тексту этого издания (с. 9—31) без ссылок.

мок на возвращение Владимира с Кончаковной из половецкого плена на Русь, после которого половецкая княжна и ее ребенок от Владимира были крещены и произошло венчание Владимира и Кончаковны. События эти относятся к 1188 г.[6]

Сторонники датировки написания «Слова» 1187 годом исходят из следующих посылок: в «Слове» есть обращение к Ярославу Осмомыслу, следовательно, к моменту написания поэмы он был жив; с другой стороны, в «Слове» провозглашается слава Владимиру Игоревичу, следовательно, ко времени написания «Слова» он должен был вернуться из плена. Смерть Ярослава и возвращение Владимира произошли, согласно датировке Ипатьевской летописи, в 1187 г., следовательно, это и есть год написания «Слова».[7] В Ипатьевской летописи сообщения о смерти Ярослава и возвращении Владимира действительно помещены под одним и тем же 6695 мартовским годом. Смерть Ярослава датируется 1-м октября. О возвращении Владимира говорится ниже, но датируется оно августом—сентябрем (по соотнесению с датами заключения браков между Верхуславой, дочерью Всеволода Суздальского, и Ростиславом Рюриковичем и Святослава Игоревича с дочерью Рюрика Ростиславича — о возвращении Владимира сказано, что оно произошло «тогда же»).[8] Однако Н. Г. Бережков доказал, что в статье 6695 г. Ипатьевской летописи произошло совмещение статей 6695 и 6696 мартовских годов, и часть статьи, содержащая рассказ о смерти Ярослава, говорит о событиях 1187/88 г., а часть статьи с рассказом о свадьбах и возвращении Владимира излагает события 1188/89 г. (в Лаврентьевской летописи о Ярославе говорится под 6696, а о браке Верхуславы с Ростиславом — под 6697 ультрамартовскими годами).[9] Таким образом, единственный аргумент в пользу датировки «Слова» 1187 годом теряет силу, поскольку Владимир Игоревич вернулся из половецкого плена в августе—сентябре 1188 г., т. е. почти через год после смерти Ярослава Осмомысла.

То, что «Слово» не могло быть написано в дошедшем до нас виде до возвращения Владимира, представляется, как уже говорилось выше, правильным. Не столь убедительно предположение, что оно не могло быть создано после смерти Ярослава Галицкого (поскольку автор «Слова» обращается к нему как к живому). В «Слове» обращение к Ярославу, как это уже от-

---

[6] См.: *Бережков Н. Г.* Хронология русского летописания. М., 1963, с. 75—76, 83—84, 196, 198, 203—204.

[7] История русской литературы / Под ред. В. А. Десницкого. М., 1941, т. 1, с. 75; Слово о полку Игореве. М.; Л., 1950, с. 249; *Лихачев Д. С.* Слово о полку Игореве: Историко-литературный очерк. М.; Л., 1965, с. 143—144. Необходимо отметить, что в новейшем издании своей книги «Слово о полку Игореве: Историко-литературный очерк» (М., 1976) Д. С. Лихачев не высказался специально по поводу даты создания «Слова».

[8] ПСРЛ. М., 1962, т. 2, стб. 656—659.

[9] *Бережков Н. Г.* Хронология русского летописания, с. 75—76, 83—84, 196, 198, 203—204.

мечалось в литературе,[10] вложено в уста Святослава Всеволодовича, следовательно, оно относится к 1185 г., когда Ярослав был жив. Таким образом, дата смерти Ярослава Осмомысла не может служить верхней временно́й границей создания «Слова».

По мнению Н. С. Демковой, «Слово» было написано в период 1194—1196 гг. Автор считает, что поэма могла быть создана только после смерти Святослава Киевского (1194 г.), поскольку в конце «Слова» ему не провозглашается слава, а характеристика этого князя представляет собой эпическое преувеличение, «гиперболизацию мощи».[11] Но в заключительной части поэмы провозглашается слава только трем из множества упомянутых в ней князей — Игорю, Всеволоду «Буй-Туру» и Владимиру Игоревичу. Выбор совершенно ясен — это непосредственные участники похода. Святослава же следует подразумевать среди «старых князей», слава которым пропета ранее («Пѣвше пѣснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ пѣти»), — Святослав прославлен в «Слове» как победитель Кобяка. Что же касается «гиперболизации мощи», то она является литературным приемом (так же, как и погребальные мотивы в сне Святослава, предвещающие несчастье Русской земли), который автор «Слова» допускает и в отношении других князей — Всеволода «Буй-Тура», Всеволода Юрьевича Суздальского[12] (живых в 1194—1196 гг.), а также дружинников Ярослава Черниговского («Тии бо бес щитовъ съ засапожникы кликомъ плъкы побѣждаютъ»). Верхней датой написания «Слова», по Н. С. Демковой, является дата смерти Всеволода Святославича, которому в поэме провозглашается слава как живому, — май 1196 г. Выделив хронологические рамки 1194—1196 гг., автор связывает написание «Слова» с междоусобицей тех лет — войной Ольговичей с Рюриком и Давыдом Ростиславичами. «Слово», по мнению Н. С. Демковой, создано в черниговских кругах, как и летописная повесть о походе Игоря, написанная в противовес версии Лаврентьевской летописи, осуждающей Игоря.[13] Однако автор не проводит текстологического анализа летописной повести. Между тем такой анализ был проведен Б. А. Рыбаковым и привел к выводу, что повесть о походе Игоря, дошедшая до нас в составе Ипатьевской летописи,

---

[10] *Демкова Н. С.* К вопросу о времени написания «Слова о полку Игореве». — Вестн. Ленингр. ун-та, 1973, № 14. Сер. истории, языка, литературы, вып. 3, с. 72.

[11] Там же, с. 73—74.

[12] Панегирическую характеристику Всеволода Суздальского Н. С. Демкова считает иронической (там же, с. 76). Но эта характеристика ничуть не выбивается из ряда других восторженных княжеских характеристик «Слова». Конечно, нельзя в реальной жизни «Волгу веслы раскропити, а Дон шеломы выльяти», но нельзя также «взмутить реки и озера, иссушить потоки и болота» (характеристика Святослава), побеждать полки «кликом», вооружившись одними засапожными ножами (дружинники Ярослава Черниговского), слышать в Киеве звон колоколов полоцкого собора святой Софии (Всеслав Полоцкий). Аргументы автора не убеждают.

[13] *Демкова Н. С.* К вопросу о времени написания «Слова о полку Игореве», с. 74—76.

была написана в период 1188—1190 гг. в Киеве, скорее всего, при дворе Рюрика.[14] В статье Н. С. Демковой не приводится ни аргументов против точки зрения Б. А. Рыбакова (о ней даже не упоминается), ни текстологических аргументов в пользу своего предположения, в силу чего оно остается недоказанным. Что же касается предположения о создании «Слова» в 1194—1196 гг. сторонником Ольговичей, то против него существует аргумент в тексте произведения: это осуждение черниговского князя Ярослава Всеволодовича («А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовоя брата моего Ярослава...»), которое не могло исходить из «черниговских кругов», тем более в 1194—1196 гг., когда Ярослав был старейшим среди Ольговичей.

Точка зрения, согласно которой «Слово о полку Игореве» написано в 1198—1199 гг., отстаивается Б. И. Яценко. Датировка «Слова» первыми годами после описанных в нем событий отвергается автором в силу того, что тогда поэт не мог «возводить князя, опозоренного неудачей, в ранг народного героя».[15] Однако в советской науке утвердилось мнение, что отношение автора «Слова» к Игорю было неоднозначным и противоречивым.[16] Собственно, это очевидно: мотивы осуждения Игоря совершенно явственно читаются в тексте произведения рядом с прославлением его храбрости. Противоположное утверждение должно быть по крайней мере аргументировано. Однако за исключением того, что Игорь пренебрег затмением солнца, никаких аргументов в пользу того, что Игорь в поэме изображен однозначно «народным героем», в статье Б. И. Яценко не приводится.[17]

Неубедительными представляются и конкретные датирующие признаки, выделенные автором. Б. И. Яценко присоединяется к мнению Н. С. Демковой о том, что «Слово» не могло быть написано ранее смерти Святослава Всеволодовича (1194 г.). Далее он считает, что недоброжелательное отношение к Ярославу Черниговскому не могло проявиться, пока он был сюзереном Новгород-Северского княжества, т. е. до 1198 г.[18] Но это соображение верно, во-первых, только для периода 1194—1198 гг. (до этого верховным сюзереном Игоря и старейшим из Ольговичей был Святослав), во-вторых, только в случае, если автор «Слова» был близок к Игорю, что не доказано, а принимается априорно. Порицание Ярослава можно связать с его уклонением от военных действий против половцев, которое после похода

[14] См.: *Рыбаков Б. А.* «Слово о полку Игореве» и его современники, с. 172—194.

[15] *Яценко Б. И.* Солнечное затмение в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 121.

[16] См., напр.: Слово о полку Игореве. М.; Л., 1950, с. 252—254; *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972, с. 490—493.

[17] *Яценко Б. И.* Солнечное затмение..., с. 121.

[18] Там же, с. 121—122.

Игоря имело место дважды: в 1185 и 1187 гг. Б. И. Яценко полагает, что «Слово» могло быть написано только во время черниговского княжения Игоря, поскольку в противном случае Чернигов в поэме не мог бы быть назван «отним златым столом» Игоря и Всеволода Святославичей.[19] «Отень злат стол» в «Слове» в отношении этих князей упоминается трижды. Первый раз — при изображении Всеволода в битве с половцами: «...забывъ чти и живота, и града Чрънигова отня злата стола...». Очевидно, что здесь Чернигов назван «отним златым столом» по отношению к Всеволоду, но Всеволод никогда впоследствии не становился черниговским князем (и умер прежде, чем черниговским столом завладел Игорь). Думается, не следует в данном случае ничего усложнять — Чернигов назван «отним столом» просто потому, что отец Всеволода (и Игоря) Святослав Ольгович княжил на этом самом черниговском столе. Второй раз данное выражение встречается в ответе бояр Святославу: «...се бо два сокола слѣтѣста съ отня стола злата...» Можно было бы подумать, что в этом случае имеется в виду Новгород-Северский, в котором Святослав Ольгович также княжил. Но, скорее всего, здесь также речь идет о Чернигове: Новгород-Северское княжество было составной частью Черниговского — отчины Ольговичей. Смысл выражения, вложенного в уста бояр, в том, что «соколы» вылетели из пределов своего родового княжества. То же самое — возвращение в свое княжество — имеется в виду, когда говорится, что Игорю «богъ путь кажетъ» «на землю Русскую, къ отню злату столу».

Следующий аргумент Б. И. Яценко — тот факт, что, судя по имеющимся в источниках данным, Роман Мстиславич не совершал походов на половцев ранее 1197 г., в то время как в «Слове» половцы упоминаются среди побежденных им народов.[20] В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что обращение автора «Слова» (вложенное в уста Святослава), в котором присутствует перечень этих народов, относится не к одному Роману Мстиславичу, а к двум князьям — Роману и Мстиславу, под которым может иметься в виду либо Мстислав Всеволодович Городенский, либо (более вероятно) Мстислав Ярославич Немой, двоюродный брат Романа:

А ты, буй Романе, и Мстиславе!
Храбрая мысль носитъ вашъ умъ на дѣло.
Высоко плаваеши на дѣло въ буести,
Яко соколъ на вѣтрехъ ширяяся,
Хотя птицю въ буйстве одолѣти.
Суть бо у ваю желѣзныи папорзи (*паробци — согласно конъектуре А. С. Орлова*)
под шеломы латиньскыми.
Тѣми тресну земля, и многы страны —
Хинова, литва, ятвязи, деремела и половци —

[19] Там же, с. 122.
[20] Там же, с. 122.

Сулици своя повръгоша, а главы своя подклониша
Под тыи мечи харалужныи.[21]

Здесь перечисляются народы, с которыми Роман и Мстислав успешно воевали. Трудно отрицать, что за 15 лет княжения Романа Мстиславича на Волыни (до 1185 г.) у него могли быть столкновения с непосредственными соседями — венграми и литовскими племенами, не упомянутые в киевской летописи. Что же касается половцев (борьбе с которыми, в отличие от литовцев, летопись уделяет значительное место), то и Мстислав Немой, и Мстислав Городенский в 1184 г. участвовали в походе против Кобяка, закончившемся крупной победой.[22]

Таким образом, существующие точки зрения на время написания «Слова» не представляются достаточно убедительно обоснованными. Нижней датой написания поэмы (в дошедшем до нас виде) можно считать время возвращения из плена Владимира Игоревича (август—сентябрь 1188 г.). Верхней датой представляется смерть Всеволода Святославича, которому в поэме провозглашается слава (май 1196 г.).[23] Дату эту можно снизить, исходя из того, что половцы во время написания «Слова» должны представлять значительную опасность, — нельзя не считаться с искренностью призыва автора к защите от них Русской земли. За 1194—1196 гг. сведений о военных действиях против половцев нет. Следовательно, «Слово» было, скорее всего, написано между 1188—1193 гг. Поиску более точной даты, при условии отсутствия априорного представления о принадлежности автора поэмы к сторонникам того или иного князя, может помочь рассмотрение его симпатий и антипатий. Автор «Слова», без сомнения, хорошо относится к Игорю, Святославу Киевскому, Всеволоду Большое Гнездо, Ярославу Осмомыслу, Роману Мстиславичу. Позитивным является и его отношение к Рюрику Ростиславичу — он назван храбрым («Ты, буй Рюриче...») и противопоставлен своему брату Давыду, уклонившемуся в 1185 г. от сражения с половцами: «сего бо ныне сташа стязи Рюриковы, а друзии — Давыдовы, нъ розно ся им хоботы пашуть, копиа поютъ!» Симпатии автора одновременно к обоим соправителям — Святославу и Рюрику — могут быть датирующим признаком. Ипатьевская летопись сообщает о ссоре между этими князьями в 1190 г. (осенью или в начале зимы).[24] Если автор

[21] Обычно в изданиях «Слова» знаки препинания в этом месте расставляются так, что слова «сулици своя повръгоша, а главы своя подклониша» выглядят относящимися только к половцам, которые выделяются тем самым на первое место среди побежденных народов. На самом деле эти слова относятся ко всем пяти народам, список которых разрывает цельную фразу: «и многы страны... сулици своя повръгоша...».

[22] См.: ПСРЛ, т. 2, стб. 631.

[23] По мнению Б. И. Яценко, слава могла петься и умершему князю (Солнечное затмение..., с. 121). Но Всеволод в «Слове» прославляется вместе с Игорем и Владимиром Игоревичем. Объединение живых князей с умершим здесь вряд ли возможно.

[24] ПСРЛ, т. 2, стб. 668—670.

«Слова» был жителем Южной Руси (а все современные исследователи сходятся на этом), он вряд ли мог бы (учитывая, что «Слово», вероятно, предназначалось для устного исполнения в княжеско-боярском кругу) положительно высказываться одновременно о главах двух крупнейших в этом регионе княжеских династий — Мономаховичей и Ольговичей — в период обострения отношений между ними. Правомерно предположить, что поэма создавалась тогда, когда эти князья были в хороших отношениях, т. е. до ссоры, имевшей место в 1190 г. Таким образом, хронологические рамки написания «Слова» сужаются до отрезка август—сентябрь 1188—осень 1190 гг. Внутри этого периода наиболее вероятной предположительной датой является осень 1188 г. К этому времени вернулись из плена Владимир Игоревич и, по-видимому, Всеволод[25] — в «Слове» им (вместе с Игорем) провозглашается слава. В предыдущем, 1187 г., вновь обострились отношения с Кончаком (он воевал «по Роси»[26]) — в «Слове» Кончак изображен заклятым врагом Руси. В том же 1187 г. опять неблаговидно повел себя Ярослав Черниговский, уклонившись от военных действий против половцев[27] — он осуждается в поэме. К лету—осени 1188 г. относится заключение сразу нескольких династических браков — Верхуславы, дочери Всеволода Суздальского, с Ростиславом Рюриковичем, дочери Рюрика со Святославом Игоревичем, Владимира Игоревича с Кончаковной. Возможно, именно в это время, в условиях острой борьбы с половцами и хороших отношений между Святославом, Рюриком, Игорем и Всеволодом Юрьевичем (князьями, положительно изображенными в поэме) и было создано «Слово».

Это предположение, еще раз заметим, относится к «Слову о полку Игореве» в том виде, в котором оно известно в наше время. Однако уже давно высказывалось мнение о возможности разновременного появления разных частей поэмы. Некоторые исследователи полагали, что основная часть «Слова» была написана во время пребывания Игоря в плену, а заключительная часть (описание бегства из плена) — после его возвращения (но тоже в 1185 г.).[28] Н. К. Гудзий, разделявший это мнение, считал также, что такие фрагменты, как диалог Кончака и Гзака и провозглашение славы Владимиру Игоревичу, были включены в «Слово» только после возвращения из плена Владимира.[29] По

---

[25] О возвращении Всеволода в одном году с Владимиром есть упоминание у В. Н. Татищева (*Татищев В. Н.* История Российская. М.; Л., 1964, т. 3, с. 145).

[26] ПСРЛ, т. 2, стб. 653.

[27] Там же, стб. 653—654.

[28] Слово о полку Игореве / Древнерусский текст и переводы. М., 1981, с. 16—17. Первым обосновал мысль о появлении описания бегства позже основной части поэмы В. В. Каллаш (*Каллаш В. В.* Несколько догадок и соображений по поводу «Слова о полку Игореве». — В кн.: Юбилейный сборник в честь В. Ф. Миллера. М., 1900, с. 347).

[29] *Гудзий Н. К.* История древней русской литературы. 7-е изд. М., 1966, с. 145—146. Автор считал временем возвращения Владимира 1187 г., по-

мнению А. Н. Робинсона, «Слово» в основном было написано в 1185 г. после бегства Игоря, а затем до начала XIII в. в него вносились добавления, связанные с возвращением Владимира Игоревича и походами Романа Мстиславича на ятвягов (1196 г.) и половцев (1202 и 1205 гг.).[30] Предположение о более позднем появлении описания бегства Игоря (по отношению к основной части поэмы) вряд ли правомерно: против него говорит то обстоятельство, что главные символические образы «Слова» — свет и тьма — образуют целостную художественную картину только при единстве основной и заключительной частей. В результате поражения Игоря исчезает свет и опускается тьма («два солнца помѣркоста, оба багряная стлъпа погасоста и съ нима молодая мѣсяца... тъмою ся поволокоста и въ море погрузиста»; «На рѣцѣ на Каялѣ тьма свет покрыла»); с возвращением Игоря на Русь свет возвращается («соловии веселыми пѣсньми свѣтъ повѣдаютъ»; «солнце свѣтится на небесѣ — Игорь князь въ Руской земли»).[31] Что касается диалога Кончака и Гзака по поводу судьбы Владимира и «славы» молодым князьям с упоминанием его имени, то они действительно могут быть позднейшими добавлениями — исключение этих фрагментов не нарушает целостности поэмы. Не столь убедительно предположение о позднейшем включении в перечень побежденных Романом народов ятвягов и половцев. Во-первых, перечень в этом случае оказывался бы слишком кратким и не вписывался бы в ритмику поэмы; во-вторых, возникает вопрос: если могут быть упомянуты в тексте 1185 г. литовцы, хотя о войнах Романа с ними нет сведений по отношению ко времени ни до, ни после 1185 г., то почему ятвяги не могут быть упомянуты одновременно с ними? Получается, что только потому, что известно о походе на них Романа в более позднее время. Что касается половцев, то, как сказано выше, их упоминание в конце перечня может относиться к Мстиславу, князю, к которому наравне с Романом обращается автор.

Таким образом, вряд ли есть основания видеть в дошедшем до нас тексте «Слова о полку Игореве» намеки на какие-либо события, происшедшие позже середины 1188 г., и относительно времени создания поэмы могут быть высказаны два предположения: 1) «Слово» было создано целиком осенью 1188 г.; 2) «Слово» было создано в 1185 г., а в 1188 г., после возвращения из плена Владимира Игоревича и Всеволода Святославича, в него были включены диалог Кончака и Гзака и провозглашение «славы» молодым князьям.

этому относил окончание работы над «Словом» к концу 1187—началу 1188 г.

[30] *Робинсон А. Н.* О закономерностях развития восточнославянского и западноевропейского эпоса в раннефеодальный период. — В кн.: Славянские литературы: VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г.; М., 1973, с. 197.

[31] О символике света и тьмы в «Слове» см.: *Робинсон А. Н.* Литература Киевской Руси в мировом контексте. — В кн.: Славянские литературы: IX Международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983 г.; М., 1983, с. 18—20.



Б. И. Яценко

ЧЕРНИГОВСКАЯ ПОВЕСТЬ О ПОХОДЕ ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА В 1185 г.

А. А. Шахматов, исследуя взаимосвязи между древнерусскими летописными сводами XIV—XVI вв., пришел к убеждению, что одним из источников киевской великокняжеской летописи в конце XII в. была какая-то черниговская летопись. «Существование черниговской летописи в XII в. можно доказать из многих статей» в Ипатьевской летописи, где она отразилась наиболее полно, в том числе и в статье «под 1185 г. о несчастном походе Игоря на половцев. . .».[1] Этот вывод А. А. Шахматова подтвердился в исследованиях А. С. Орлова, М. Д. Приселкова, Д. С. Лихачева, А. Н. Насонова, Б. А. Рыбакова и др. В Ипатьевской летописи обнаружены в статьях разных лет наслоения с ярко выраженной черниговской тенденцией.

Со второй половины XII в. Черниговская летопись находилась под контролем Святослава Ольговича (до 1164 г.), Святослава и Ярослава Всеволодовичей (до 1198 г.), Игоря Святославича (до 1202 г.), Всеволода III Святославича Чермного (до 1211 г.), Рюрика Ростиславича (до 1215 г.). Каждый из князей вносил в летопись дополнения и исправления, которые отвечали интересам рода. Так велась и киевская летопись. В этом смысле мы говорим о великокняжеской летописи Рюрика Ростиславича 1198—1200 гг., в которую были включены материалы из Черниговской летописи Игоря Святославича, ставшего в 1198 г. черниговским князем, возможно, даже соправителем Рюрика в Киеве, его союзником как против Романа Галицко-Волынского (с 1199 г.), так и против Всеволода Суздальского.

Междукняжеские и межземельные отношения конца XII в. обусловили разные, иногда очень сложные пути заимствований в летописных сводах. Исследователи давно заметили определенную связь между ипатьевской и лаврентьевской повестями о по-

---

[1] *Шахматов А. А.* Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. М.; Л., 1938, с. 364; ПСРЛ. М., 1962, т. 2, стб. 637—651.

ходе 1185 г. Объясняли ее по-разному: или непосредственным влиянием киевского летописания (также: устного источника) на переяславский (также: владимиро-суздальский) свод, или влиянием черниговского летописания на все другие летописные своды. Но ни одно из этих предположений не получило научного подтверждения.

Д. С. Лихачев, основываясь на данных текстологического анализа повестей 1185 г. в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях, сделал интересное открытие, что «в основе рассказа Ипатьевской летописи, т. е. в конечном счете летописца Игоря Святославича, лежит изложение Переяславской летописи».[2] Для исследователей, которые устанавливают только прямую связь между киевским и переяславским летописанием, это мнение кажется спорным. Такую точку зрения отстаивает, к примеру, Ю. А. Лимонов.[3] Ссылаясь на исследование А. Н. Насонова, он ставит под сомнение тезис Д. С. Лихачева о посредничестве летописи Игоря Святославича, считая, что в статьях 60—80-х гг. XII в. Лаврентьевской летописи «основа большинства известий состоит из киевских сообщений».[4] Действительно, А. Н. Насонов анализирует южнорусскую информацию Лаврентьевской летописи и определяет ее как киевскую, но преимущественно до 1157 г. Что касается последующего периода, то, например, повесть 1169 г. о подвиге Михалка и повесть 1186 г. о походе Игоря А. Н. Насонов считает переяславскими, хотя и не говорит о путях проникновения этой информации в Киевскую летопись.[5] Таким образом, Ю. А. Лимонов исходит в этом случае из явно ошибочных предпосылок. Та же неточность в интерпретации исследования А. Н. Насонова допущена и в труде Б. А. Рыбакова о русских летописцах.[6] А это не могло не повлиять на его окончательные выводы относительно переяславской повести о походе 1185 г. и летописного свода Игоря Святославича.[7]

Появление полемической переяславской повести (далее *П*) было обусловлено остротой междинастической борьбы. Определение места повести в Лаврентьевской летописи, оценка исто-

---

[2] *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947, с. 188; ПСРЛ. М., 1962, т. 1, стб. 397—400.

[3] *Лимонов Ю. А.* Летописание Владимиро-Суздальской Руси. Л., 1967, с. 12.

[4] Там же, с. 71—72.

[5] *Насонов А. Н.* Об отношении летописания Переяславля-Русского к Киевскому (XII век). — В кн.: Проблемы источниковедения. М., 1959, т. 8, с. 471. Мы считаем, что повесть 1169 г. прославляет Михалка Юрьевича, князя торческого и переяславского, как главного претендента на киевский престол от Черниговско-Суздальской коалиции в 1174 г. После поражения коалиции князя Михалка и его брата Всеволода приютил Святослав Черниговский. Так повесть о Михалке попала в Черниговскую летопись Святослава.

[6] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972, с. 14.

[7] Там же, с. 13.

рической информации и политических мотивов подтверждают главный тезис Д. С. Лихачева о первичности переяславского рассказа среди литературных памятников о походе 1185 г.[8] Возвеличив Владимира Глебовича, переяславский автор обвинил Игоря Северского в самонадеянности, даже в игнорировании «божьего промысла»; в карикатурном плане показан и Святослав Киевский, старейшина Ольговичей. Вполне понятно, что князья Ольговичи не остались равнодушными к этой враждебной акции, дав свою оценку походу, которая оказала определенное влияние и на летопись Рюрика. Так, в ипатьевской повести отмечены родственные связи князя Игоря с Кончаком и Рюриком. По всей видимости, этим объясняются другие, по сравнению с переяславской повестью, акценты в ипатьевском рассказе: тщательно уравновешено отношение к Святославу и Рюрику; не упоминается о трусливой половецкой тактике перестрелки во время второго боя, князь Игорь показан почетным пленником, отсутствует упоминание о погоне за Игорем. Такое освещение событий несомненно способствовало укреплению новых политических связей князя Игоря.

Вместе с тем в ипатьевской (киевской) повести проскальзывают и откровенно враждебные Ольговичам мотивы. Так, определяя начало похода 23-м апреля, днем св. Георгия Победоносца, киевский летописец подводил читателя к мысли, что св. Георгий Победоносец отвернулся от Ольговичей, потерпевших поражение, хотя они могли рассчитывать на помощь своего патрона (христианское имя Игоря — Георгий). Кроме того, по мнению летописца, князь Игорь, увидев неблагоприятное знамение, солнечное затмение, пренебрег молитвой. И за это наказан поражением и пленом. Позиция киевлянина в повести несколько тенденциозна. Поэтому возможные мотивы черниговской повести могут определиться только в сопоставлении всех источников о походе 1185 г. Схема научного поиска, предложенная Д. С. Лихачевым, определяет направление и характер изучения литературных памятников о походе 1185 г. — переяславской, черниговской, киевской повестей, а также «Слова о полку Игореве».

Литературные памятники о походе 1185 г. объединяет общий ход событий: выход в поход, победа в первом бою, поражение северян во втором бою, защитные меры Святослава Киевского, раны Владимира Переяславского, бегство Игоря и возвращение на Русь. Повести следуют одному образцу. Мы считаем, что таким образцом была переяславская повесть. Видимо, черниговская повесть следовала тому же сюжету и той же композиции, отразив факты из переяславской повести и сама отразившись в других памятниках. Поэтому к реконструкции черниговской повести необходимо привлечь все известные источники о походе 1185 г., а именно: повести из Лаврентьевской,[9] Ипатьевской (ва-

[8] *Яценко Б. И.* Лаврентьевская повесть о походе Игоря Святославича в 1185 году. — Русская литература, 1985, № 3, с. 31—42.

[9] ПСРЛ, т. 1, стб. 397—400.

рианты из Хлебниковской, Ермолаевской)[10] летописей, Густинской летописи,[11] «Кройники о Руси» Феодосия Софоновича,[12] Киевской летописи XVIII в.,[13] первой и второй редакций «Истории Российской» В. Н. Татищева,[14] «Слово о полку Игореве».[15] Информация, которая повторяется во всех повестях и «Слове», может быть также остовом черниговской повести.

Но вопрос об известиях черниговского происхождения значительно сложнее. Необходим подробный анализ и отбор информации с учетом междукняжеских отношений и военно-политического положения Руси в середине 80-х гг. XII в. Кроме того, черниговская повесть была ответом на полемическое произведение Переяславца, что также нужно учесть при анализе. Наконец, черниговская повесть могла отразиться в другом черниговском произведении — «Слове о полку Игореве».

Д. С. Лихачев обнаруживает сходство между Ипатьевской летописью и «Словом» «по крайней мере в шести бесспорных случаях», которые отразились и в «Задонщине». Этот «текстологический треугольник» доказывает, что «Задонщина» как более поздний памятник явилась из «Слова», а не наоборот.[16] Одновременно сходство между летописью и «Словом» предполагает существование еще одного источника, общего для них обоих.[17] Эти наблюдения Д. С. Лихачева открывают пути решения проблемы. Так, если памятник XVII в. включает оригинальные прочтения памятников XVI, XVIII и XV вв., то не исключено, что их протограф относится к XIV в. Вместе с тем, если в какой-либо летописной повести (кроме переяславской и киевской) обнаруживаются «общие места» со «Словом о полку Игореве», то именно они могут восходить к общему источнику — черниговской летописной повести XII в.

Рассмотрим некоторые факты, обретающиеся в ряде литературных памятников о походе 1185 г. В переяславской повести Ольговичи позавидовали Владимиру Глебовичу: «... пойдем такы же собѣ хвалы добудем».[18] Близкий этому мотив, но с ориентировкой на Святослава Киевского, находим в «Кройнике о Руси» Феодосия Софоновича: Игорь Святославич «хотѣлъ так же, якъ и Святославъ, достати славы». Здесь предпочтение отдано Святославу, автор как бы вступает в полемику с Переяславцем.

---

[10] ПСРЛ, т. 2, стб. 637—651.

[11] ПСРЛ. СПб., 1843, т. 2, с. 319—320. Далее цитируем по этому изданию.

[12] *Перетц В.* Слово о полку Ігоревім: Пам'ятка феодальної України—Руси XII віку. У Києві, 1926, с. 344. Далее цитируем по этому изданию.

[13] ЦГИА СССР, ф. 834, оп. 4, ед. хр. 583, л. 143—143 об. Этот источник совпадает с текстом Густинской летописи.

[14] *Татищев В. Н.* История Российская. М.; Л., 1964, т. 4, с. 302—308; т. 3. М.; Л., 1963, с. 134—143.

[15] Ироическая пѣснь о походѣ на половцовъ удѣльнаго князя Новагорода-Сѣверскаго Игоря Святославича. М., 1800.

[16] *Лихачев Д. С.* Когда было написано «Слово о полку Игореве»? — Вопросы литературы, 1964, № 8, с. 142.

[17] Там же, с. 144.

[18] ПСРЛ, т. 1, стб. 397.

В первой редакции «Истории Российской» В. Н. Татищева (далее: T_1): «...видя братию победивши половцев и честь прияша, поревновав има»;[19] во второй редакции «Истории» В. Н. Татищева (далее: T_2): «...завидуя чести, полученной Святославом».[20] Этот мотив близок мотиву «Кройники».[21] В других источниках также упоминается имя Святослава Всеволодича. В Густинской летописи Игорь вышел в поход, «не повѣдая Святославу Киевскому»; в Киевской летописи XVIII в. то же: «...стидяшеся князей... не повѣдая Святославу Кіевскому». Словосочетание «стидяшеся князей» — возможно, отражение из другого, неизвестного источника, близкого T_1. Во всех этих повестях князь Игорь показан в невыгодном свете, противопоставлен Святославу, великому князю. Этот мотив мог быть в Черниговской летописи до 1198 г., но в летописи Игоря Святославича его уже не было. Действительно, в Ипатьевской летописи фиксируется только выход северян в поход.

Все известные источники, кроме ипатьевской (киевской) повести, датируют начало похода 13-м апреля. Правда, в Киевской летописи XVIII в. явная описка — 13 августа. Видимо, дата 13 апреля и была в летописи Игоря Святославича. Эта дата сохранилась также в Хлебниковской и Ермолаевской летописях.

Привлекает внимание совпадение между T_2 и «Кройникой» в перечислении состава Игоревой рати. T_2: «и у Ярослава Всеволодича Черниговского выпросил в помочь войска...» (3, с. 134); «и от Ярослава черниговское войско» («Кройника»).

В описании солнечного затмения конструкция фразы совпадает в Густинской летописи, Киевской летописи XVIII в.: «се знаменіе не на добро бываеть» и в T_2: «Сие знамение не на добро есть» (3, с. 134). В киевской (ипатьевской) повести (далее: *К*) иначе: «Се есть не на добро знамение се».[22]

В «Кройнике»: «Половцы, великимъ множествомъ собравшися...». То же в T_2: «половцов множество в собрании», «такое множество половцов собраться могло» (3, с. 135). В *К* тот же факт, но в иной редакции: «собрашася Половци вси», и далее: «бысть бо ихъ бещисленое множество».[23]

В Густинской летописи (и в Киевской летописи XVIII в.): «бысть въ нихъ распря»; T_2: «учинилась в них распря» (3, с. 137); T_1: «котора» (4, с. 304); в *К*: «котора».[24] Фиксируем также совпадение между T_1 и *К*.

[19] *Татищев В. Н.* История Российская, т. 4, с. 302. Далее ссылки на это издание в тексте статьи.

[20] *Татищев В. Н.* История Российская, т. 3, с. 134. Далее ссылки на это издание в тексте статьи.

[21] Об общем источнике «Кройники» и T_2 см.: *Мыцык Ю. А.* К вопросу о достоверности источников «Истории Российской» В. Н. Татищева («Кройника» Ф. Софоновича и «История Российская»). — В кн.: Некоторые вопросы отечественной историографии и источниковедения. Днепропетровск, 1976, вып. 3, с. 33.

[22] ПСРЛ, т. 2, стб. 638.

[23] Там же, стб. 640, 641.

[24] Там же, стб. 646.

В T_1 и T_2 Владимир Переяславский «ранен». Так и в Густинской летописи, Киевской летописи XVIII в., в «Кройнике». В *К*: «язьвенъ».

В Густинской летописи, Киевской летописи XVIII в., как и в T_1 (4, с. 304), упоминается какой-то «Беловод Просович» (в T_2 — «Беловод»), который возвестил Святослава о поражении северян. В T_2 частичное совпадение с Густинской летописью и T_1. Повесть *К* совпадает с ними в другой части: «Бѣловолодъ Просовичь».[25] В этом случае Густинская летопись и T_1 занимают как бы промежуточное положение между T_2 и Ипатьевской летописью.

В T_1, Густинской летописи и Киевской летописи XVIII в. Беловод Просович прибежал «с полку» (T_1) «съ тоя брани» (Густ. лет.). Вполне очевидно, что Беловод Просович — участник похода. В T_2 и *К* этого факта нет.

Дальше в Густинской (и Киевской XVIII в.) летописи совпадение только с T_2. Густинская летопись: Беловод Просович поведал Святославу «погибель христіанъ въ землѣ Половецкой». T_2: «возвестил ему несчастие Игорево и всех полков руских. Святослав, слыша, горько плакал о сей погибели...» (3, с. 136).

И еще одно очень важное совпадение. Густинская (и Киевская XVIII в.) летопись: Кончак призывал «пойти на Кіевъ мстяся своихъ братій, яко тамо многащи поражены быша наши». T_1: «помстим ся крови их» (4, с. 304). В T_2: «отмстить кровь побитых так многих князей половецких» (3, с. 137). Здесь в T_2 и Густинской летописи двойное совпадение. В Ипатьевской летописи о мести не говорится. Но в «Слове» это основная тема разговора между Кончаком и Гзой. И с предложением о мести выступает Гзак. Вероятно, и автор киевской повести, и автор «Слова» приняли во внимание родство Игоря Святославича с Кончаком. Тем не менее мотив мести мог отразиться в черниговской повести до 1198 г.

Таким образом, из оригинальной информации (мы привели 12 фактов, которые не встречаются в повестях *П* и *К*) в T_2 проявились 11 фактов, в Густинской (и Киевской XVIII в.) летописи — по 10 фактов, в T_1 — 5, в «Кройнике» — 4. В двух случаях, когда T_2 не совпадает с Густинской летописью, находим соответствие в «Кройнике». В упоминании о Беловоде Просовиче, прибежавшем «с полку», T_1 ближе к Густинской, а T_2 — к Ипатьевской летописи. В целом же сравнение показывает, что летописная основа T_2 восходит, по всей видимости, к общему протографу названных повестей.

Однако это сопоставление еще не выводит на черниговский летописный источник XII в. Поскольку рассмотренные памятники относятся к XVII и XVIII вв., то и их общий источник может быть сравнительно недавним (например, XVI в.). Вместе с тем зафиксируем тот факт, что T_2 наиболее полно отражает

---

[25] Там же, стб. 647, 645.

этот общий источник. Решающее значение для определения древности информации имеет сходство между повестями и «Словом о полку Игореве». Так, упоминание о мести половцев и в повестях, и в «Слове» свидетельствует о том, что этот факт относится к XII в.

Л. А. Дмитриев фиксирует ряд совпадений между T_1 и «Словом» в тех случаях, когда T_1 отличается от Ипатьевской летописи. В частности, он выделяет слово «оступиша», которого нет в летописи, «но которое вероятнее всего восходит к какому-то источнику Татищева, а не употреблено им самим...» [26] То же слово и в том же эпизоде находим и в «Слове о полку Игореве»: половцы «Рускыя плъки отступиша». Ошибочное прочтение «от» вместо «о» объясняется палеографически: первой буквой в слове «оступиша» была ѿ (омега), прочитанная как «от». Другие такие случаи в тексте «Слова» — «оттворяеши», «оттвори»; [27] в переводах XVIII в., которые сверялись с рукописью «Слова», та же ошибка: тули «оттворени».[28]

На основе этих наблюдений Л. А. Дмитриев сформулировал одну из актуальных задач в изучении «Слова о полку Игореве», отметив, что «тщательный текстуальный анализ татищевского рассказа о походе Игоря по разным редакциям его „Истории" в сопоставлении его с летописными рассказами о походе Игоря и со „Словом о полку Игореве" поможет не только уточнить исторические обстоятельства Игорева похода, разобраться в вопросе о взаимоотношении летописных рассказов и „Слова", но и даст интересный материал для изучения самого текста „Слова о полку Игореве"».[29] Такая постановка проблемы расширяет масштабы научного исследования, вводит в круг источников максимально возможное количество письменных памятников о походе 1185 г., в частности, рассказы первой и второй редакций «Истории Российской» В. Н. Татищева.

Четко обнаруживается сходство и между T_2 и «Словом о полку Игореве». Так, в описании второго боя северян с половцами в T_2 находим сравнение половецких стрел с градом: «поганые, наскакивая, стрелы, яко град, пусчали» (3, с. 137). В повести *К* этого факта нет. Но в «Слове о полку Игореве» создан аналогичный поэтический образ — «итти дождю стрѣлами». А вот изображение буй-тура Всеволода в «Слове»: «Стоиши на борони, прыщеши на вои стрѣлами...».[30] В T_2: Всеволод «бился... так долго, как уже ни единыя стрелы ему не осталось...» (3, с. 136). Упоминание о стрелах как оружии Всево-

---

[26] *Дмитриев Л. А.* Важнейшие проблемы исследования «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1964, т. 20, с. 137.

[27] Ироическая пѣснь о походѣ на половцовъ..., с. 13, 30, 35.

[28] См.: *Дмитриев Л. А.* История первого издания «Слова о полку Игореве»: Материалы и исследование. М.; Л., 1960, с. 340.

[29] *Дмитриев Л. А.* Важнейшие проблемы исследования «Слова о полку Игореве», с. 137—138.

[30] Ироическая пѣснь о походѣ на половцовъ..., с. 12, 13.

лода, которое встречается только в T_2 и «Слове», можно было бы считать случайным, если бы не одно обстоятельство: так изображен князь Всеволод Святославич и на одной из миниатюр Радзивиловской летописи. Случайность совпадения в трех памятниках исключена.

Конечно, можно предположить, что «Татищев обратился к миниатюрам Радзивиловской летописи как к дополнительному источнику».[31] Но если бы даже удалось доказать, что В. Н. Татищев включил описание миниатюр в текст T_2, это не объяснило бы совпадения между миниатюрой и «Словом о полку Игореве». Наверняка существовал летописный источник, который эти миниатюры иллюстрировали. Ведь они не отражают содержания Радзивиловской летописи и через посредство Владимирского свода 1212 г. восходят к неизвестному южнорусскому источнику XII в.[32] Миниатюры, «Слово» и T_2 могут восходить к общему источнику. Такой возможности исключать нельзя. Во всяком случае сходство между «Словом», T_1 и T_2 очень интересно и перспективно в плане поиска следов черниговской повести о походе 1185 г.

* * *

Изложение событий 1185 г. в Ипатьевской летописи и в «Истории Российской» В. Н. Татищева однотипно. Это привлекает внимание к двум летописям типа Ипатьевской, которые были у В. Н. Татищева, — Раскольничьей и Голицынской. Обе летописи имели одинаковое название, близкое к названию Хлебниковского списка Ипатьевской летописи: «Повесть временных дей Нестора Черноризца Феодосиева Печерского монастыря» (1, с. 123). Но они не были идентичны. По свидетельству В. Н. Татищева, в Голицынской летописи, написанной «белорусским письмом» (т. е. киевской или, возможно, виленской скорописью), было немало информации, записанной на Волыни; для Раскольничьей характерны «разговоры и причины дел». Раскольничья летопись была переведена сибирским старовером на русский язык XVIII в., и, естественно, В. Н. Татищев не мог использовать ее в полной мере в «Истории» на древнем наречии (T_1). Но зато для второй редакции (T_2) Раскольничья летопись представляла собой почти готовый текст. Однако это только предположение. В. Н. Татищев мало говорит о том, как он использовал Раскольничью и Голицынскую летописи в редакциях T_1 и T_2. Тем не менее отдельные свидетельства очень ценны.

В. Н. Татищев почти не делает ссылок на развернутые описания из Раскольничьей летописи (исключение представляет статья 1147 г. — см. 4, с. 439, примеч. 298). Но ссылки на об-

---

[31] *Сазонова Л. И.* Летописный рассказ о походе Игоря Святославича на половцев в 1185 г. в обработке В. Н. Татищева. — ТОДРЛ, М.; Л., 1970, т. 25, с. 45.

[32] *Вагнер Г. К.* Формирование исторической проблематики в русском искусстве X—XIII веков. — Вопросы истории, 1972, № 10, с. 67.

ширные повести из Голицынской летописи, к счастью, есть: по Голицынской летописи описаны поход на полоцких князей в 1167 г. (4, с. 448, примеч. 358); скитания Владимира Галицкого в 1190 г. (4, с. 454, примеч. 405); походы Ростислава Рюриковича в 1190 и 1193 гг. (4, с. 455, примеч. 413). Сопоставив эти тексты T_1 с летописями Ипатьевского цикла, мы сможем установить текстологические характеристики Голицынской летописи.

В описании похода 1167 г. на полочан отдельные фрагменты T_1 (4, с. 269—270) совпадают с написаниями Хлебниковского и Ермолаевского списков Ипатьевской летописи (далее: Хлебн., Ерм.). T_1: «занеже ждаша брата Романа» — находит соответствие и в Хлебн., и в Ерм.; в Ипатьевском списке (далее: Ипат.): «занеже брата своего Романа».[33] T_1: «блудивших много изымаша» — ближе к Хлебн. Вариант из T_2 «блудящих много побрали» (3, с. 81) совпадает только с Ипат. — «блудящих много изоимаша».[34]

В рассказе T_1 о Владимире Галицком (1190 г.) находим те же хлебниковско-ермолаевские черты (4, с. 312). T_1: «изкочи Володимер Ярославич из Угр из вежи каменныя» — ближе к Хлебн. и Ерм.;[35] «поставлен бяше на вежи шатер ему» — ближе к Хлебн.;[36] «по 20 гривен серебра до города» — Ерм., а в Ипат.: «до года»;[37] так же и в T_2 — «каждогодную дань» (3, с. 149). T_1: «галицкие мужи сретоша князя своего с радостью великою» — ближе к Хлебн.[38]

Повести о походах Ростислава Рюриковича на половцев в 1190 и 1193 гг. сохраняют те же особенности (4, с. 313—314, 316); T_1: «улюби думу с мужи своими», «совокупившеся», «ехаша вборзе, со ездом» — Хлебн., Ерм.;[39] «возрев на бога», «видивше стяги Ростиславли, не дождавше полков его», «князя Кобяка», «не водячи его» — Ерм.;[40] «старейших нет», «възвратишас в свояси», «Ростислав с вои» — Хлебн.;[41] «на Ивле реце половецкой» — Ерм.;[42] «половцы днище далей лежат вежей и стада», «посла же и во Треполь по Мстислава» — Хлебн.[43] В повести о походе Ростислава в 1190 г. (4, с. 314) выражения «о окупе»,

---

[33] ПСРЛ, т. 2, стб. 527; Хлебн., вар. 3, 4; Ерм. — Прил., с. 41, вар. к стб. 527, с. 3. (Здесь и далее в вариантах Ерм. буквой «с» обозначается строка).

[34] Там же, стб. 527; Хлебн., вар. 12—13.

[35] Там же, стб. 666; Хлебн., вар. 49; Ерм. — Прил., с. 54, вар. к стб. 666, с. 6—7.

[36] Там же, стб. 666.

[37] Там же, стб. 666; Ерм. — Прил., с. 54, вар. к стб. 666, с. 21—22.

[38] Там же, стб. 666, вар. 78.

[39] Там же, стб. 671, вар. 10; Ерм. — Прил., с. 54, вар. к стб. 671, с. 1, 6—8.

[40] Там же; Ерм. — Прил., с. 54, вар. к стб. 671, с. 24, 27—28; к стб. 672, вар. 4, 5.

[41] Там же, стб. 671, вар. 20—21; стб. 672, вар. 51.

[42] Там же; Ерм. — Прил., с. 55, вар. к стб. 677, с. 20.

[43] Там же, стб. 677, вар. 32—34, 20.

«веселие Ярополче» находят соответствие в Хлебн. и Ерм. Но в T_2 совпадение только с Ипат.: «на окуп», «свадьба Ярополка Юриевича» (3, с. 151).[44]

Хлебниковско-ермолаевские черты Голицынской летописи выступают почти во всем тексте T_1 — в изложении междукняжеских отношений с 30-х гг. до конца XII в. Вот отдельные срезы по годовым статьям T_1.

1152 г. T_1: «бе бо у короля 73 полка опроч поводных коней и товарных» (4, с. 238). Так и в Хлебн. В Ипат., Ерм.: «проче поводных конии и товарных».[45] T_1: «не мешкаючи» (4, с. 238). Так и в Хлебн. В Ипат., Ерм.: «не стряпуче».[46] T_1: «ранен», «немощен бо есть» (4, с. 238). Так и в Хлебн. В Ипат. и Ерм.: «боденъ», «боленъ есми».[47] T_1: «и волость его возмева» (4, с. 238). Так и в Хлебн. В Ипат. и Ерм.: «възмивѣ».[48]

1154 г. T_1: «выгнаша новгородцы (Ярослава Изяславича) Романа Изяславича» (4, с. 244). Так в Хлебн. и Ерм. В Ипат.: «выгнаша новгородци Изяславича Ярославича. . .».[49] T_1: «у Корецка». Так в Хлебн. В Ипат. и Ерм.: «у Кочерьска».[50]

1187 г. T_1: «Рюрик и ины князи улюбиша Володимера» (4, с. 307). Так в Хлебн. и Ерм. Но в Ипат.: «Рюрик инии вси убидишася зане бѣ мужъ бодръ и дерзокъ и крѣпокъ на рати».[51] Именно варианту Ипатьевского списка соответствует текст T_2: «Рюрик и все князи, довольно уверены будучи храбростию и распорядком Владимира» (3, с. 142).

Таким образом, хлебниковско-ермолаевские особенности тех эпизодов T_1, которые, по свидетельству В. Н. Татищева, находятся в одном Голицынском списке, проявляются и в других эпизодах первой редакции. В T_2 в этих же эпизодах проявляются и особенности Ипатьевского списка.

Но сохранены ли те же особенности текста в повестях T_1 и T_2 о походе 1185 г.? Вот некоторые сопоставления. T_1: «вельми тучни» (4, с. 302). То же в Ерм., Хлебн.; в Ипат.: «тучни велми».[52] T_1: «к Донцю реце» (4, с. 302); то же в Ерм. и Хлебн.; в Ипат.: «к Донцю рѣкы».[53] T_1: «от всех князь выведены» (4, с. 303), то же в Ерм.; в Ипат.: «отъ всихъ князий выведени».[54] T_1: «передннии разбиша и имаша» (4, с. 303). Так и в T_2 (3, с. 135), Ерм., Хлебн.; в Ипат. эта фраза испорчена.[55] T_1: «оже ми

[44] Там же, стб. 672; Хлебн., вар. 44—45, 58—59; Ерм. — Прил., с. 54, вар. к стб. 672, с. 6—7, 15.

[45] Там же, стб. 448; Хлебн., вар. 50, 53.

[46] Там же, стб. 449; Хлебн., вар. 11.

[47] Там же, стб. 450; Хлебн., вар. 35, 40.

[48] Там же, стб. 451; Хлебн., вар. 17.

[49] Там же, стб. 468; Хлебн., вар. 54; Ерм., вар. к стб. 468, с. 12—14.

[50] Там же, стб. 468; Хлебн., вар. 56.

[51] Там же, стб. 652; Хлебн., вар. 61; Ерм. — Прил., с. 52, вар. к стб. 652, с. 15—16.

[52] Там же, стб. 638.

[53] Там же, стб. 638.

[54] Там же, стб. 639.

[55] Там же, стб. 640; Ерм. — Прил., с. 51, вар. к стб. 640, с. 7—9.

ныне будет поехати» (4, с. 303); так и в Ерм.; в Ипат.: «будеть нынѣ».[56] T_1: «коуеви полки» (4, с. 303); о полке ковуев сказано и в T_2 (3, с. 136); Ерм.: «куиевы полки»; Ипат.: «Ковуеве в полку».[57] T_1: «не бяху бо добрии и смелии в коуеди» (4, с. 303); Ерм.: «...и смѣлѣ Коуихъ»; Ипат.: «...смялися с Ковуи».[58] T_1: «утекоша от руских 215 муж» (4, с. 304); то же в T_2 (3, с. 136), в Ерм.; но в Ипат.: «Русь съ 15 мужъ утекшии».[59] T_1: Святослав «собравше... вои» (4, с. 304); то же в T_2 (3, с. 136), Ерм.; но в Ипат.: «сбирашеть... вои».[60] T_1: «во всех волости князей изоиманных» (4, с. 304); Ерм.: «по всей волости князи изоимани»; Ипат.: «во всей волости Черниговской князи изымани»;[61] и др.

Отдельные конструкции фраз сближают T_1 только с Хлебниковским списком: «к себе из Руси» (4, с. 305),[62] «поити не имам» (4, с. 305),[63] «переедь на ону страну с конем поводным» (4, с. 305),[64] «не будет тебе славы» (4, с. 305),[65] «и обеща ему Ярослав» помощь (4, с. 306),[66] «також и Рюрик, сват его» (4, с. 306).[67]

Часть информации T_2, которой нет в T_1, по форме и по содержанию совпадает с фактами Ипатьевской летописи. Святослав сожалел об Игоре, «которого паче родного брата любил» (3, с. 136) — T_1: «Только ми жаль Игоря ныне более, неж прежде» (4, с. 304); в Ипат.: «нынѣ жалую болми по Игорѣ, братѣ моем».[68] Собрав войска, Святослав выступил против половцев «с Рюриком и другими полками» (3, с. 137) — T_1: «с Рюриком и с помощьми» (4, с. 305), но в Ипат.: «съ Рюрикомъ и со иными помочьми».[69] В плену Игорь жил, «не ведая о себе божия промысла» (3, с. 138) — в T_1 сказано о «божьем суде» (4, с. 305), но в Ипат.: «не вѣдяшеть божия промысла».[70] Во время бегства Игоря «служители играли и веселились» (3, с. 138) — T_1: «а сторожеве играюща» (4, с. 305), но в Ипат.: «сторожем же его играющимъ и веселящимся».[71] Наконец, когда князь Игорь прибыл в Чернигов, Ярослав, «с радостью и любовию его приняв, обесчал довольное войско в помочь ему дать» (3, с. 139) — в T_1:

---

[56] Там же, стб. 640; Ерм. — Прил., с. 51, вар. к стб. 640, с. 24.
[57] Там же, стб. 641—642; Ерм. — Прил., с. 51, вар. к стб. 641, с. 25.
[58] Там же, стб. 642; Ерм. — Прил., с. 51, вар. к стб. 642, с. 11.
[59] Там же, стб. 644; Ерм. — Прил., с. 52, вар. к стб. 644, с. 25—26.
[60] Там же, стб. 645; Ерм. — Прил., с. 52, вар. к стб. 645, с. 1—2.
[61] Там же, стб. 645; Ерм. — Прил., с. 52, вар. к стб. 645, с. 25.
[62] Там же, стб. 649, вар. 44.
[63] Там же, стб. 650, вар. 64.
[64] Там же, стб. 651, вар. 4.
[65] Там же, стб. 650, вар. 76.
[66] Там же, стб. 651, вар. 40.
[67] Там же, стб. 651, вар. 42.
[68] Там же, стб. 645.
[69] Там же, стб. 647.
[70] Там же, стб. 649.
[71] Там же, стб. 651.

«И обеща ему Ярослав» (4, с. 306), но в Ипат.: «Ярославъ же обрадовася ему и помощь ему дати обѣща».[72]

Этот анализ позволяет сделать определенные выводы.

T_1 и T_2 имеют разные текстологические характеристики. Будучи близкими к летописям Ипатьевского типа, они проявляют или хлебниковско-ермолаевские черты (T_1), или хлебниковско-ермолаевско-ипатьевские черты (T_2). Те же особенности и в повестях о походе 1185 г., которые в этом смысле мы можем рассматривать как отдельные повести T_1 и T_2.

Хлебниковско-ермолаевские черты проявляются в эпизодах T_1, которые, по свидетельству В. Н. Татищева, обретаются в одной Голицынской летописи. Эти же черты находим в различных погодных статьях T_1; в проанализированных срезах ровно и стабильно проступает цельная основа Голицынской летописи.

В соответствующих эпизодах T_2 обнаруживаются хлебниковско-ермолаевско-ипатьевские черты, т. е. особенности другой, более древней летописи. По мнению С. Л. Пештича, во второй редакции «Истории» В. Н. Татищева частично использован список Ипатьевской летописи, близкий к Хлебниковскому, но не совпадающий с ним. «Таким списком могла быть Раскольничья летопись, остающаяся загадкой и до сего дня».[73] Анализ фактического материала и вариантов текста подтверждает правильность вывода С. Л. Пештича с тем лишь уточнением, что в T_2 проявилась цельная летописная основа, одинаково близкая не только Хлебниковскому, но и Ермолаевскому, и Ипатьевскому спискам, т. е. в T_2 проступают особенности протографа летописей Ипатьевского цикла, фиксируется сходство со «Словом о полку Игореве». Летописная основа T_2 по всем признакам может восходить к черниговской летописи XII в. Но для окончательного решения этого вопроса необходим анализ идейного содержания T_2, в частности, идейной направленности повести о походе 1185 г.

* * *

После смерти Владимира Мономаха (1125 г.) и до конца XII в. правителями или соправителями в Киеве (за исключением нескольких лет) были Мстислав Владимирович (ум. 1132 г.), его дети и внуки. Поэтому вся киевская летопись XII в. предстает как своеобразная «летопись Мстиславова племени»,[74] упорно отстаивавшего свое право на руководство в Русской земле.

Тем не менее судьба Мстиславова племени была под вопросом еще в 30-х гг., когда Ярополк, Вячеслав, Андрей и Юрий Владимировичи попытались лишить своих племянников уделов

---

[72] Там же, стб. 651.

[73] *Пештич С. Л.* Русская историография XVIII века. Л., 1961, ч. 1, с. 258.

[74] ***Рыбаков Б. А.*** Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве», с. 267—276.

в Русской земле и были близки к осуществлению замысла. Но Мстиславичи получили поддержку своего зятя Всеволода Ольговича Черниговского, который позже стал великим киевским князем. Владимировичи потерпели поражение. Юрий был вообще изгнан из Руси в Залесскую землю. Фактически Всеволод Ольгович стал опекуном Мстиславичей, их политическим отцом. Однако попытка Всеволода передать после себя великокняжескую власть своему брату Игорю Ольговичу вызвала противодействие Мстиславичей. В Киеве обосновался Изяслав Мстиславич, хотя преимущественное право на престолонаследие имели Ольговичи и Владимировичи. Именно здесь нужно искать расшифровку политических акцентов последующей междинастической борьбы 1146—1152 гг.

Важно отметить, что на определенном этапе междоусобицы 40—50-х гг. в T_2, как и в Ипат., показана неуемная злобность и безрассудство старейшины Мстиславичей — великого князя Изяслава (2, с. 187, 190—193; 3, с. 32),[75] коварство и лживость киевских бояр (3, с. 19, 20, 25),[76] отмечена вместе с тем государственная мудрость Юрия Владимировича Суздальского, который, однако, не пользуется прочной поддержкой в Руси. Несмотря на постоянные упоминания о склонности Юрия Владимировича к увеселениям и пьянству летописец, передавая факты, сохранил главные черты Юрия как благоразумного князя, полководца и дипломата, патриота Русской земли (2, с. 189; 3, с. 9, 12, 15).[77]

Из всех участников событий 1146—1152 гг. только Святослав Всеволодич, сын покойного киевского князя Всеволода II Ольговича, пользуется постоянной поддержкой и сочувствием летописца.

Если точнее определить позицию автора, то он не принадлежит к лагерю Изяслава, ненавидит киевлян, не во всем поддерживает Долгорукого. Но так события описаны только на том этапе междоусобиц, когда Святослав Всеволодич находился в стане врагов Изяслава Киевского. Летописец внимательно следит за сменой политической ориентации Святослава, подчеркивая вынужденный характер его союза с Юрием Суздальским и Святославом Северским. Как только Святослав Всеволодич перешел на сторону Изяслава (1152 г.), исчезают отрицательные оценки Изяслава и киевлян, усиливается ироническое отношение к суз-

---

[75] Ср. с Ипат.: Изяслав не слушает разумных советов (ПСРЛ, т. 2, стб. 378, 381, 382), не принимает предложения Юрия о мире (стб. 380).

[76] Эти факты в Ипат. не отразились.

[77] Ср. Ипат.: Юрий, решившись идти на Киев: «любо честь свою налѣзу паки ли голову свою сложю» (ПСРЛ, т. 2, стб. 376); Юрий — Изяславу: «Русскыя дѣля земли и христьян дѣля не пролеивѣ кровѣ христьяньскы» (стб. 380); Юрий — иностранным союзникам Изяслава: «Оже ны ся велите мирити, то не стоите на нашеи земли и жизни нашея ни сел наших не губите» (стб. 388); Изяслав — Владимиру Галицкому: просит помирить его с Юрием, признавая свою вину во всем перед богом и перед Юрием (стб. 391).

дальскому и северскому князьям. Апологетическое отношение летописца к Святославу Всеволодичу несомненно.

Последующие события также описаны с позиций Святослава Всеволодича: характеристика деятельности всех князей (даже митрополита) зависит от отношения Святослава Всеволодича к ним. Князья Юрьевичи, например, в борьбе за суздальское наследство в 70-х гг. выжили и защитили свои уделы, не превратясь в изгоев, благодаря поддержке Святослава Всеволодича Черниговского. Мы считаем, что события 40—50-х и 70-х гг. XII в. были описаны (возможно, ретроспективно) летописцем князя Святослава Всеволодича, внука Олега Святославича, внука Мстислава Владимировича по матери.

Утверждение Святослава на великокняжеском престоле в Киеве проходило в упорной борьбе с Ростиславичами. Наконец в 1181 г. Святослав заключил мир с Рюриком, «удержав Киев со старейшинством, а Рюрику уступил Белград со всею областию Рускою по сей стране Днепра» (3, с. 126—127). В T_1 иначе: Рюрик, «взя всю Рускую землю за Днепром» (4, с. 297).[78] Фактически в 1181 г. в Киеве возник дуумвират, и события в T_2 (Святослав «уступил») и T_1 (Рюрик «взя») описаны с точки зрения соправителей Святослава (T_2) и Рюрика (T_1). Дальнейшие события показывают, что под контроль и протекторат Рюрика перешла Переяславская земля, и переяславский князь стал прямым вассалом Рюрика. Так, в 1184 г. Рюрик посылал в поход вместо себя Владимира Переяславского, а Святослав — Игоря Северского. (В этом эпизоде и возникла ссора между молодыми князьями). Именно Переяславская земля была «по сей стране Днепра» для черниговца (T_2) и «за Днепром» для киевлянина (T_1).

Эти же ориентиры проявились и в повестях T_1 и T_2 о походе 1185 г. Для черниговского летописца было естественно предположить, что Игорь вышел в поход, «завидуя чести, полученной Святославом» (3, с. 134). Но, по мнению киевлянина, Игорь вышел в поход, «видя братию победивши половцы и честь прияша, поревновав има» (4, с. 302). Не упоминая Святослава, летописец, говоря о «братии», «има», имеет в виду обоих дуумвиров. И далее:

T_2	T_1
Половцы «прислали к Святославу купцов русских...» (3, с. 137).	Половцы «послаша к Святославу и другим князьям...» (4, с. 304).

В T_1 автор фиксирует внимание не только на Святославе, но и на других, имея в виду обоих дуумвиров и вассальных князей. Так мог писать киевлянин, заботящийся о политическом равновесии дуумвирата Святослава и Рюрика. Эта позиция летописца проведена последовательно во всей повести T_1.

---

[78] ПСРЛ, т. 2, стб. 624: Рюрик «взя всю Рускую землю».

T_2	T_1
«Владимир... второе послал ко Святославу просить о помощи» (3, с. 137).	«Володимир... посла ко Святославу и Рюрикови...» (4, с. 304—305).
Игорь «поехал в Киев ко Святославу и в Белград к Рюрику» (3, с. 139).	Игорь «еха к Киеву и Святослав велми обрадовася ему, також и Рюрик сват его» (4, с. 306).

Последний пример особенно убедителен. T_2 фиксирует политическое положение дуумвиров, существовавшее, возможно, в середине 80-х гг. XII в., когда Святослав был полновластным правителем в Киеве. Положение, которое отразилось в T_1, могло существовать уже позже — в конце 80-х—начале 90-х гг. Здесь рядом со Святославом именно в Киеве, не в Белгороде, назван и Рюрик.

В повести T_1 находим и другие датирующие элементы, в частности, прямые указания на родственные связи князя Игоря с Кончаком и Рюриком (4, с. 304, 306). Браки сыновей Игоря с дочерьми Рюрика и Кончака состоялись в начале октября 1188 г. В повести T_2 об этих родствах не упомянуто. Значит, она появилась раньше этого времени.

Новые черты появляются в T_1 и в образе князя Игоря. Вот как подана реакция великого князя Святослава, получившего весть о том, что северяне вышли в поход.

T_2	T_1
Святослав «не похвалил им того, что от него помочи не просили» (3, с. 136).	«...и не любо ему бысть, яко утаился от него» (4, с. 304).

Вполне очевидно, что в T_2 Святослав дружелюбен, готов помочь. В T_1 — это разгневанный монарх. А вот реакция Святослава после поражения Игоря:

T_2	T_1
«Вельми же сожалел паче всех о Игоре, братаниче своем, которого паче родного брата любил» (3, с. 136).	Святослав: «только ми жаль Игоря ныне более, неж прежде» (4, с. 304).

Повесть T_1 намекает на бывшее «прежде» зависимое положение князя Игоря, который «ходил в руке владимирского князя» Всеволода Юрьевича.[79] И Святослав дает очень осторожную, но в то время всем понятную оценку: «...только ми жаль Игоря ныне более, неж прежде».

Установление этого мотива в отношении Святослава Всеволодича к Игорю Северскому важно для определения хронологических рамок повести T_1. Политическое сближение Святослава

---

[79] *Приселков М.* «Слово о полку Игореве» как исторический источник. — Историк-марксист, 1938, кн. 6, с. 117.

и Игоря должно было стать переломным моментом в судьбах Северской земли. В 1190 г. Святослав «ожени внука своего Давида Ольговича Игоревною». И в это же время отмечается полное согласие между дуумвирами: Святослав и Рюрик «идоста на ловы», «и во любви пребыста и во весельи по вся дни».[80] В следующем 1191 г. князь Игорь возглавлял объединенные походы на половцев, включившись в единую систему обороны Русской земли. Повесть T_1 могла быть написана в 1188—1190 гг. (после браков Игоревичей с дочерьми Рюрика и Кончака до свадьбы Игоревны) и включена в великокняжескую киевскую летопись, находившуюся тогда под контролем Святослава Всеволодича. Возможно, это и была та «Повесть про 1185 год» галичанина, следы которой открыл в Ипатьевской летописи Б. А. Рыбаков.[81]

В 80—90-е гг. черниговская летопись оставалась под контролем Ярослава Всеволодича. Поэтому, отдавая должное Святославу, которому удалось половцев «в страх привести» (3, с. 136), полемизируя с переяславской повестью, T_2 все же ставит имя Ярослава Черниговского перед именем его старшего брата Святослава Киевского: Игорь «немедленно послал ко всем князьям, а паче к Ярославу и Святославу, объявить о себе и благодарить за учиненное охранение земель его» (3, с. 139). Здесь нарушено старейшинство — родовое и политическое. Только в пределах Чернигово-Северской земли князь Игорь держал ответ в первую очередь перед черниговским князем.

Утверждая непрочное единство Ольговичей, черниговский летописец попытался найти объективные причины военной неудачи Игоря Святославича, которые не причинили бы ущерба его полководческой репутации. Такой находкой стало солнечное затмение 1 мая 1185 г. Автор переяславской повести не связывает поражение Ольговичей с затмением. Более того, в Лаврентьевской летописи затмение вообще не считается плохим предзнаменованием, так как затем идет сообщение о рождении сына у суздальского князя.[82]

Похоже, что факт солнечного затмения 1185 г. был впервые представлен как аргумент только в черниговской повести. Автор T_2 по-своему логичен: если северяне потерпели поражение после затмения, то меньше всего виноват в этом князь Игорь, так как воины были морально подавлены. Данное князем истолкование затмения, которое, мол, «видимо есть во всех землях и народах» (3, с. 134), направлено на то, чтобы успокоить воинов, продиктовано важностью момента.[83] В T_1 затмение не влияет суще-

---

[80] ПСРЛ, т. 2, стб. 668.

[81] См.: *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве», с. 159.

[82] ПСРЛ, т. 1, стб. 396—397.

[83] По Ипатьевской летописи, затмение, «провестившее» взятие Иерусалима в 1187 г. сарацинами, тоже «бысть по всеи землѣ» (ПСРЛ, т. 2, стб. 655).

ственно на решение Игоря и моральное состояние его войск: «Что устроимы, переменити никакоже можемо» (4, с. 302). В повести *К* оно используется уже против Игоря, который, увидев затмение, говорит: «...а нам что створить богъ или на добро или на паше зло, а то же намъ видити».[84] Это был вызов, за который князь Игорь в конце концов и был наказан.

Во всех трех источниках — T_2, T_1 и *К* происходит как бы постепенное затухание образа князя Игоря, дегероизация его. Как истинный рыцарь повел себя князь Игорь на поле боя в T_2. Князья могли избежать плена, но Игорь сказал: «Я не могу разлучиться, но со всеми обсче добро или зло мне приключится» (3, с. 136). В T_1 это намерение приписано всем князьям (4, с. 303). А в повести *К* подобную мысль высказывают «вси».[85] В киевской повести князь Игорь, сломленный горечью поражения, опустошенный покаянием, покоряется воле «провидения». Покаяние князя Игоря в повести *К* воспринимается как главное условие его нового политического союза с Рюриком Ростиславичем, великим князем, в 1198 г.

Таким образом, в повестях T_2, T_1 и *К* наблюдается определенная эволюция в оценке затмения и образа князя Игоря, которая объясняется динамикой межземельной и междинастической борьбы в конце XII в., а не «традиционными» представлениями о «солнечном» роке Ольговичей.[86]

В 1185 г. солнечное затмение не было использовано ни для оправдания, ни для осуждения князя Игоря. Факт сам по себе примечательный, если учесть, что переяславец использовал любые средства для обвинения северских князей. Почему же он умолчал о затмении? Здесь загадка, решение которой находим в той же черниговской повести: северяне потерпели поражение «во вторую неделю Пасхи» (3, с. 136). Для расшифровки этого сообщения необходимо знать точную дату пасхи. В 1185 г. пасха была 21 апреля.[87] Определяем по церковному календарю: вторая неделя (воскресенье) второй седмицы («неделя 2-я по Пасхе») была 28 апреля. Это и был день поражения северян, которые были разбиты в Половецкой степи еще до солнечного затмения.

---

[84] Там же, стб. 638.

[85] Там же, стб. 641.

[86] А. Н. Робинсон предположил, что в XI—XII вв. существовали представления о роковой связи между солнечными затмениями (некоторые из них вычислены математически в XX в.) и смертью князей рода Ольговичей (см.: *Робинсон А. Н.* Солнечная символика в «Слове о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве»: Памятники литературы и искусства XI—XVII вв. М., 1978, с. 49). Если иметь в виду техническую сторону дела, то такую «хронологию» можно составить для любого из известных княжеских родов — потомков Изяслава Ярославича, Мономаха, галицких Ростиславичей и др. А что касается представлений XI—XII вв., то лишь немногие из князей «удостоены» солнечного затмения в летописях: в параллели «солнце—князь» проступала мера значимости князя (см.: *Яценко Б. І.* Князь Ігор у «Слові о полку Ігоревім». — В кн.: Київська Русь: Культура, традиції. Киев, 1982, с. 53—56).

[87] ПСРЛ, т. 2, стб. 637.

Только через два—три года черниговец решился использовать затмение для реабилитации князя Игоря. А для обвинения северских князей солнечное затмение было использовано через тринадцать лет после похода, в киевской повести Рюрика Ростиславича (1198 г.).

Автор «Слова» возрождает прежний образ Игоря — полководца и вождя, используя для этой цели прежде всего солнечное затмение. Вполне возможно, что автор «Слова» понял затмение в черниговской повести как литературный прием, каким оно в действительности и было. И если автор черниговской повести, вопреки реальному факту, ставит затмение перед боем, то автор «Слова» идет еще дальше — он ставит затмение в своем произведении перед походом. Затмение стало у него поэтическим приемом, с помощью которого полностью оправдывается князь Игорь и его поход. Согласно воззрениям XII в., затмение было предвестником возможной беды, которая не была неминуемой. Поэтому князь Игорь в «Слове» принимает решение выйти навстречу опасности и отвести беду от родной земли даже ценой собственной жизни.[88]

А вот еще несколько фактов T_1 и T_2, которые находят свое отражение в «Слове». В рассказе T_2 многие воины роптали, что князь Игорь «завел их в пустыню погубить» (3, с. 135). И в «Слове» автор, характеризуя военную ситуацию после поражения Игоря, заключает: «...уже пустыни силу прикрыла».[89] Такое совпадение по форме и по смыслу (причем, в «Слове» это понятие дано в развитии) не может быть случайным.

В T_2 Всеволод высказывает свои братские чувства к Игорю: «...лучше мне умереть, нежели брата в плене оставить» (3, с. 136). Подобные слова произносит и князь Игорь в «Слове о полку Игореве»: «Луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти».[90] Здесь понятие «плена» расширяется до масштабов той сложной военно-политической ситуации, в которой оказалась Северщина в середине 80-х гг.

Только в T_2 Святослав Киевский говорит, что ему бог помог половцев «победить и в страх привести» (3, с. 136). Автор «Слова», рассказывая о победоносном походе 1184 г., тоже замечает, что Святослав половцев «грозою бяшеть притрепеталъ».[91]

В рассказах T_1 и T_2 упоминается какое-то село святого Михаила, в котором Игорь Святославич, вернувшись из плена, решил заночевать. Похоже, что это вызвало у автора «Слова» воспоминание о мятежном деде Игоря — князе Олеге-Михаиле Святославиче, который вот так же возвращался на родную землю из византийского плена в 1083 г. Автор «Слова» посчитал уместным напомнить слова Бояна, сказанные любимому князю:

---

[88] *Яценко Б. И.* Северские князья в «Слове о полку Игореве». — Русская литература, 1981, № 3, с. 108—109.

[89] Ироическая пѣснь о походѣ на половцовъ..., с. 19.

[90] Там же, с. 5.

[91] Там же, с. 21.

«...тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣлу кромѣ головы», т. е. тяжело Чернигову без Олега. И автор подводит к главному выводу всего произведения: так и «Руской земли безъ Игоря».[92]

В T_1 и T_2 выведен прекрасный образ княгини Игоревой, любящей женщины и супруги, которая мчится на конях к своему любимому, увлекая за собой жителей Новгорода. Именно она создает в повести T_2 атмосферу всеобщей радости и торжества. Автор «Слова» иначе подошел к решению образа княгини. Ярославна в своем плаче как бы совершает магическое действие и силой своей любви спасает Игоря и выводит его из плена.

Наконец, T_2 сообщает, что по случаю возвращения Игоря «радовалися же немало и во всей Руской земле...» (3, с. 139). Тот же мотив и в «Слове о полку Игореве», что полностью отвечает политической концепции автора в 1198 г., когда Игорь Святославич стал великим черниговским князем: «Солнце свѣтится на небесѣ. Игорь князь въ Руской земли... Страны ради, гради весели».[93]

Особое внимание привлекает совпадение между T_2 и «Словом» в имени половецкого князя Гзи. В большинстве случаев В. Н. Татищев исправил в T_2 имя «Гза» на «Кза» (так в T_1, Ипат.). Но в одном месте, не тронутом редакционными исправлениями, имя «Гзя» осталось: «Гзя о том уведав, с великою злобою и горестию возвратился» (3, с. 138). Значение этого факта трудно переоценить. Ведь и в «Слове о полку Игореве» та же транслитерация имени половецкого князя: «Гзакъ бѣжить сѣрымь влъкомъ»;[94] «Ѣздить Гзакъ съ Кончакомъ»; «Рече Кончакъ ко Гзѣ».[95] Определенно летописный источник повести T_2 (именно письменный, так как в устном источнике имена «Кза» и «Гзя» в произношении сливаются) был известен и автору «Слова о полку Игореве».

Подведем итоги. Рабочая схема поиска черниговской повести о походе 1185 г. основывается на научных выводах Д. С. Лихачева, который установил первичность переяславской повести по отношению к черниговской и киевской повестям.

Анализ фактического материала известных повестей о походе 1185 г. позволил установить, что наибольшее количество оригинальных фактов имеется в Густинской летописи, «Кройнике о Руси» Феодосия Софоновича и особенно во второй редакции «Истории Российской» В. Н. Татищева (T_2), которая сохраняет черты протографа этих памятников. Именно в T_2, как и в первой редакции «Истории» В. Н. Татищева (T_1), находим общие места со «Словом о полку Игореве». Эти же факты могли быть в черниговской повести.

Текстологический анализ T_1 и T_2 в сопоставлении с летописями Ипатьевского цикла подтверждает предварительные вы-

---

92 Там же, с. 44.
93 Там же, с. 44—46.
94 Там же, с. 11.
95 Там же, с. 43.

воды о древности летописной основы T_2. В T_1 проявляются хлебниковско-ермолаевские черты (они же характеризуют рассказы, которые, по словам В. Н. Татищева, обретаются только в Голицынской летописи); в T_2 проявляются хлебниковско-ермолаевско-ипатьевские черты, т. е. черты протографа летописей Ипатьевского цикла. Таким источником могла быть Раскольничья летопись.

Анализ T_1 и T_2 с точки зрения идейного содержания подтверждает тот же факт — в T_1 и T_2 разные летописные основы, разные географические ориентиры, и они написаны с позиций Святослава Всеволодича черниговцем (T_2) и дуумвирата Святослава и Рюрика киевлянином (T_1). Поэтому мы можем говорить о двух разных повестях T_1 и T_2 о походе северян в 1185 г. Черниговская повесть о походе Игоря Святославича была составлена не позже 1188 г. на основе переяславской повести и отразилась сначала в киевской летописи в 1190 г. (T_1), а позже в киевской летописи в 1198 г. (*К*). В основу *К* были положены как T_1, так и черниговская повесть в редакции Игоря Святославича.

Редакционные дополнения Рюрика Ростиславича в повести T_2 (до 1215 г.) были незначительны, поскольку он, видимо, не претендовал на особую роль в событиях 1185 г. Повесть почти сохранила свой первоначальный вид. Исключением могут быть замечания о «тихости» Игоря, о половецких приятелях Ярослава, о княгине Всеволодовой, о детях Лавра. Эти дополнения появились в повести в XIII в.





Г. Ю. Филипповский

МОТИВ ДВИЖЕНИЯ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И ЛИТЕРАТУРЕ РУСИ XII в.

Давно замечено, при всей своей монументальности «Слово о полку Игореве» буквально пронизано движением.[1] Мчатся всадники, летят птицы, рыщут звери, все переполнено звуками и отзвуками бурлящей жизни XII в. и прошедших времен. Все сферы бытия: пространство и время, земля, воздух и вода — все в «Слове» вместе с героями динамично связано в единый поэтический мир.[2]

Подвижную манеру своего рассказа о походе князя Игоря Святославича на половцев и исторических судьбах Русской земли автор «Слова» возводит к творческому авторитету дружинного певца XI в. Бояна,[3] который «растекашется мыслию по древу, серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы».[4] Чаще других встречаются в «Слове» традиционно символизирующие быстроту передвижения образы волка[5] («куряни сведоми къмети... скачють, акы серыи влъци въ поле, ищучи себе чти, а князю славе») и соколиной охоты[6] («пущашеть 10 соколовь на

---

[1] См.: *Лихачев Д. С.* 1) «Слово о полку Игореве» и особенности русской средневековой литературы. — В кн.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1985, с. 32—33; 2) «Слово о полку Игореве» и эстетические представления его времени. — Там же, с. 51—55.

[2] *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. М., 1979. Главы: «Поэтика художественного времени»; «Поэтика художественного пространства», с. 209—356.

[3] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972, с. 410—414; *Шарыпкин Д. М.* Боян в «Слове о полку Игореве» и поэзия скальдов. — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 14—22.

[4] Текст «Слова о полку Игореве» цит. по: Слово о полку Игореве. Л., 1967 (Б-ка поэта. Большая сер.).

[5] См.: *Сапунов Б. В.* Всеслав Полоцкий в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1961, т. 17, с. 75—84.

[6] См.: *Лихачев Д. С.* Великое наследие. М., 1975, с. 183—184; *Дмитриев Л. А.* Два замечания к тексту «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 287—290. См. также: *Ржига В. Ф.* Из очерков по «Слову о полку Игореве». — Докл. и сообщ. филол. ф-та МГУ им. М. В. Ломоносова, 1947, вып. 3, с. 71—75.

стадо лебедей, который дотечаше, та преди песнь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю предъ пълкы Касожьскыми...»). По сути дела нет ни одного эпизода в «Слове», связанного ли с образами природы или параллельно с нею действующих героев похода 1185 г., других русских князей XI—XII вв. — Олега Святославича (Гориславича), Святослава Всеволодовича Киевского, Всеслава Полоцкого, Евфросинии Ярославны, где бы отсутствовал ярко выраженный пафос активности, деятельности, движения, бесспорно идущий в значительной степени от фольклора, эпоса.

Считая, что в своем ощущении времени «Слово» фольклорно,[7] Д. С. Лихачев вместе с тем отождествляет дистанцию во времени с исторической, вскрывает исторические корни мотива движения в «Слове о полку Игореве»: «Там, где в искусстве динамизм, там обычно вступает в силу и историческая тема, появляется обостренный интерес к истории. Движение в пространстве тесно связано законами стиля с движением во времени».[8]

Уже в начале «Слова» задано столь характерное для него изображение движения не только в пространстве, но и во времени, в истории («летая умомъ под облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы»).[9] Однако не только эпические традиции Бояна — пером автора «Слова» водила сама жизнь, эпоха XII в., когда он жил и творил («по былинамь сего времени»). Она подсказала ему тот ритм атаки, под который невозможно подделаться, не испытав его («съ зарания въ пятъкъ потопташа поганыя плъкы Половецкыя и, рассушясь стрелами по полю, помчаша красныя девкы Половецкыя...»). Эпоха XII в. дала автору «Слова» исторические имена древнерусских князей XI—XII вв., указала и подлинного героя «Слова» — образ Русской земли, сквозь просторы и века истории которой проносит читателя в мгновение ока «панорамное зрение» автора.[10]

Мотив движения в «Слове» является не только элементом поэтики, выступающим как момент связи пространства и времени в поэтической структуре произведения. Влиявший на художественное своеобразие столь выдающегося памятника, как «Слово о полку Игореве», мотив движения не мог не выражать коренных, глубинных особенностей исторической эпохи XII в.,

---

[7] *Лихачев Д. С.* Представления о времени в «Слове». — В кн.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени, с. 260.

[8] *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и эстетические представления его времени, с. 55.

[9] См.: *Адрианова-Перетц В. П.* «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII вв. Л., 1968, с. 18—19.

[10] Термин Д. С. Лихачева. См.: «Слово о полку Игореве» и эстетические представления его времени, с. 40—42. О теме Русской земли: *Бугославский С. А.* Русская земля в литературе Киевской Руси XI—XIII вв. — Учен. зап. МГУ им. М. В. Ломоносова, 1946. Труды кафедры русской литературы, вып. 118, кн. 2, с. 3—26.

а также ведущих тенденций литературного развития своего времени.

Русь XII в. как историческая эпоха характеризуется прежде всего неуклонным развитием феодальных отношений и расцветом русской культуры.[11] Строятся новые города, развиваются и старые городские центры, возникают новые княжества, многие из которых, например Владимиро-Суздальское, претендуют на ведущую роль в государственной жизни Руси.[12] Широкое градостроительство, в частности храмовое зодчество, развернулось по всей Русской земле, где происходит утверждение не только пришлых, но и своеземных политических и художественных вкусов и понятий. То, что принято называть периодом феодальной раздробленности XII в., было на деле временем стремительного развития Русской земли в целом и каждого ее княжества, каждого города в отдельности.[13] Сам темп развития русских княжеств, старых и молодых, самоутверждающихся, ставил их подчас в положение соперничающих или даже враждующих друг с другом.[14] Призывая князей к единению, автор «Слова» не мог не быть сыном своего беспокойного века, не отразить его динамику в виде сквозного текстового мотива движения.

В древней русской литературе XII век открывается монументальным рассказом «Повести временных лет» о подвигах отцов и дедов. Замечательное «Поучение» князя Владимира Мономаха наряду с морализирующей частью содержит рассказ-летопись о походах князя как за пределы, так и внутри русских земель. Это исповедь воина о его подвигах во время бесконечных верховых рейдов, переходов, часто из одного конца Русской земли в другой: «А и-Щернигова до Кыева нестишьды (т. е. сто раз. — *Г. Ф.*) ездих ко отцю, днемъ есмъ переездилъ до вечерни. А всех путии 80 и 3 великих, а прока не испомню менших».[15]

Динамика пространства и времени в «Поучении» Мономаха вполне сопоставима с мотивом движения в «Слове о полку Игореве», составляет ему блестящую параллель. Образ Владимира Мономаха — воина перекликается в свою очередь с динамичным, близким к героико-эпическому образом князя Святослава Игоревича в «Повести временных лет»: «...и легъко ходя, аки пардусъ, войны многи творяше. Ходя возъ по собе не возяше, ...ни шатра имяше, но подъкладъ постлавъ и седло в головахъ;

---

[11] *Рыбаков Б. А.* Киевская Русь и древнерусские княжества XII—XIII вв. М., 1982, с. 470; *Воронин Н. Н.* «Слово о полку Игореве» и русское искусство XII—XIII вв. — В кн.: Слово о полку Игореве. М.; Л., 1950, с. 324—341 (сер. «Лит. памятники»); *Лихачев Д. С.* 1) Литература второй четверти XII—первой четверти XIII века. — В кн.: История русской литературы: В 3-х т. М.; Л., 1958, т. 1, с. 87—93; 2) Великое наследие, с. 138.

[12] *Рыбаков Б. А.* Киевская Русь и древнерусские княжества..., с. 476.

[13] Там же, с. 470—472.

[14] *Греков Б. Д.* Русь времен «Слова о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве. Л., 1945, с. 18—19.

[15] Памятники литературы древней Руси XI—начала XII века / Сост. и ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. М., 1978, с. 406.

тако же и прочии вой его вси бяху. И посылаше къ странамъ, глаголя: Хочю на вы ити».[16] Подобный же пафос героической активности звучит в характеристике князя Романа Галицкого, которая читается под 1201 г. в Галицко-Волынской летописи: «...устремил бо ся бяше на поганыи, яко и левъ, сердитъ же бысть, яко и рысь, и губяше, яко и коркодилъ; и прехожаше землю ихъ, яко и орелъ, храборъ бо бе, яко и туръ. Ревноваше бо деду своему Мономаху, погубившему поганыя измаилтяны, рекомыя половцы... Тогда Володимерь и Мономах пилъ золотом шоломомъ Донъ; и приемшю землю ихъ всю и загнавшю окаянныя агаряны».[17]

В наиболее ярком виде героическая динамика в образе князя проявилась в описаниях подвигов князя Андрея Юрьевича Боголюбского 40-х гг. XII в. Князь Андрей Юрьевич, как он выступает в южнорусском летописании 1140—1150-х гг., наделен подчеркнуто динамичной характеристикой. Участвуя вместе с братьями в междоусобных кампаниях отца Юрия Долгорукого, князь Андрей Юрьевич выступает как храбрый, бесстрашный рыцарь, устремляющийся на врага, презирая опасность.[18]

Как впоследствии и в «Слове о полку Игореве», автор летописных статей о подвигах Андрея Юрьевича явно любуется смелостью своего героя, его безоглядной отвагой. Так, князь Андрей под стенами Луцка один, оторвавшись от своей дружины, неистово преследует противника до самых стен города, где едва не погибает, окруженный врагами. Его выручает верный боевой конь. После боя князь устраивает своему коню, погибшему от ран, торжественные похороны по древнему дружинному обычаю в срубе на высоком берегу Стрыя.[19]

Образ князя Андрея и его дерзость напоминают героя древнего эпоса. Идеал героического поведения был популярен в XII в. в среде как русских, так и половецких дружин, где он наверняка был освящен древними эпическими традициями.[20] Не случайно летопись подчеркивает связь князя Андрея Юрьевича, половца по материнской линии, с половецкими отрядами. В частности, в сражении под Киевом князя Андрея выручил половецкий воин

---

[16] Повесть временных лет. — В кн.: Памятники литературы древней Руси XI—начала XII века, с. 78.

[17] Галицко-Волынская летопись. — В кн.: Памятники литературы древней Руси. XIII век / Сост. и ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. М., 1981, с. 236.

[18] ПСРЛ. М., 1962, т. 1, стб. 323—325, 332—334, 338—339. См.: *Воронин Н. Н.* Существовал ли «Летописец Андрея Боголюбского»? — В кн.: Памятники истории и культуры. Ярославль, 1976, вып. 1, с. 28—43.

[19] См.: *Воронин Н. Н.* Погребение коня в срубе в 1149 г. — В кн.: Краткие сообщения Института археологии АН СССР. М., 1971, вып. 125, с. 23—26.

[20] Ср. текст из Киевской летописи под 1151 г.: «Ту же и Савенча Бонякова дикаго половцина убиша, иже бяшеть рече: „Хощю сечи Золотая ворота (Киева. — *Г. Ф.*) якожь и отець мои“». П. В. Голубовский связывал его с половецкими эпическими традициями. См.: *Робинсон А. Н.* Литература древней Руси в литературном процессе средневековья XI—XIII вв. М., 1980, с. 260—261.

из его отряда, догнавший князя и сумевший на полном скаку завернуть его боевого коня.[21]

Вообще мотив, который исследователи средневековой литературы и эпоса обозначают термином quest,[22] характерен не только для «Слова о полку Игореве», но и в целом для литературы древней Руси XII в. Он бесспорно тесно связан с обсуждаемым мотивом движения, также имеет фольклорное происхождение. Речь идет о подвигах героя раннефеодального эпоса, богатырской сказки. В своем движении он побеждает врагов или чудовищ, преодолевает границу двух миров, добывает себе невесту.[23]

Именно такого типа мотив вводит автор «Слова о полку Игореве» в параллель сюжету об Игоревом походе рассказом о ночных походах Всеслава—героя—волка. Эпический мотив добывания Киева встречается не только в «Слове». Сюжет вида quest отразило одно из ранних произведений былинного эпоса — «Илья Муромец и Соловей-разбойник»,[24] где эпический герой в своем походе на Киев освобождает от чудовищ прямоезжую дорогу, идущую от Мурома через Чернигов к Киеву. Основной пафос этой былины максимально близок тому мотиву движения, который выступает как характерная черта литературы Руси XII в. Эпически звучит фольклорный по тону плач-прославление, заключающий «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» — произведение конца XII в.: «Уже ли Кыеву поеха, господине, в ту церковь, теми Золотыми вороты, их же делать посталъ бяше тои церкви на велицемь дворе на Ярославле, а река: Хочю создати церковь таку же, ака же ворота си золота — да будеть память всему отечеству моему».[25] Центральной в этом плаче является также тема пути.

Одной из важных черт исторической динамики Руси XII в. явился перенос политического центра с киевского Юга на владимирский Север. Исторически этот этапный процесс отразился, например, в переходе (quest) князя Андрея Юрьевича из Вышгорода (Киева) в Боголюбово (Владимир) в 1155 г., а в плане литературного развития — в «Сказании о чудесах Владимирской иконы божьей матери».[26] Основу «Сказания» составил рассказ о передвижении чтимой иконы богоматери из вышгородского монастыря во Владимир на Клязьме.

---

[21] ПСРЛ, т. 1, стб. 332—334.

[22] См.: *Мелетинский Е. М.* Поэтика мифа. М., 1976, с. 229.

[23] См.: *Мелетинский Е. М.* Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники. М., 1963, с. 16—19.

[24] В. П. Аникин относит эту былину к Владимиро-Суздальскому периоду формирования русского героического эпоса (XII—начало XIII в.). См.: *Аникин В. П., Круглов Ю. Г.* Русское народное поэтическое творчество. М., 1983, с. 218—220.

[25] Памятники литературы древней Руси. XII век / Сост. и ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. М., 1980, с. 334—336.

[26] См.: *Ключевский В. О.* Сказание о чудесах Владимирской иконы божьей матери. М., 1878.

Динамика эпохи XII в. на Руси времени Андрея Юрьевича выразилась не только в активном княжеском строительстве 1158—1165 гг., но и в многочисленных военных походах на Волжскую Болгарию, на Киев, на Новгород, в связи с которыми были созданы и соответствующие произведения — «Сказание о победе над волжскими болгарами 1164 года и празднике 1 августа»,[27] летописные рассказы о походе войск Андрея Юрьевича на Новгород и о победе новгородцев над суздальцами. Динамичные черты исторической эпохи Руси XII в. характерны не только для рассказов о военных походах и победах, они проявляются и в других произведениях, таких, например, как «Хождения» игумена Даниила начала XII в.,[28] Добрыни Новгородца конца XII в.[29]

Своеобразие многих произведений литературы древней Руси XII в., выразившееся в виде мотива движения, тесно связало их с динамичностью эпохи. Вряд ли правомерно считать, что история и культура Руси XII в., а также представления о них человека XII в. были лишены развития, динамики, были статичны.[30] Последнее было присуще средневековому религиозному мировоззрению, и не только на Руси, но и в Западной Европе. Однако нельзя полностью отождествлять светское мировосприятие, например, народной массы, а также феодальной княжеской, дружинной среды, с ортодоксальным христианско-каноническим мировоззрением.[31] В качестве примера можно привести весьма драматические отношения с византийской церковной иерархией, ее ставленниками на Руси таких князей XII в., как Изяслав Мстиславич, Андрей Юрьевич Боголюбский. Оба этих князя высту-

---

[27] Текст «Сказания о победе...» издан в кн.: *Ключевский В. О.* Сказание о чудесах..., с. 22—28.

[28] Памятники литературы древней Руси. XII век, с. 25—115.

[29] См.: Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце XII века. СПб., 1872.

[30] См.: *Гуревич А. Я.* 1) Представления о времени в средневековой Европе. — В кн.: История и психология. М., 1970, с. 182, 189; 2) Категории средневековой культуры. М., 1972.

[31] В своей более поздней работе А. Я. Гуревич обратился к исследованию народного мировоззрения западноевропейского Средневековья. См.: *Гуревич А. Я.* Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. Динамичный аспект культуры средневековой Европы (в особенности XII в.) раскрыл в своих работах В. П. Даркевич: 1) Путями средневековых мастеров. М., 1972; 2) Аргонавты средневековья. М., 1976. Проблема Ренессанса XII в. была поставлена в 1927 г. Хаскинсом (*Haskins Ch. H.* The Renaissance of the 12th c. Cambridge, 1927). Характерно актуальное сейчас высказывание А. Д. Михайлова: «XII столетие не было, конечно, „революционным“ или даже просто „переломным“. Но убыстрение культурного развития в этот век неоспоримо» (разрядка моя. — Г. Ф.). См.: Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М., 1984, с. 206. Ср. точку зрения Эвы Сэнфорд, которая рассматривала XII в. как «очень динамичный переход между двумя периодами средневековой истории»: *Sanford Eva M.* The twelfth century — Renaissance or Protorenaissance? — Speculum, 1951, v. 26, p. 635—641. См. также: *Горнунг Б. В.* Существовал ли «Ренессанс XII века»? — В кн.: Историко-филологические исследования. (К 75-летию акад. Н. И. Конрада). М., 1967, с. 272—282.

пали за самостоятельное идеологическое развитие Руси, неподконтрольное канонической традиции византийской иерархии. Ставленники обоих князей — митрополит Климент Смолятич и епископ Феодор Владимирский были объявлены византийской церковью еретиками, их сочинения уничтожены, а епископ Феодор был казнен в Киеве — явление, неслыханное для Руси XI—XII вв. Не исключено, что убийство князя Андрея Юрьевича, виднейшего проводника политики динамичного самостоятельного развития Руси, произошло не без согласия и подстрекательства реакционных кругов провизантийского толка.

Не случаен тот факт, что мотив движения присущ произведениям литературы Руси не XI в. — времени введения византийской модели христианства на Руси, а именно XII в., когда государственность и идеология, культура Руси интенсивно развиваются, принимая в значительной степени национально-самобытные формы и качественное своеобразие. Они-то и отразились более всего в таком художественном памятнике, как «Слово о полку Игореве». Оно явилось венцом литературного развития Руси XII в., в полной мере отразившим динамичные черты эпохи, проявившиеся и в других уже упоминавшихся литературных памятниках. Мотив движения, характерный в целом для древнерусской литературы XII в., связывающий ее с важнейшими чертами исторической эпохи, не только не изолирует «Слово о полку Игореве» как единичное художественное явление, напротив, подчеркивает его органическую связь с временем и литературной средой, с самобытными историческими и художественными традициями домонгольской Руси.





Л. В. Соколова

ЗАЧИН В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Темой зачина в «Слове о полку Игореве» являются рассуждения автора о том, «как повести речь, какого принципа изложения придерживаться».[1] Такой зачин обычен в произведениях словесного искусства византийской школы,[2] в том числе, как показали исследователи, и в произведениях, созданных на Руси.[3] Какова же основная мысль этого зачина? Принято считать, что автор «Слова» полемизирует с Бояном, противопоставляет его песням свое произведение, но на каком основании, в чем заключается противопоставление — этот вопрос пока не решен, хотя уже имеет свою историю, подробно изложенную В. Г. Смолицким.[4]

Противопоставление «Слова о полку Игореве» песням Бояна выражено фразой: «Начати же ся тъи пѣсни по былинамь сего времени, а не по замышлению Бояню».[5] Правильное истолкование ее зависит от того, как будут поняты слова «замышление» и «по былинам сего времени».

Слово «замышление» в Словаре-справочнике «Слова о полку Игореве» толкуется как «замысел», «намерение», но, исходя из контекста, исследователи обычно понимают его как противопоставление «былинам сего времени» (правде, действительности) — т. е. как 1) вымысел, фантазию Бояна или 2) его возвышенную, пышную, выспреннюю манеру.[6] Такое понимание слова «замыш-

---

[1] *Еремин И. П.* «Слово о полку Игореве» как памятник политического красноречия. — В кн.: Слово о полку Игореве: Сборник исследований и статей. М.; Л., 1950, с. 100.

[2] *Миллер В.* Взгляд на «Слово о полку Игореве». М., 1877, с. 62.

[3] *Назаревский А. А.* О жанровой природе «Слова о полку Игореве». — Наукові записки, т. 14, вип. 1. Київ, 1955, с. 113—144. (Збірник Філологічного факультету, № 7); *Лихачев Д. С.* Слово о походе Игоря Святославича. — В кн.: Слово о полку Игореве. Л., 1967, с. 20—21 (Б-ка поэта. Больш. сер.).

[4] *Смолицкий В. Г.* Вступление в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1956, т. 12, с. 5—19.

[5] Здесь и далее текст цитируется по кн.: Слово о полку Игореве. 2-е изд. Л., 1967 (Б-ка поэта. Больш. сер.).

[6] Историю данного вопроса см. в статье В. Г. Смолицкого.

ление» обычно подкрепляют далее следующей фразой: «Боянъ бо вѣщии, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется мыслию (по нашему мнению — мысию. См. далее. — *Л. С.*) по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы». Однако данная фраза не дает основания как для первого, так и для второго толкования. Формула тройственного превращения выражает, как показал Д. М. Шарыпкин,[7] языческое представление о поэтическом творчестве как о волховании, сверхъестественном знании, и о певце как о человеке, обладающем сверхъестественной силой, волшебнике, колдуне, способном превращаться («обращаться») в различных животных.

В «Слове» говорится о «превращении» Бояна в волка, орла и, вероятно, мысь (белку). Именно эти животные названы не случайно. Согласно индоевропейскому мифу о мироздании, небо, земля и соединяющее их древо жизни — это три яруса мироздания. Эмблема высшей сферы — орел, низшей — волк, эмблема мирового древа жизни — белка (мысь).[8]

Таким образом, превращаясь в мифические существа — белку, волка, орла (символы трех ярусов мироздания), вещий (т. е. обладающий сверхъестественной силой) Боян как бы становится всеобъемлющим, что и является причиной его необычайной мудрости, всеведения, его дара предвидения, предсказания.

Какова смысловая роль данной фразы в «Слове»? С какой целью приводится автором «Слова» это языческое представление о певце? Вероятно, данная фраза призвана образно охарактеризовать Бояна как певца я з ы ч е с к о г о, песни которого по ряду причин (речь о них далее) не могут удовлетворить автора «Слова».

---

[7] *Шарыпкин Д. М.* Боян в «Слове о полку Игореве» и поэзия скальдов. — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 14—22.

[8] Говоря об эмблемах трех ярусов мироздания, Д. М. Шарыпкин написал: «Эмблема высшей сферы — орел, низшей — волк. Мировое древо (как и ветер) — эмблема промежуточного яруса между небом и землей. Оно есть символ жизни, безопасности и благополучия, изобилия и счастья». Однако буквально в предыдущем предложении сообщил, что три яруса мироздания, согласно индоевропейскому мифу, — это древо, земля и небо. Таким образом, мировое древо — средний ярус мироздания, а не его эмблема. Далее, на с. 18, Д. М. Шарыпкин приводит выдержку из одной мифологической песни «Старшей Эдды», где сказано: «Рататоск белка резво снует по ясеню Иггдрасиль (в скандинавской мифологии — древо жизни. — *Л. С.*), все речи орла спешит отнести она Нидхеггу (т. е. дракону, заменившему в скандинавской мифологии волка. — *Л. С.*) вниз». Думается, что раз мировое древо, согласно мифу, было одним из ярусов мироздания, а белка, снующая по мировому древу, упоминается в одном смысловом ряду с орлом и драконом (волком), то, видимо, белка и была эмблемой промежуточного, среднего яруса мироздания. Подтверждается это и тем, что в этом случае эмблемами трех ярусов являются животные, причем дракон (волк) и орел переговариваются при посредстве белки — эмблемы древа жизни, соединяющего верхний и нижний ярусы мироздания. Близок к такому пониманию и сам Д. М. Шарыпкин. На с. 20 он пишет: «Что же касается белки, то она воспринималась, очевидно, как один из а к с е с с у а р о в (разрядка моя. — *Л. С.*) мирового древа, — так же, как и его ветви или корни».

Интересно, что, приведя языческое представление о певце как сверхъестественном существе, оборотне, автор «Слова» далее опровергает его. Свою точку зрения на певца он выражает фразой, которая явно перекликается с рассмотренной: «О Бояне, соловию стараго времени! Абы ты сиа плъкы ущекоталъ, скача, славию, по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы...».

Нетрудно заметить, что суть творческого процесса автор «Слова» понимает иначе. Сила Бояна (как и всех остальных певцов) не в сверхъестественной сущности, — считает автор «Слова», — а в их таланте, умении петь красиво и свободно (сравнение с соловьем, скачущим по поэтическому, «мыслену» древу. Соловей заменяет здесь мысь (белку) первой фразы, поскольку древо, здесь упомянутое, — это уже не древо жизни, а древо поэзии[9]); в их мудрости, уме, широте мысли (ср. фразу: «летая (подобно орлу. — *Л. С.*) умомъ подъ облакы»); в их знании истории своего народа (об этом говорит фраза «свивая славы оба полы сего времени, рища (мыслию. — *Л. С.*) въ тропу Трояню чресъ поля на горы»). Итак, вторая фраза опровергает первую: не перевоплотившись в мысь (белку), скачет певец по мировому древу, а мысль поэта-соловья скачет по «мыслену», поэтическому древу в поисках нужных слов, выражений, образов; не орлом летает певец в поднебесье, а умом летает «под облакы», подобно орлу; не волком рыщет певец по земным тропам, а мысль его устремляется (рыщет!) в историческое прошлое русского народа для того, чтобы, оглядываясь на прошлое, лучше понять настоящее.

Итак, фраза «Боянъ бо вѣщии, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется мысию по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы» не дает основания понимать под «замышлением» Бояна его буйную фантазию, вымысел или его «выспреннюю» манеру.

Что же в таком случае следует понимать под «замышлениями» Бояна?

Решить этот вопрос помогает, на мой взгляд, то место в «Слове о полку Игореве», где автор рассуждает о том, как бы Боян спел песнь Игорю Святославичу. Из этих предположений ясно, что Боян как певец-язычник спел бы нечто однозначное: либо хвалу, либо хулу, в зависимости от своего замысла, «замышления».

Судя по материалу, приведенному Д. М. Шарыпкиным,[10] языческие певцы пели три песни:[11] славу, карание и, добавим, плач

---

[9] Об образе «древо поэтическое, древо поэзии, древо песен» в поэзии скальдов см.: *Ржига В. Ф.* «Мысленное древо» в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Сборник статей к 40-летию ученой деятельности акад. А. С. Орлова. Л., 1934, с. 109—112.

[10] *Шарыпкин Д. М.* Боян в «Слове о полку Игореве» и поэзия скальдов, с. 17—18.

[11] Там же, с. 18.

(«желение»).[12] Причем они не просто пели, а совершали обряд словесной магии, имевший вполне определенный практический смысл и значение: пропеть славу значило наделить славой, пропеть карание (покарать!) — означало принести не только моральный ущерб, но и телесное повреждение. Пение славы (хвалы) или карания (хулы) [13] было обрядовым ритуалом, который сопровождался специфическими приемами поведения; певец исполнял свое произведение под аккомпанемент музыкального инструмента «то как песню, то как сказ, то как речитатив, начиная ее почти шепотом, как произносятся заговоры, заклинания, молитвы, и постепенно приходя в экстаз».[14]

То, что Боян, как и языческие певцы, пел нечто вполне определенное по смыслу — либо только хвалу, либо только хулу, можно заключить из тех двух образцов «бояновых» песен Игорю, которые приводит автор «Слова». Одна из них — хула, другая — слава.

Если бы Боян пел песнь Игорю, то он (думает автор «Слова») спел бы внуку бесславного Олега Гориславича («того Олга внуку») хулу: «Не буря соколы занесе чресъ поля широкая — галици стады бѣжать къ Дону Великому».[15] Данную фразу принято рассматривать как один из примеров славы Игорю.[16] Однако вряд ли это правомерно как с синтаксической, так и смысловой точек зрения. Если считать, что это — хула, что полки Игоря сравниваются не с соколами, а со стадами галок, то синтаксическое построение фразы представляется простым и ясным: здесь использован излюбленный автором «Слова» прием — прием отрицательного параллелизма. Не соколы (победители) занесены бу-

---

[12] О том, что третьей песней языческих певцов был плач («желение»), говорят многие данные. В «Слове некоего Христолюбца» обличается пение на пирах «караний» и «желенѣи», т. е. хулы и плача (см.: *Аничков Е. В.* Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914, с. 334). Дошедший до наших дней обычай приглашать на похороны плакальщиц также говорит о том, что плач был жанром личностного, а не коллективного творчества. Жанр плачей в древнерусской литературе — это, видимо, продолжение устной традиции.

[13] Поскольку слава — это хвалебная по содержанию песня, хвала, а карание — хулительная песня, хула, «каяние», считаю возможным в данной статье употреблять слова «слава» и «хвала», а также «карание» и «хула» как синонимы.

[14] *Шарыпкин Д. М.* Боян в «Слове о полку Игореве» и поэзия скальдов, с. 18.

[15] Предложение, выражающее эту мысль и представляющее собой с синтаксической точки зрения период, в изданиях «Слова о полку Игореве» почему-то разбивается по разным предложениям или даже абзацам. Приведем его в том виде, какой считаем верным: «О Бояне, соловию стараго времени! Абы (т. е. если бы. — *Л. С.*) ты сиа плъкы ущекоталъ, скача, славию, по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы, — пѣти было пѣснь Игореви, того (Олга) внуку: „Не буря соколы занесе чресъ поля широкая — галици стады бѣжать къ Дону Великому“».

[16] Как хулу эту фразу рассматривали Е. В. Аничков (Язычество и Древняя Русь, с. 333) и О. Сулейменов (Аз и я. Алма-Ата, 1975, с. 104—110).

рей (военной опасностью) через поля широкие, а стада галок (никем не гонимые) бегут к Дону Великому на свою гибель. Если же считать, что Игоревы полки сравниваются здесь с соколами, от которых половцы, как стада галок, бегут к Дону, то построение данной фразы получается трудно объяснимым. Синтаксическое построение фразы требует противопоставления, а смысл фразы его исключает. Не случайно данная фраза «исправляется» некоторыми переводчиками (вставляется якобы выпавшее «не» перед словом «галици») и переводится как двойное отрицание: не соколы занесены бурей, не галки бегут к Дону. Так переводят эту фразу В. Миллер, В. В. Капнист, А. Н. Майков, К. Д. Бальмонт, Г. Шторм, Н. А. Заболоцкий, Александр Степанов.

При рассмотрении данной фразы следует учитывать также, какой дополнительный смысл вкладывали древнерусские певцы и книжники в сравнение воинов с соколами и галками. В Ипатьевской летописи под 1097 г. читаем: «Бонякъ же раздилися на 3 полки и сбиша угры в мяч, яко соколъ галицѣ збивает, и побегоша угре». Если учитывать смысл этого сравнения, то придется признать, что образ галок, сбитых «в мяч» (в кучу) соколами, скорее применим к полкам Игоря, которые действительно были окружены и разбиты.

Доказательством того, что рассматриваемая фраза — не хвала, а хула, служит и следующий за ней текст: «Чи ли въспѣти было, вѣщеи Бояне, Велесовь внуче?» Обычно этот риторический вопрос рассматривают как вводящий в текст другой стилистический вариант славы Игорю. Но в таком случае здесь недостает указательной частицы (или так ты воспел бы...). Представляется, что логическое ударение в данной фразе следует делать на слове «въспѣти». Приведя пример хулы, автор «Слова» рассуждает далее: Или ты, вещий (всемогущий) Боян, внук самого Велеса, смог бы даже воспеть Игоря, несмотря на его поражение. В таком случае объяснимо и вполне логично упоминание здесь Велеса и название Бояна вещим. Не случаен и сам факт, что автор «Слова» приводит не один пример Бояновой песни Игорю, а два. Разница двух этих песен не стилистическая (это не два варианта славы Игорю), а более глубокая — смысловая, жанровая: одна песня — карание, другая — слава.

Уместно, думается, вспомнить здесь и о том, что в тексте «Слова» кроме этого случая сопоставления—противопоставления хулы и хвалы есть еще два. 1) «Ту Нѣмци и Венедици, ту Греци и Морава поютъ славу Святъславлю, кають князя Игоря...»; 2) «Уже снесеся хула на хвалу...».

Текст второй «бояновой» песни Игорю — славы значительно шире, на мой взгляд, чем обычно считается. Он оканчивается не словами «стоять стязи въ Путивлѣ», а словами «ищучи себе чти, а князю славѣ». Весь этот текст — от слов «комони ржуть за Сулою» и до слов «ищучи себе чти, а князю славѣ» един по смыслу. Похвальное слово воинам-курянам, вложенное в уста

Всеволода, — это и есть пример той славы, какую мог спеть Боян, говоря о походе Игоря. Уже давно замечено, что этот фрагмент выделяется в окружающем его тексте и по бравурности, и по ритму. Ритм его — «бодрый и энергичный», ритм «мчащихся воинов».[17] И бравурность, и бодрый, энергичный ритм уместны в Бояновой славе, но совершенно не уместны в печальном рассказе («со слезами смешанном») о походе Игоря, опирающемся на «былины сего времени». Интересно в связи с этим, что Д. С. Лихачев, распределяя текст «Слова» между двумя певцами: певцом-архаистом, «верным пафосной манере Бояна», и певцом-рассказчиком, считает, что похвала воинам-курянам принадлежит «стороннику превыспренней Бояновой манеры», что «слова эти больше соответствуют манере певца-архаиста, сторонника Бояна».[18]

Вероятно, похвала курянам — «къметям» (отборным воинам, дружинникам, составлявшим авангард войск Всеволода), созданная автором «Слова» в стиле песен-слав Бояна, была построена на «общих местах» или устойчивых формулах дружинной (рыцарской) поэзии, представителем которой был в XI в. знаменитый Боян. Подтверждением этому может служить публикуемый в данном сборнике А. Д. Михайловым стихотворный старофранцузский текст, который «описывает, бесспорно несколько иронически, образцового молодого воина (оруженосца, благородного юношу), собирающегося стать рыцарем».[19] Приведу в переводе А. Д. Михайлова начало этого текста, сходное с похвалой воинам-курянам: «Кто юноша-рыцарь? Тот, кто под мечом был рожден, и среди шеломов молоком вспоен, и в собственном щите взлелеян, и мясом льва вскормлен, и средь страшного грома убаюкан. . .».[20] Думается, что и автор «Слова» при всем уважении к Бояну в похвале курянам-«къметям» слегка иронизирует над его пафосной манерой, над бравурной дружинной поэзией с ее «общими местами».

Кроме того, если считать лирическим отступлением автора (рассуждающего о том, как бы Боян спел песнь Игорю) текст от слов «О Бояне, соловию стараго времени» до слов «ищучи себе чти, а князю славѣ», то устраняется противоречие между «Словом» и летописью относительно времени солнечного затмения, а в тексте «Слова» исчезает «явная астрономическая несообразность, состоящая в том, что либо затмение продолжалось непрерывно несколько дней подряд, либо на протяжении нескольких дней оно повторялось дважды».[21] Тем самым устраняется

---

[17] *Лихачев Д. С.* Слово о походе Игоря Святославича. — В кн.: Слово о полку Игореве. Л., 1967, с. 29.

[18] *Лихачев Д. С.* Предположение о диалогическом строении «Слова о полку Игореве» — см. с. 13—14 наст. изд.

[19] *Михайлов А. Д.* Об одной старофранцузской параллели «Слову о полку Игореве» — см. с. 88 наст. изд.

[20] Там же, с. 88—89.

[21] *Гудзий Н. К.* Еще раз о перестановке в начале текста «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1956, т. 12, с. 37.

главный аргумент в пользу перестановки в начале «Слова» и отпадает всякая необходимость в ней. Получается ясный и последовательный рассказ автора «Слова» о походе Игоря. Начинается он, по авторскому замыслу, не со сборов в поход (рассказ об этом и о встрече Игоря со Всеволодом у Оскола автор вкладывает в уста Бояна!), а с солнечного затмения. После лирического отступления о Бояне автор «Слова» продолжает свой рассказ о солнечном затмении. Причем это продолжение сигнализируется фразой («Тогда въступи Игорь...»), схожей своим началом с первой фразой авторского рассказа об Игоре («Тогда Игорь възрѣ»). Обратившись с речью к своим воинам, призвав их невзирая на солнечное затмение (которое могло знаменовать как поражение, так и победу[22]) продолжать поход, Игорь «въступи... въ златъ стремень и поѣха по чистому полю. Солнце ему тъмою путь заступаше...». Таким образом, рассказ о солнечном затмении — это связное начало авторского рассказа о походе Игоря, в которое вклинивается лирическое отступление о Бояне, его творческой манере.

Итак, Боян, следуя традиции языческих певцов и, видимо, сам будучи языческим певцом, несмотря на то что жил в XI в.,[23] спел бы Игорю нечто однозначное: славу (хвалу) или карание (хулу), в зависимости от своего «замышления» — замысла, намерения. Какое же произведение противопоставляет Бояновым песням автор «Слова»? Он намерен слагать песню «не по замышлению», т. е. заранее задавшись определенной целью (спеть либо хвалу, либо хулу), а «по былинам сего времени».

Слово «былины» понимается исследователями как исторические факты, события; правда. Но былины — это скорее р а с с к а з ы о походе Игоря. Подтверждение этому находим в таких родственных словах, как «быль», «былица» (ср. «небылица»), «быличка», «бывальщина», «бывалка», означающих рассказ о действительном происшествии,[24] а точнее, рассказ либо о событиях, действительно имевших место, либо о событиях, в действительность которых верит автор.[25] Именно в таком значении — рассказы о действительно происходивших событиях — употребляется в народном языке и слово «былины» по отношению к рус-

---

[22] *Яценко Б. И.* Солнечное затмение в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1976, т. 31, с. 117.

Вероятно, язычники считали солнечное затмение только плохим предзнаменованием, а христиане — просто предзнаменованием, смысл которого ясен одному богу. В таком случае воины Игоря толкуют солнечное затмение как язычники, а Игорь, хотя и колеблется, поступает как христианин.

[23] В исследованиях последних лет по язычеству Древней Руси показано, что языческие представления, обычаи, образы жили еще много веков после принятия в Киеве христианства.

[24] Словарь русского языка: В 4-х т. М.; Л., 1981, т. 1, с. 129 (слова «быль», «бывальщина»). См. также: Словарь русских народных говоров. Л., 1968, вып. 3, ст. «былица», «быличка» и др.

[25] *Померанцева Э. В.* Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975, с. 4—7, 13 и др.

ским народным эпическим песням о богатырях, как термин введенное в науку И. П. Сахаровым.[26]

Итак, автор «Слова о полку Игореве» намерен следовать «былинам сего времени», т. е. он решает объективно подойти к походу Игоря, сложить песнь о нем, основываясь на правдивых рассказах участников похода (возможно, здесь имеется в виду конкретный рассказ о походе Игоря), а не задавшись заранее определенной целью — спеть хвалу или хулу Игорю.

Но не только в этом (т. е. в творческом методе) отличие автора «Слова» от Бояна. Различны и цели, задачи, которые ставили перед собой Боян и автор «Слова о полку Игореве», слагая свои песни. В отличие от Бояна автор «Слова» обращается к походу Игоря не для того, чтобы прославить или укорить его участников; он не хвалит и не хулит Игоря (не случайно исследователи затрудняются однозначно ответить на вопрос: хорош или плох Игорь в представлении автора «Слова»), а пытается объективно взглянуть на описываемые события и сделать своевременные выводы. Если Боян пел песню князю (для того, чтобы прославить или укорить его), то автор «Слова» поет песню не князю, не о князе; он слагает «слово» о походе Игоря, а не о нем самом.

Таким образом, отличие «Слова о полку Игореве» от песен Бояна прежде всего в творческом методе и в той задаче, цели, которую ставят перед собой авторы. Однако и этим оно не исчерпывается. Различные цели обусловили различие и в форме произведений.

Исходным, традиционным жанром для автора «Слова о полку Игореве» является тот, к которому принадлежат песни Бояна. Д. С. Лихачев не раз подчеркивал, что «Слово» очень близко к «плачам» и «славам».[27] Об этом говорит и факт противопоставления автором «Слова» своей песни песням Бояна, так как противопоставляя, он тем самым сопоставляет их. Чтобы сравнивать два предмета, явления и т. д., нужно, как известно, чтобы у них была общая основа. Такой общей основой для «Слова о полку Игореве» и песен Бояна является, видимо, принадлежность к одному жанру — жанру воинской лиро-эпической песни. Ни песни Бояна (слава, или хула, или плач), ни «Слово о полку Игореве» не ставили себе целью рассказать о событии, которому посвящены. Последовательно и бесстрастно описывать происходящее (в память потомкам) — дело летописцев. Боян же и автор «Слова о полку Игореве» слагают произведения, во-первых, глубоко лиричные, проникнутые авторским отношением к описываемому, а во-вторых, обращенные не к потомкам,

---

[26] О термине «былина» см.: *Астахова А. М.* Былины: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966, с. 21—27.

[27] *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и особенности русской средневековой литературы. — В кн.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. 2-е изд. Л., 1985, с. 20—22.

а в первую очередь к современникам. Они не рассказывают о происшедших событиях, а используют, привлекают их, создавая лирический отклик на них. Отсюда и некоторая фрагментарность в «Слове» в изображении событий, отсутствие подробного и непрерывающегося рассказа о походе Игоря. Чтобы сделать свою мысль убедительной, оба песнотворца обращаются к событиям далекого прошлого. Бояну историческая ретроспектива нужна для того, чтобы найти подтверждение славе или хуле в «дедней» славе или «деднем» бесславии, чтобы «свить славы оба полы сего времени». Автор «Слова» всматривается в историческое прошлое народа для того, чтобы найти там первопричину случившегося.

Однако новые задачи, новые цели автора «Слова о полку Игореве» по сравнению с Бояном обусловили жанровые видоизменения лиро-эпической песни. Прежде всего, «Слово» — это не однозначная по смыслу песня Бояна. Это и плач, и хула, и слава одновременно. Кроме того, следуя «старым словесам», т. е. «словам»-песням Бояна, автор «Слова о полку Игореве» испытал влияние новых «слов» — ораторской прозы. Слияние в «Слове о полку Игореве» двух этих жанров неудивительно, так как они имеют много общего. Византийские по происхождению «слова», так же, как и песни Бояна, принадлежат к разряду лиро-эпических жанров, в которых главное — не рассказ о событии, а лирический отклик на него. Оба жанра — и песни Бояна, и ораторская проза — рассчитаны на устное исполнение перед слушателями и предполагают непосредственное к ним обращение. Что касается формы, то и тот и другой жанр в своей «торжественной» форме предполагали ритмичность и наличие рифмы.

В чем же выразилось в «Слове о полку Игореве» влияние ораторской прозы? На этот вопрос подробнейшим образом попытался ответить И. П. Еремин.[28] Если нельзя согласиться с ним относительно полного отождествления «Слова о полку Игореве» с жанром торжественного красноречия, то совершенно правомерно, на мой взгляд, объяснять влиянием ораторской прозы наличие в «Слове» зачина, содержащего рассуждения автора о методе художественного творчества и о назначении поэзии, а также обращения автора к князьям, являющегося, по сути дела, произведением в произведении: это не что иное, как речь, «слово», ораторское произведение, «политическое поучение». Такой речи-призыва наверняка не было в песнях Бояна, чья задача ограничивалась пением хвалы или хулы.

Тесное взаимодействие в «Слове о полку Игореве» двух жанров — песни и «слова» было отмечено исследователями уже давно. «Если это речь, то она близка к песне; если это песнь, то она

---

[28] *Еремин И. П.* 1) «Слово о полку Игореве» как памятник политического красноречия, с. 93—129; 2) К вопросу о жанровой природе «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1956, т. 12, с. 28—34.

близка к речи», — написал Д. С. Лихачев в 1950 г.[29] Еще определеннее о жанровом синкретизме «Слова о полку Игореве» сказал Н. К. Гудзий: «Автор... создает одновременно страстную лирическую песню и волнующее публицистическое произведение...».[30]

В стремлении объединить в своем произведении особенности двух жанров автор «Слова о полку Игореве» не одинок. «Всякое гениальное художественное произведение, — писал А. А. Назаревский, — всегда, как правило, ломает жанровые рамки и каноны своего времени».[31] Мы знаем много примеров из истории литературы, когда новый жанр рождался на стыке двух старых. Тщательное изучение процесса жанрообразования в древнерусской литературе также даст, вероятно, много подобных примеров.

Таким образом, зачин в «Слове о полку Игореве» — не только дань литературной традиции. Автор полемизирует здесь с Бояном, а в его лице с целой школой словесного искусства — со всей дружинной поэзией с ее тематической заданностью и однозначностью (либо слава, либо плач), субъективным отражением событий, бравурностью и трафаретностью выражений.

---

[29] *Лихачев Д. С.* Слово о полку Игореве (историко-литературный очерк). — В кн.: Слово о полку Игореве. М.; Л., 1950, с. 252 (Сер. «Лит. памятники»).

[30] *Гудзий Н. К.* История древней русской литературы. М., 1953, с. 125.

[31] *Назаревский А. А.* О жанровой природе «Слова о полку Игореве», с. 113—144.





В. В. Медведев

СЦЕНА СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

«Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты и рече Игорь къ дружинѣ своеи братие и дружино луце жъ бы потяту быти неже полонену быти а всядемъ братие на свои бръзыя комони да позримъ синего Дону спала князю умь похоти и жалость ему знамение заступи искусити Дону Великаго хощу бо рече копие приломити конець поля Половецкаго съ вами Русици хощу главу свою приложити а любо испити шеломомь Дону».[1]

По мнению ряда ученых, этот отрывок должен идти после обращения Всеволода к Игорю. Главным аргументом в пользу такой перестановки служит то, что, «согласно летописи, затмение застало Игоря уже в походе, накануне переправы через Донец. По тексту „Слова" (в первом издании) Игорь и дружина наблюдают его и до начала похода и уже углубившись в степь. Перестановка устраняет это расхождение текста „Слова" и летописи. . .».[2]

Сопоставление летописи со «Словом» является вполне правомерным, ибо сам автор в первых же строках поэмы недвусмысленно заявляет о своем стремлении к достоверности: «начати же ся тъи пѣсни по былинамь (по действительным событиям. — *В. М.*) сего времени, а не по замышлению Бояню». Итак, вопрос лишь в том, существует ли какое-либо расхождение между «Словом» и летописью в сцене солнечного затмения.

Под начальным «тогда» рассматриваемого отрывка может разуметься только то время, когда Игорь, как гласит предыдущий текст, «наведе своя храбрыя плъкы на землю Половѣцькую за землю Руськую». Учитывая это, Д. С. Лихачев комментирует:

---

[1] Здесь и далее текст цитируется по первому печатному изданию «Слова о полку Игореве»: Ироическая пѣснь о походѣ на половцовъ удѣльнаго князя Новагорода-Сѣверскаго Игоря Святославича. М., 1800.

[2] *Творогов О. В.* Примечания к тексту «Слова о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве. Л., 1967, с. 474 (Б-ка поэта. Больш. сер.).

«Тогда (в начале того похода) Игорь взглянул на светлое солнце...».[3] Таким образом, по тексту «Слова» в данном случае получается, что солнечное затмение произошло в начале похода, — естественно, уже после выступления Игоря на половцев, что полностью соответствует исторической действительности.[4]

За сообщением о солнечном затмении приводится обращение Игоря к дружине. Принято считать, что данное обращение является реакцией князя на затмение. Однако сам смысл Игоревой речи свидетельствует как раз об обратном.

Обращение Игоря к дружине начинается так: «Луце жъ бы потяту (сраженным. — *В. М.*) быти, неже полонену быти». Перед нами девиз, типичный для воинского этикета средневековья, который обычно произносился перед походом или перед битвой. В. П. Адрианова-Перетц приводит целый ряд параллелей этой формуле: «Лепле смьрть славну взяти, негли жити пленени»; «славну смьрть луче живота мнять»; «луче пострадати, бьющеся с ним, негли повинутися и поработитися ему» и др.[5]

Произнеся эту фразу, Игорь далее говорит своим соратникам: «А всядемъ, братие, на свои бръзыя комони да позримъ синего Дону!», т. е. он вполне определенно призывает их выступить в поход на Дон.[6] И этот призыв к выступлению в поход, содержащийся в Игоревой речи, окончательно и неоспоримо доказывает, что вся настоящая речь Игоря была сказана им еще до солнечного затмения, которое произошло уже после того, как Игорь направил свои войска «на землю Половѣцькую». В самом деле, если бы данная речь Игоря была вызвана затмением солнца, как это принято считать, то зачем же бы князь стал призывать свою дружину «сесть на коней»? Ведь затмение застало Игоря во время марша, когда его воины «сидели на конях».[7]

Как можно заметить, хронологическая непоследовательность повествования, выявленная нами в сцене солнечного затмения, служит определенным художественным целям автора «Слова». Сначала автор заостряет внимание читателя на самом главном — на затмении солнца, которое застало Игоря в пути «на землю Половѣцькую», потом он приводит речь Игоря, сказанную им перед самым выступлением в поход, еще до затмения. Такой прием ретроспекции вообще очень характерен для свободной художественной композиции «Слова». Например, в конце поэмы

---

[3] *Лихачев Д. С.* Слово о полку Игореве : Историко-литературный очерк. М., 1976, с. 53.

[4] Игорь выступил из Новгорода-Северского 23 апреля 1185 г., а затмение солнца было 1 мая.

[5] *Адрианова-Перетц В. П.* «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. Л., 1968, с. 71.

[6] «Вс ѣсти на комонь — выступить в поход, на войну» (Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» / Сост. В. Л. Виноградова. М.; Л., 1965, вып. 1, с. 143).

[7] О том же свидетельствует и летописец: «Идущимъ же имъ к Донцю рѣцѣ, в годъ вечернии, Игорь же возрѣвъ на небо и видѣ солнце, стояще яко мѣсяць» (ПСРЛ. М., 1962, т. 2, стб. 638).

автор сперва говорит: «Прысну море полунощы; идутъ сморци мьглами; Игореви-князю богъ путь кажетъ изъ земли Половецкои на землю Рускую...». Затем он возвращается назад и пишет: «Погасоша вечеру зари. Игорь спитъ? — Игорь бдитъ...».

Итак, по сюжету, который нельзя путать с композицией, получается, что затмение солнца произошло в ответ на предпоходную речь Игоря вскоре после выступления русских в поход.

Как известно, солнечные затмения воспринимались в старину как божьи знамения, сулящие добро или зло («Знаменья бо бывають ово же на добро, ово же на зло» [8]). Вполне естественно, что при виде такого знамения у средневекового человека прежде всего невольно возникал вопрос: что же оно означает? Именно так в первый момент среагировал на затмение солнца князь Игорь: «Игорь же возрѣвъ на небо и видѣ солнце, стояще яко мѣсяць, и рече бояромъ своимъ и дружинѣ своеи: „видите ли, что есть знамение се?“» [9] Разумеется, автор «Слова» все это превосходно знал и понимал, и потому в дошедшем до нас тексте поэмы далее значится: «Спала князю умь похоти и жалость ему знамение заступи искусити Дону Великаго».

Ошибочно принимая речь Игоря «Луце жъ бы потяту быти...» за реакцию князя на затмение, переводчики обычно пытаются найти в данном отрывке авторское пояснение к той речи: «Распалило ум князя желание, и жажда испить (воды) Дона великого знамение ему заслонила» (В. И. Стеллецкий). Но, во-первых, здесь произвольно нарушен порядок слов оригинала. Во-вторых, «жалость», судя по примерам из других памятников, в древнерусском не имело значения «жажда, страстное желание» (в Словаре-справочнике «Слова о полку Игореве» приведены примеры лишь со следующими значениями слова «жалость»: 1) ревность, зависть, 2) досада, 3) горе, печаль; смятение).[10] И в-третьих, что самое главное, при такой трактовке Игорь предстает противопоставляющим себя судьбе и пренебрегающим ради своего желания божьим знамением. Это уже противоречит не только «былинам» (действительным событиям), лежащим в основе «Слова», но и всему духу эпохи средневековья, которой принадлежит автор поэмы. Если Игорь, увидев божье знаменье, не повернул назад, то это вовсе не значит, что он решил действовать наперекор судьбе. Тут важно учитывать принципы христианской морали, которыми руководствуется Игорь. Впрочем, речь об этом будет еще впереди.

Понять отрывок «Спала князю умь...» без перестановки слов пытался еще А. С. Пушкин: «Спали князю в ум желание и печаль. Ему знамение мешало (запрещало) искусити Дону великого».[11] И Пушкин был здесь на верном пути! В самом деле, нетрудно заметить, что при сказуемом «спала» (большинство ис-

---

[8] Там же, стб. 252.
[9] Там же, стб. 638.
[10] Словарь-справочник «Слова о полку Игореве», вып. 2, с. 69—70.
[11] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10-ти т. М., 1964, т. 7, с. 506—507.

следователей видят в этом слове как раз глагол) имеются два подлежащих — «похоти и жалость», которые составляют одно из парных сочетаний, столь излюбленных автором «Слова» (ср. далее: «чти и живота», «свычая и обычая», «хлъми и яругы», «рѣкы и озеры», «потокы и болота», «туга и тоска» и др.). Что же касается самого наличия двух подлежащих при сказуемом единственного числа («спала»), то и такой пример встречается в «Слове»: «Игорь и Всеволодъ уже лжу убуди которою» (как показано В. Л. Виноградовой, «убуди» отнюдь не является поздней порчей текста, ибо «в памятниках XI—XII вв. уже попадаются такие случаи, когда глагол-сказуемое вместо ожидаемого двойственного числа употребляется в единственном: „Секунъдияне съ ними же съчетаеться Епифании и Сидоръ" (Ефрем. крмч., 656, XI—XII вв.)»).[12]

Итак, после сообщения о солнечном затмении автор «Слова» говорит: «Спала князю умь похоти и жалость...», что естественнее всего понимать как «вспали[13] князю на ум желание и смятение...». Столь сильное замешательство Игоря, вызванное затмением солнца, уже само собою предопределяет дальнейший вопрос от лица князя о смысле этого знамения. И тут-то становится ясно, что в последующем тексте имеется небольшой дефект, т. е. далее, если следовать логике повествования, читаться должно не «ему знамение заступи...», а «(ч)ему знамение заступи искусити Дону Великаго?» (при написании текста в сплошную строку древнему переписчику легко было ошибиться и пропустить одну букву). Восстанавливаемое «(ч)ему» (зачем, почему) в «Слове» употребляется неоднократно: «О вѣтрѣ, вѣтрило! Чему, господине, насильно вѣеши? Чему мычеши Хиновьскыя стрѣлкы па своею нетрудною крилцю на моея лады вои?» и др. Таким образом, перед нами возникает поэтическое и вместе с тем вполне достоверное изображение первой реакции Игоря на затмение солнца: «Спала князю умь похоти и жалость: (ч)ему знамение заступи искусити Дону Великаго?», т. е. «Вспали князю на ум желание и смятение: почему знамение заступило (путь) изведать Дона Великого?» (пропуск слова «путь», наблюдаемый в оригинале, является эллипсом — ср. далее: «Солнце ему (Игорю. — *В. М.*) тъмою путь заступаше»).[14]

Вновь обратимся к исторической действительности. После того, как Игорь указал своим соратникам на затмение солнца и спросил их, «что есть знамение се», «они же узрѣвше, и видиша вси и поникоша главами, и рекоша мужи: „княже! се есть не на

[12] *Виноградова В. Л.* «Слово о полку Игореве» и «Задонщина» по некоторым данным морфологии. — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века: Сб. исследований и статей. М.; Л., 1962, с. 270.

[13] Примеры см.: Словарь-справочник «Слова о полку Игореве», вып. 5, с. 201.

[14] Следует отметить, что к верному пониманию отрывка «Спала князю умь...» был довольно близок Л. А. Мей: «Занялись у князя думы пыломполымем. (Да и жаль ему, что знаменье) Заступило путь-дорогу на великий Дон».

добро знамение се". Игорь же рече: „братья и дружино! тайны божия никто же не вѣсть, а знамению творѣць богъ и всему миру своему, а намъ что створить богъ, или на добро, или на наше зло — а то же намъ видити"».[15] Стало быть, в отличие от своих «мужей», Игорь после минутного замешательства, вызванного божьим знамением, проявил себя как истый воин-христианин, справедливо рассудив, что постичь судьбу невозможно, как и невозможно ее избежать, и поэтому, что бы она ни решила сотворить — добро или зло, следует пойти ей навстречу (если бы Игорь при виде знамения повернул назад, то он бы воспротивился судьбе, а это, по христианским понятиям, — великий грех).

По существу ту же самую христианскую рыцарственность Игоря передает и автор «Слова», считающий своего героя прямым христианином («Игорь ѣдетъ по Боричеву къ святѣи Богородици Пирогощеи»). Увидев затмение солнца и задавшись вопросом, «(ч)ему знамение заступи искусити Дону Великаго», Игорь тут же ободряет себя благородством своей рыцарской «похоти» («Хощу бо, — рече, — копие приломити конець поля Половецкаго») и в полном согласии с христианской моралью о непостижимости и неизбежности судьбы[16] выражает готовность исполнить любую ее волю — или погибнуть, или победить: «Съ вами, Русици, хощу[17] главу свою приложити, а любо испити шеломомь Дону!».

В целом же в соответствии с нашими соображениями и наблюдениями весь рассмотренный отрывок поэмы будет читаться так: «Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ — отъ него тьмою и вся своя воя прикрыты!.. И рече Игорь къ дружинѣ своеи: „Братие и дружино! Луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти. А всядемъ, братие, на свои бръзыя комони да позримъ синего Дону!" — Спала князю умь похоти и жалость: (ч)ему знамение заступи искусити Дону Великаго? — „Хощу бо, — рече, — копие приломити конець поля Половецкаго. Съ вами, Русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомь Дону!"».

Объяснительный перевод: «Тогда (в начале похода) Игорь взглянул на светлое солнце и увидел, (что это) оно тьмою всех его воинов прикрыло!.. А (еще до похода) молвил Игорь дружине своей: „Братья и дружина! Лучше бы сраженным быть, нежели плененным быть. А и сядем, братья, на своих борзых коней да посмотрим синего Дона!" — Вспали князю на ум (когда он увидел затмение солнца) желание и смятение: почему знамение заступило (путь) изведать Дона Великого? — „Хочу ведь, — молвил, — копье преломить на границе поля Половецкого (т. е.

---

[15] ПСРЛ, т. 2, стб. 638.

[16] Ср. в «Слове» далее: «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути».

[17] «Хощу» в данном случае явно употреблено как вспомогательный глагол для обозначения будущего времени. Примеры см.: Срезневский, т. 3, стб. 1392.

хочу ведь сразиться с врагами Руси — совершить святое дело). С вами, русичи, (либо мне) голову свою сложить, а либо испить шеломом Дона (т. е. или погибнуть, или победить, как то будет угодно непостижимой и неизбежной судьбе)!“».

Как видим, ни в чем по существу не отступая в сцене солнечного затмения от действительности, автор «Слова» превращает конкретно-исторические факты в яркую драматическую картину, предопределяющую общий тон основного повествования. И это вполне закономерно, так как сцена солнечного затмения является составной частью вступления к «Слову».[18] Основное же повествование, непосредственный рассказ о походе Игоря, начинается словами: «Комони ржуть за Сулою? — звенить слава въ Кыевѣ? — трубы трубять въ Новѣградѣ, — стоять стязи въ Путивлѣ» (по верному замечанию А. С. Пушкина, здесь «поэт говорит сам от себя не по вымыслу Бояню, по былинам сего времени» [19]). Сообщив таким образом о выступлении в поход объединенных сил Новгорода-Северского и Путивля, автор «Слова» далее говорит о соединении Игоря со Всеволодом, которое произошло на Осколе уже после затмения солнца (как известно, Игорь ждал на Осколе своего брата два дня, отсюда и слова Всеволода: «Сѣдлаи, брате, свои бързыи комони...», являющиеся призывом к продолжению похода).

И вот поход продолжается: «Тогда (после соединения со Всеволодом. — *В. М.*) въступи Игорь-князь въ златъ стремень и поѣха по чистому полю. Солнце ему тъмою путь заступаше, — нощь, стонущи ему грозою, птичь убуди». Как легко заметить, здесь не дается собственно повторного изображения солнечного затмения, здесь оно всего лишь мельком упоминается как нечто давно уже известное (читатель все знает о нем из вступления), причем упоминается сопоставительно с другим знамением — ночным: «Солнце ему тъмою путь заступаше (днем. — *В. М.*), — нощь, стонущи ему грозою, птичь убуди». Только ради сопоставления тех знамений, которыми сопровождался поход, автор «Слова» здесь и говорит о солнечном затмении, происшедшем, как это явствует из вступления, в самом начале похода, еще до соединения Игоря со Всеволодом.[20]

Такова композиция начала «Слова». Будучи художественно совершенной, она не требует никаких поправок.

---

[18] «Вступление благодаря этому абзацу («Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце...». — *В. М.*) оказывается насыщенным глубоким содержанием, в нем звучит уже лейтмотив всего произведения. Во вступлении даны герои, смелые цели их похода, общая историческая обстановка „сего времени“ и события, которыми сопровождался поход» (*Стеллецкий В. И.* Примечания к древнерусскому тексту «Слова о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве. М., 1965, с. 126).

[19] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 508.

[20] Далее в «Слове» автор неоднократно возвращается к теме солнечного затмения, но там затмение — уже чисто поэтический образ («На рѣцѣ Каялѣ тьма свѣтъ покрыла»; «Нъ уже, княже, Игорю утръпѣ солнцю свѣтъ» и др.).



Я. И. Гин

К ИСТОЛКОВАНИЮ ФИНАЛА ПЛАЧА ЯРОСЛАВНЫ

«Въ полѣ безводнѣ жаждею имъ лучи съпряже, тугою имъ тули затче...» Строение этой фразы, которой заканчивается плач Ярославны, не было предметом специального исследования. Решаться же эта проблема может по-разному. Во-первых, эта конструкция может пониматься как повествовательное безличное предложение с творительным субъекта (типа «Ветром сломало дерево»). Во-вторых, она может быть интерпретирована как неполный вопрос к солнцу с опущенным вопросительным наречием «чему» (ср. в предыдущей фразе: «Чему, господине, простре...») и местоимением «ты» (при таком понимании творительный падеж получает орудийное значение). Первую точку зрения разделяет С. П. Обнорский, безоговорочно зачисливший это предложение в разряд безличных (по его терминологии — «бессубъектных») «с сказуемым, выраженным безличным глаголом».[1] Другие исследователи придерживаются второй точки зрения; так, В. П. Адрианова-Перетц определила «жаждею» как творительный орудия.[2] По Р. О. Якобсону, это «эллиптические вопросы» с «формами инструментала, схожими морфологически и синтаксически».[3] Исследователь обосновал свою концепцию тонким анализом симметрии плача на грамматическом уровне; Р. О. Якобсон выделил в каждой из трех частей плача по три глагола, относящихся к адресатам княгини: к ветру (*вѣеши, мычеши, развѣя*), Днепру (*пробилъ, лелеялъ, възлелѣй*) и солнцу (*простре, съпряже, затче*). Эту точку зрения разделяет и Д. С. Лихачем: «Ярославна обращается... к солнцу, которое всем тепло и прекрасно, а в степи безводной жаждою им луки скрутило, истомою им колчаны заткнуло».[4]

---

[1] *Обнорский С. П.* Избранные работы по русскому языку. М., 1960, с. 75.

[2] *Адрианова-Перетц В. П.* «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. Л., 1968, с. 176.

[3] *Якобсон Р. О.* Композиция и космология плача Ярославны. — ТОДРЛ, Л., 1969, т. 24, с. 32.

[4] *Лихачев Д. С.* Слово о полку Игореве: Историко-литературный очерк. М., 1976, с. 90.

В капитальных исследованиях по историческому синтаксису русского языка, где обильно приводятся примеры из «Слова», анализируемая конструкция не встречается ни в разделе о безличных, ни в разделе о неполных предложениях.[5] Примечательно, что Б. А. Ларин, остановившийся в своем анализе «Слова» на семантико-стилистическом аспекте финальной фразы плача, обошел вниманием ее структуру.[6]

Следует отметить, что обе интерпретации хорошо вписываются в семантическое пространство текста: с одной стороны, «туга» встречается в «Слове» в позиции олицетворения («Уже, княже, туга умъ полонила. . .») и в рассматриваемой конструкции может пониматься в таком же значении;[7] с другой же стороны, по справедливому замечанию А. Н. Робинсона, солнце «выступает как активный субъект, для воспроизведения действий которого употребляется падеж образа действия, т. е. творительный орудийный («Солнце ему тьмою. . .»; «видѣ отъ него тьмою»)».[8]

Поставленная проблема не является чисто синтаксической или — шире — лингвистической, но непосредственно связана с изучением поэтики и композиции всего плача; ее решение имеет практическое значение — для издания текста и его перевода. Так, в одних изданиях «Слова» в конце рассматриваемого предложения стоит точка (очевидно, редактор придерживается первой точки зрения), в других — вопросительный знак (в соответствии со второй точкой зрения).[9]

Если считать последнее предложение плача Ярославны личным вопросительным, то оно развивает олицетворение солнца; если же считать безличным повествовательным — в плаче олицетворены *туга* и *жажда*. Основной прием персонификации ветра, Днепра и солнца в плаче — обращение к ним (соотнесение с родом также производится через вокатив «господине»). Следовательно, каждый грамматический показатель обращения становится средством персонификации: чем больше таких маркеров, тем сильнее (интенсивнее) олицетворение. Сравним три основные части плача по силе олицетворения.

---

[5] См., например: *Борковский В. И., Кузнецов П. С.* Историческая грамматика русского языка. М., 1965; *Стеценко А. Н.* Исторический синтаксис русского языка. М., 1972; Историческая грамматика русского языка: Синтаксис. Простое предложение. М., 1978.

[6] *Ларин Б. А.* Лекции по истории русского языка. (X—середина XVIII в.). М., 1975, с. 172—173.

[7] См. об этом: *Виноградова В. Л.* О методе лексикологического изучения текста «Слова о полку Игореве». — Вопросы языкознания, 1978, № 6, с. 96.

[8] *Робинсон А. Н.* Солнечная символика в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве: Памятники литературы и искусства XI—XIII веков. М., 1978, с. 41.

[9] При таком истолковании данная фраза может печататься не как отдельное предложение, а через запятую — как продолжение вопроса, начинающегося с «Чему. . .». А. А. Потебня добавил перед «въ полѣ» союз «и». См.: *Потебня А. А.* Слово о полку Игореве: Текст и примечания. 2-е изд. Харьков, 1914, с. 135.

1. Обращение к ветру: *О, вѣтрѣ, чему* (3 раза), *господине* (2 раза), *вѣеши, мычеши, ли, ти* — всего 11.
2. Обращение к Днепру: *О, Днепре, Словутицю, ты* (2 раза), *еси* (2 раза), *възлелѣи, господине* — всего 9.
3. Обращение к солнцу: *слънце* (в позиции обращения), *еси, чему, господине* — всего 4.

Бросается в глаза явная асимметрия: первая и вторая части резко противопоставлены третьей по интенсивности олицетворения.[10] Ослабление олицетворения в третьей части имеет и объективную языковую причину: у существительных среднего рода не было специальной звательной формы. Однако отметим, что в обращении к ветру употреблены трижды «чему» и дважды «господине», к Днепру — дважды «ты» и «еси»: нагнетание этих форм становится в контексте плача ярким проявлением «поэзии грамматики» (Р. О. Якобсон). В обращении же к солнцу ни один маркер олицетворения не повторяется. Все персонификаторы солнца встречаются и в других частях плача, тогда как у ветра и Днепра есть индивидуальные средства олицетворения. В обращениях к ветру и Днепру употреблено вокативное междометие «о», отсутствующее в заключительной части плача; вокатив «Днепре» усилен антропоморфизирующим эпитетом «Словутицю».

Особенно показателен контраст претеритальных форм во второй и третьей частях: в сочетаниях «ты пробилъ еси», «ты лелѣялъ еси» сама избыточность выражения 2-го лица (избыточность выражения вытекает из самой природы грамматического значения)[11] становится средством усиления олицетворения. С. П. Обнорский справедливо отметил, что «здесь вставка местоимения *ты*, эмоционально подчеркнутого во фразе, вызвана стилистическими условиями».[12] В третьей же части — аорист, у которого не различаются формы 2-го и 3-го лица, без субъекта: оппозиция *перфект/аорист* из грамматической превращается в лингвопоэтическую.

Интересно проследить различные пути перевода финала плача. Мы подвергли сравнению 28 художественных переводов и переложений данного места;[13] из них в 22 — плач заканчивается личной конструкцией и в 5 — безличной (в переводе А. Степанова построение предложения и пунктуация в обращении

---

[10] Контраст тем более разителен, что разница в объеме частей невелика: 1-я часть — 39 слов, 5 предложений; 2-я часть — 37 слов, 4 предложения (1 сложное); 3-я часть — 29 слов, 4 предложения.

[11] См. об этом: *Бондарко А. В.* Грамматическое значение и смысл. Л., 1978, с. 158—159.

[12] *Обнорский С. П.* Избранные работы по русскому языку, с. 61.

[13] Рассматривались переводы и переложения из следующих изданий: Слово о полку Игореве: Поэтические переводы и переложения / Под общей ред. В. Ржиги, В. Кузьминой, В. Стеллецкого. М., 1961; Слово о полку Игореве / Вступит. статья Д. С. Лихачева; Сост. и подгот. текста Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева; Примеч. О. В. Творогова и Л. А. Дмитриева. Л., 1967 (Б-ка поэта. Больш. сер.); Слово о полку Игореве / Сост. А. Е. Тархов; Науч. ред. В. В. Колесов; Коммент. А. Чернова. М., 1981.

к солнцу не позволяют точно квалифицировать конструкцию — налицо синтаксическая двуплановость). Некоторые переводчики трансформируют финальную фразу в личную конструкцию, причем персонификация *жажды* и *туги* выступает в этом случае особенно ярко, ср.: «Жажда луки с тетивами / иссушила в их руках...» (И. Козлов); «Луки жажда им согнула...» (А. Прокофьев). В ряде переводов (12) ослабление олицетворения солнца (по сравнению с ветром и Днепром) выражено эллипсисом обращения «господине». Многие авторы акцентировали вопросительный характер конструкции — сделали ее полной, добавив вопросительные «к чему» (неизвестный автор XVIII в.), «что» (В. Жуковский), «для чего» (К. Бальмонт), «зачем» (Н. Заболоцкий, С. Ботвинник), «отчего» (В. Соснора); некоторые переводчики «восстановили» и обращенное к солнцу «ты» (К. Бальмонт, Н. Заболоцкий, В. Соснора).[14] Эти вставки вызваны также тем, что в дословном переводе сохраняется двуплановость оригинала: средний род у *согнуло* и *заткнуло* может быть связан как с субъектом *солнце*, так и с семантикой безличности (таким образом как бы компенсируется омонимия форм аориста). В отдельных случаях переводчики заменяют прошедшее время на настоящее, в формах которого выражено значение 2-го лица: «томишь», «сушишь-гнешь», «замыкаешь» у А. Майкова; «сушишь», «затворяешь» у К. Бальмонта; «сводишь», «жжешь» у С. Городецкого. Напротив, И. Новиков, иначе трактующий конструкцию, противопоставляет в обращении к солнцу личный вопрос с глаголом настоящего времени «простираешь» (вместо «простерло») безличному финалу с формами *стянуло, согнуло.*

Максимальное усиление олицетворения слова среднего рода состоит в том, что имени не только приписывается значение пола (в данном случае — мужского), но и оно меняет свою родовую характеристику.[15] Именно так переведено обращение к солнцу В. Стеллецким («простер», «согнул», «замкнул») и В. Соболевским; ср. также ритмический перевод Р. О. Якобсона: «Зачем, государь, ты *простер* свой знойный луч на воинов милого моего и в поле безводном *иссушил* им жаждою луки, кручиной *сомкнул* им колчаны?»[16] В этом аспекте исключительный интерес представляет точка зрения Л. А. Булаховского: «Уже относительно давно в науке отмечена отраженная в церковно-славянских текстах тенденция заменять формами прошедшего сложного (перфекта) прежде всего формы второго и третьего лица единственного числа аористов, где из-за совпадения обеих форм естественно было стремление заменить их формами, различающими эти

[14] См. также обзор разных переводов и толкований первой части фразы: *Барсов Е. В.* Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской дружинной Руси. М., 1889, т. 3, с. 249—250.

[15] Например в «Необычайном приключении...» В. Маяковского: «Я крикнул солнцу „Дармоед! занежен в облака ты...“».

[16] *Якобсон Р. О.* Изучение «Слова о полку Игореве» в Соединенных Штатах Америки. — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 14, с. 121.

лица... Обращает на себя внимание, что в „Плаче Ярославны" рядом с отмеченными перфектами, в качестве форм 2 лица единственного числа выступают также аористы *развѣя, простре, сътпряже, затче.* Тут, конечно (его нельзя не учитывать), мог иметь и, наверное, имел место известный момент произвольности (при развѣя), но, может быть, следует посчитаться здесь также и с тем, что могло заявить о себе в произведении, сугубо эстетически обработанном с четко выступающей ролью звучаний: во всем „Слове" нет ни одного употребления форм перфекта типа *реклъ* и под., т. е. с окончанием „согласный+л"... Если так, не исключена возможность, что выбор названных аористов определило стремление автора избегнуть ритмически ему не нравившихся „простьрлъ", „съпряглъ" и „затъкл"ъ».[17] Замечательно то, что, по Л. А. Булаховскому, глаголы не только имеют значение 2-го лица, но и могли стоять в мужском роде — под влиянием обращения «господине», ближе расположенного к ним, чем «солнце». Данная семантико-грамматическая трансформация присутствует и в вольном переложении плача Т. Г. Шевченко:

Святий, огнепний господине!
Спалив єси луги, степи,
Спалив і князя і дружину...[18]

Иначе «преодолен» средний род солнца в переложении М. Тарловского: Ярославна обращается к *свету солнца*; очевидно, такая «грамматическая метонимия» (Е. Курилович) потребовалась автору для более мотивированного соотнесения адресата плача с мужским полом (ср. в этом же переложении: Игорь обращается к *струям Донца*). Маскулинизация солнца может осуществляться также при помощи эпитетов-приложений: «свет» (К. Бальмонт), «светоч» (С. Городецкий).

Как же истолковать рассматриваемую фразу? Данные наблюдения не позволяют, по нашему мнению, дать однозначный ответ. С одной стороны, в обращениях к ветру и Днепру создана определенная семантико-синтаксическая инерция; именно поэтому в финале может быть ослаблено олицетворение (т. е. опущены некоторые показатели обращения) — заданная схема в сознании читателя накладывается на эллиптическую конструкцию. Такое предположение позволяет интерпретировать последнюю фразу как вопрос. С другой же стороны, третья часть резко противопоставлена предыдущим, и дело не столько в эллипсисе (т. е. в законах с о ч е т а н и я), сколько в самом в ы б о р е форм, что позволяет говорить о безличном характере фразы. Мы предполагаем, что автор «Слова» хотел достигнуть структурно-семантической неоднозначности конструкции, мобилизовав для этой цели

[17] *Булаховский Л. А.* «Слово о полку Игореве» как памятник древнерусского языка. — В кн.: Слово о полку Игореве: Сборник исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 141.
[18] *Шевченко Т. Г.* Кобзар. Київ, 1961, с. 546.

различные грамматические средства.[19] Синтаксическая двуплановость согласуется с полисемантизмом фразы: имея формульно-символический характер (важна перекличка с «луци напряжени», «тули отворени» в речи Всеволода),[20] она в то же время является сообщением о конкретном событии (в Лаврентьевской летописи под 1186 г. говорится о том, что в бою половцы отрезали русских от воды и те страдали от жажды). Неоднозначность пронизывает все уровни плача — вплоть до жанрового, где соединились традиции причитаний и языческих заклинаний.[21]

---

[19] И не только грамматические: обращение к солнцу отличается изощренной эвфонической техникой: обилие звуковых повторов, аллитераций; яркая паронимия *лучю—лучи* и, возможно, спрятанная в подтекст паронимия *туга—тугой* (лук), выявленная в некоторых поэтических переводах (С. Городецкий, В. Соснора).

[20] См.: *Мещерский Н. А.* К изучению лексики и фразеологии «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 14, с. 47—48. Добавим, что символическое значение актуализируется благодаря также финальному положению предложения в плаче.

[21] См. об этом: *Адрианова-Перетц В. П.* Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974, с. 109.





А. Д. Михайлов

ОБ ОДНОЙ СТАРОФРАНЦУЗСКОЙ ПАРАЛЛЕЛИ «СЛОВУ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Параллельные, сходные мотивы довольно часто встречаются в двух разных литературных произведениях, порой и хронологически, и географически очень далеко отстоящих друг от друга. Случается, правда, что совпадение мотивов не говорит о данных памятниках ничего, чаще же — говорит о многом: о непосредственной зависимости одного произведения от другого, о принадлежности обоих к одному и тому же жанру, к одной и той же или близким эпохам, к одной и той же литературной традиции и т. д. Не раскрывая генетических связей памятников и не связывая их достаточно жестко с конкретным литературным рядом, совпадающие или сходные мотивы, обнаруживаемые в двух разных произведениях, помогают, как правило, глубже понять и осмыслить каждое из них.

Поэтому, как нам представляется, было бы полезно сопоставить известную похвалу воинам-курянам, вложенную в «Слове о полку Игореве» в уста князя Всеволода, с одним старофранцузским текстом, находящимся в рукописи F. fr. 837 (anc. 7218) Парижской национальной библиотеки (f. 222 v° — 223 r°).

Прежде чем обратиться к интересующему нас тексту, скажем несколько слов о содержащей его рукописи. Это внушительных объемов пергаменный кодекс (362 л.) размером 315×210 мм, в котором текст написан в два столбца по 50 строк в каждом. Датируется рукопись второй половиной XIII столетия (видимо, не ранее июня 1278 г.). Этот кодекс был известен исследователям давно: отдельные из входящих в него произведений публиковались уже в середине XVIII в. К нему обращались и обращаются постоянно, о нем спорят, указывая, что для одних произведений он может служить вполне надежным источником текста, для других же — нет. Не приходится удивляться, что рукопись была издана факсимильно[1] (нам приходилось видеть это издание, но не

[1] *Omont H.* Fabliaux, Dits et Contes en vers français du XIIIe siècle; Fac-similé du manuscrit français 837 de la Bibliothèque Nationale. Paris, 1932.

было возможности детально его изучить). Все включенные в рукопись произведения — стихотворные. Вместе с тем состав кодекса весьма пестр: тут и небольшие куртуазные повести и лэ, и пьески, и дидактические сочинения, и фрагменты («бранши») знаменитого «Романа о Лисе», и сатирические произведения таких известных поэтов XIII в., как Жан Бодель или Рютбеф, наконец — очень большое число фаблио (по подсчетам Ж. Бедье — 62[2], по подсчетам П. Нюкрога — 59[3]). Поэтому-то рукопись привлекала внимание прежде всего исследователей этого жанра. Содержащиеся в рукописи произведения широко представлены в наиболее полном и ничем пока не замененном издании текстов фаблио, осуществленном в 1872—1890 гг. Анатолем де Монтеглоном и Гастоном Рейно. Как известно, в это шеститомное издание попали не только произведения, относящиеся к жанру фаблио. Там оказались сатирические «сказы», «споры» и ряд других памятников, которые современные исследователи единодушно не включают в перечень фаблио (в том числе и интересующий нас текст). Между тем наличие подобных псевдофаблио в издании Монтеглона—Рейно не случайно. Подобные произведения несут на себе, как правило, печать сатиричности и отчасти пародийности, они нередко близки к фаблио тематически, хотя из-за своей бессюжетности не могут быть отнесены к этому жанру.

Интересующее нас небольшое (52 строки) стихотворное произведение неизвестного автора, озаглавленное в рукописи «Une branche d'armes»,[4] описывает, бесспорно несколько иронически, образцового молодого воина (оруженосца, благородного юношу), собирающегося стать рыцарем. Прочитаем его, постоянно держа в памяти известное место «Слова». Начало стихотворения особенно близко к древнерусскому памятнику:

Qui est li gentis bachelers?
Qui d'espée fu engendrez,
Et parmi le hiaume aletiez,
Et dedenz son escu berciez,
Et de char de lyon norris,
Et au grant tonnoirre endormis,
Et au visage de dragon,
Iex de liepart, cuer de lyon,
Denz de sengler, isniaus com tygre,
Qui d'un estorbeillon s'enyvre
Et qui fet de son poing maçue,
Qui cheval et chevalier rue
Jus à la terre comme poudre...[5]

---

[2] См.: *Bédier J.* Les Fabliaux. Paris, 1969, p. 440.

[3] См.: *Nykrog P.* Les Fabliaux. Genève, 1973, p. 310.

[4] Recueil général et complet des Fabliaux des XIIIe et XIVe siècles, imprimés ou inédits. Publiés avec Notes et Variantes d'après les Manuscrits par MM. Anatole de Montaiglon et Gaston Raynaud. Paris, 1877, t. 2, p. 130—132. До этого наш текст был напечатан в книге: *Jubinal Ach.* Jongleurs et Trouvères. Paris, 1835, p. 73—74.

[5] Перевод: «Кто юноша-рыцарь? Тот, кто под мечом был рожден, и среди шеломов молоком вспоен, и в собственном щите взлелеян, и мясом

Как и в «Слове», здесь говорится прежде всего о героическом воспитании будущего рыцаря, причем в воспитание это входит не три компонента (что Ф. Я. Прийма считал непременным для народно-эпического памятника[6]), а по меньшей мере пять: он рожден, вспоен молоком, взлелеян, вскормлен и убаюкан. Все это, как и в «Слове», происходит в обстановке военного лагеря (если не похода), которую вряд ли можно считать «естественной».[7] Напротив, здесь подчеркнуты особость, необычность такого воспитания.

В этом перечне заслуживает особого внимания первый компонент («qui d'espée fu engendrez»). Старофранцузский текст допускает здесь несколько толкований (а следовательно, и переводов). В примечании 5 мы дали самый нейтральный, наименее экспрессивный вариант перевода-толкования. Но текст может быть переведен и иначе. Здесь можно увидеть и довольно смелую метафору. Будущий рыцарь появляется на свет с помощью меча, играющего роль повивальной бабки, что вполне согласуется с героическим характером предначертанной ему судьбы. Но метафора может быть еще более смелой и первобытно-грубой: с помощью меча происходит само зачатие ребенка. Видимо, такое толкование данного места текста возможно в двух случаях: во-первых, если перед нами устойчивая метафора, восходящая к достаточно архаичной поэтике (здесь аналогии следовало бы поискать в ранней скандинавской и англо-саксонской поэзии), во-вторых, если мы имеем дело с пародированием более ранних текстов или устойчивых «общих мест».

Мы склонны видеть в данном стихе сознательное обыгрывание многозначности глагола engendrer, что согласуется с нашей мыслью о пародийном характере произведения. Это подтверждается как его достаточно поздней датировкой, так и непосредственным окружением в рукописи. Подтверждается это и последующими стихами, особенно теми, где юный воин сравнивается с дикими зверями — драконом (для Средних веков это был вполне реальный «зверь»[8]), леопардом, львом, вепрем, тигром (а несколько ниже — и ястребом). Сравнения эти нарочиты и шаблонны и явно уступают яркому и лапидарному замечанию «Слова» — «сами скачють акы сѣрыи влъци въ полѣ».

Элементы пародии по мере развертывания текста заметно нарастают. Основным занятием юных воинов оказываются турнирные поединки, ради участия в которых они готовы отправиться за море в Англию или перевалить через высокие горы.

льва вскормлен, и средь страшного грома убаюкан; тот, у кого лицо как у дракона, глаза — как у леопарда, сердце — как у льва, зубы вепря, кто быстр, как тигр, кто упивается вихрем и у кого не кулак, а дубина, повергающая наземь, словно пылинку, и лошадь, и рыцаря...».

[6] См.: *Прийма Ф. Я.* «А мои ти Куряни свѣдоми къмети...». — В кн.: Культурное наследие Древней Руси. М., 1976, с. 60—62.

[7] Ср. там же, с. 63.

[8] См.: *Clébert J.-P.* Bestiaire fabuleux. Paris, 1971, p. 156—170.

В их воинской сноровке совершенно нет интеллектуального элемента, который мы находим у курян («пути имъ вѣдоми, яругы имь знаеми»). Наконец, прямой снижающей пародией является изображение «трапезы» таких воинов:

Ne ne demande autres dragies
Que pointes d'espées brisies
Et fer de glaive à la moustarde,
C'est un mès qui forment li tarde,
Et haubers desmailliez au poivre...[9]

В настоящий момент мы затрудняемся сказать, пародией на какое именно произведение средневековой французской литературы является наш текст. Возможно, при сквозном просмотре всех памятников французской словесности XI—XIII вв. источник этого текста и может быть найден. Но не исключено, что мы имеем дело с пародией не на конкретное литературное произведение, а на те «общие места» куртуазной поэзии, которые ко второй половине XIII в. начали утрачивать свежесть и оригинальность, становясь объектом пародирования. Не подлежит сомнению, что наш текст вышел из-под пера какого-то клирика, связанного с городом и его культурой, достаточно остраненно воспринимающего культуру «замка». Но даже эта остраненная и пародийная трактовка рыцарских норм и их художественное переосмысление не затушевывают их основы — идеи не просто ранней подготовленности к ремеслу рыцаря, а изначальной предназначенности к нему, что, наверное, и имел в виду князь Всеволод в своей похвале воинам-курянам.

---

[9] Перевод: «Ему не надо других лакомств, кроме острых лезвий разбитых мечей, и самое желанное для него блюдо — это булатные мечи с горчицей и звенья кольчуги с перцем...».





Н. А. Мещерский, А. А. Бурыкин

ПРОБЛЕМА КРИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Вопрос о критическом тексте «Слова о полку Игореве» представляет собой один из наиболее сложных вопросов, связанных с исследованием и изданием этого памятника. Вполне понятно, что текст «Слова о полку Игореве», как и тексты других произведений древней и средневековой литературы, за 600-летний период его бытования в рукописной традиции — с конца XII в. до 1800 г. — мог подвергнуться разнообразным изменениям и искажениям, которые неизбежно возникают при переписке манускриптов.[1] Наличие в «Слове о полку Игореве» многочисленных «темных мест» осознавалось уже его первыми издателями, последующие научные издания «Слова» практически не обходятся без конъектурных поправок в его тексте. Вместе с тем необходимо признать, что подлинно критический текст «Слова о полку Игореве» до настоящего времени не стал достоянием исследователей и читателей, и лишь немногие издания текста «Слова» и специальные исследования каким-либо образом заполняют лакуну в филологическом изучении этого замечательного памятника древнерусской литературы. Здесь можно назвать лишь следующие труды.

1. Книга А. А. Потебни «Слово о полку Игореве» (Воронеж, 1878; 2-е изд. Харьков, 1914) (далее — Потебня). Это издание текста «Слова» по своей ориентации может быть названо гиперкри-

---

[1] Некоторые ученые (Н. К. Гудзий, А. С. Орлов) полагают, что «Слово о полку Игореве» переписывалось редко и его оригинал отделен от дошедшей до издателей мусин-пушкинской рукописи незначительным числом списков. Мы не оспариваем этого утверждения, но надо иметь в виду, что в таком случае писец каждого последующего списка переписывал старую, малопонятную, возможно, ветхую рукопись; при этом вероятность искажения текста значительно возрастает. Надо также иметь в виду, что сами издатели сделали с мусин-пушкинской рукописи несколько копий, которыми пользовались при подготовке печатного текста; эти копии также могли послужить источником искажений текста, особенно в отношении орфографии.

тическим. В нем отмечаются предполагаемые издателем многочисленные лакуны и интерполяции, текст содержит большое количество конъектур. Хотя большинство исправлений текста, предложенных А. А. Потебней, не нашло поддержки у последующих исследователей, это издание до настоящего времени ценно как образец определенного подхода к тексту «Слова».

2. Книга В. Н. Перетца «Слово о полку Игоревім — пам'ятка феодальної України—Руси XII віку» (Київ, 1926) (далее — Перетц). Текст «Слова» в этом издании представлен в виде реконструированной рукописи XV в., которая могла, по мнению В. Н. Перетца, быть протографом мусин-пушкинской рукописи «Слова» (Перетц, с. 39—40, 91). Справочный аппарат этого издания, помимо разночтений из источников текста, сообщает также некоторые конъектуры. Комментарий к тексту «Слова» содержит обзор конъектур, представленных в этом издании практически полным сводом. Хотя исследователи отмечают необходимость составления нового свода комментариев к «Слову о полку Игореве»,[2] высокая научная ценность этого труда заставляет всех специалистов обращаться к нему даже теперь, спустя почти 60 лет с момента его выхода в свет.

3. Статья Л. А. Булаховского «О первоначальном тексте „Слова о полку Игореве“» (ИОЛЯ, 1952, т. 11, вып. 5, с. 439—449).[3] Данная работа содержит весьма информативный обзор отдельных конъектур к тексту «Слова о полку Игореве» и собственные исправления, в отдельных случаях предлагаемые автором. Каждая из обсуждаемых и предлагаемых конъектур сопровождается ее лингвистическим обоснованием.

Названные труды, в особенности две последние работы, систематизируют и делают доступными результаты огромной работы над текстом «Слова о полку Игореве», которая была проделана многими исследователями, принадлежащими к разным научным поколениям. Это позволяет лучше ориентироваться в обширной литературе, посвященной «Слову», тем более что основная масса конъектур к тексту памятника содержится в его многочисленных изданиях — специальные статьи, посвященные отдельным «темным местам» «Слова о полку Игореве», стали появляться относительно поздно.

Существенным моментом в подготовке критического текста «Слова о полку Игореве» становится ныне и установление приоритета тех или иных ученых в отношении предложенных исправлений текста. Известны случаи, когда в специальных работах, посвященных дискуссионным чтениям отдельных мест памятника, выдвигаются предложения, повторяющие уже известные ранее конъектуры.

---

[2] См.: *Дмитриев Л. А.* Книга академика В. Н. Перетца «Слово о полку Игоревім — пам'ятка феодальної України—Руси XII віку» (к 50-летию издания). — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 344—350.

[3] Переиздано в кн.: *Булаховский Л. А.* Избранные труды: В 5-ти т. Т. 3. Славистика. Русский язык. Киев, 1978, с. 481—493.

Далека от своего завершения и работа по критике текста «Слова». Некоторые «темные места» до сих пор окончательно не «просветлены» и оставляют возможности для дальнейших разысканий. Отдельные фрагменты текста, имеющие осмысленное прочтение, иногда требуют исправлений по причинам языкового характера. По существу не ставился вопрос о наличии интерполяций в дошедшем до нас тексте «Слова о полку Игореве»: лишь А. С. Орлов упоминает о нескольких глоссах, отмеченных им в мусин-пушкинской рукописи памятника, но его наблюдения могут быть продолжены. В современной литературе по «Слову» практически не обсуждается возможность наличия в тексте лакун — утрат отдельных его фрагментов. Иногда даже хорошо известные конъектуры нуждаются в дополнительных комментариях палеографического и филологического характера.

Задача настоящей статьи заключается в том, чтобы продемонстрировать и обсудить отдельные прочтения и возможные исправления текста «Слова о полку Игореве», вновь привлекая внимание исследователей к проблемам текстологии «Слова». Разделяя осторожность в обращении с этим памятником, на необходимость чего уже неоднократно указывалось,[4] мы все же не считаем возможным оставлять текст «Слова о полку Игореве» в неприкосновенности или даже ограничивать «темными местами» проблематику работы.

Обратимся к тексту «Слова о полку Игореве».[5]

...*начяти старыми словесы трудныхъ повѣстій о пълку Игоревѣ*... (1). В тексте явный пропуск: глагол *начяти* не имеет прямого дополнения, которое требуется по смыслу. Некоторые комментаторы (С. П. Обнорский, В. И. Стеллецкий)[6] видят в словосочетании *трудныхъ повѣстій* форму родительного падежа в значении родительного партитивного, которая зависит от глагола *начяти*. Это, однако, неправдоподобно, а другие примеры, иллюстрирующие употребление родительного партитивного в «Слове», являются сомнительными. Словосочетание *трудныхъ повѣстій* относится к словосочетанию *старыми словесы* и имеет форму родительного падежа принадлежности. Утраченное прямое дополнение при глаголе *начяти* легко восстанавливается по началу следующего предложения: *Начати же ся тъй пѣсни*, из чего следует, что сочинение автора уже было названо ранее, причем на-

---

[4] См., в частности: *Творогов О. В.* Некоторые принципиальные вопросы изучения «Слова о полку Игореве». — Русская литература, 1977, № 4, с. 96—102.

[5] Обсуждаемые фрагменты текста воспроизводятся по первому изданию с указанием страниц в скобках: Ироическая пѣснь о походѣ на половцовъ удѣльнаго князя Новагорода-Сѣверскаго Игоря Святославича. М., 1800.

[6] *Обнорский С. П.* Слово о полку Игореве. — В кн.: *Обнорский С. П.* Избранные работы по русскому языку. М., 1960, с. 66 (далее — Обнорский); *Стеллецкий В. И.* Комментарий. — В кн.: Слово о полку Игореве («Сокровища древнерусской литературы») / Под ред. Филина Ф. П. М., 1981, с. 239 (далее — Стеллецкий).

звано именно *песнью*, иначе в тексте не было бы указательного местоимения *тъй*.

Помняшеть бо речь първыхъ временъ усобіцѣ (3). Обычно предлагаемое и встречающееся во многих изданиях исправление *речь* на *рече* с рассмотрением полученной глагольной формы (аорист 3 л. ед. ч.) как вводного слова, по нашему мнению, избыточно. Существительное *речь* выступает здесь как прямое дополнение при глаголе *помняшеть*. Отметим, правда, что при таком чтении написание *речь* в данном случае будет отражать смешение *ѣ* и *е*, однако на такую мену гласных в мусин-пушкинской рукописи «Слова» обратил внимание Л. А. Булаховский.[7]

...*иже истягну умь крѣпостію своею, и поостри сердца своего мужествомъ* (5). Неясны грамматические связи внутри фразы. В. И. Стеллецкий считает, что *поостри сердца* — это, как и в случае с *трудныхъ повѣстій*, родительный партитивный (Стеллецкий, с. 239), что невероятно (ср. рядом *умь* в форме винительного прямого объекта). Наиболее приемлемым из объяснений и переводов этого места представляется указание А. А. Потебни на то, что форма *умь* употребляется в качестве объекта одновременно при двух глаголах, а форма *сердца* зависит от формы *мужествомъ* (родительный принадлежности). Перевод «...который выпрямил ум твердостью своей и наострил (его) мужеством своего сердца» наводит на мысль о том, что в тексте могло быть пропущено энклитическое местоимение. Восстанавливаемый текст: *и поостри й сердца своего мужествомъ* отвечает нашему переводу, а искажение его объясняется, как и во многих других случаях, гаплографией.[8]

Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты. ...а любо испити шеломомь Дону (5—6). Как известно, многие исследователи — А. И. Соболевский, В. Н. Перетц, Н. К. Гудзий, И. П. Еремин, Б. А. Рыбаков — считают, что данный отрывок текста находится не на своем месте, и переставляют его далее, после первого употребления формулы *ищучи себѣ чти, а князю славѣ* (8). Такая перестановка обосновывается соображениями композиционного характера и объясняется тем, что данный фрагмент текста мог быть написан на одном листе рукописи, а впоследствии выпавший лист попал не на свое место. Однако, во-первых, предлагаемая перестановка не восстанавливает строго хронологической последовательности событий и не спасает от того, что о солнечном затмении в «Слове» говорится дважды (далее *Солнце ему тьмою путь заступаше*); во-вторых, аргументы палеографического характера неубедительны: в реконструкции В. Н. Перетца получается, что данный отрывок зани-

---

[7] *Булаховский Л. А.* «Слово о полку Игореве» как памятник древнерусского языка. — В кн.: *Булаховский Л. А.* Избранные труды, т. 3, с. 442 (далее — Булаховский).

[8] О том, что большинство ошибок в тексте «Слова» — результат описок гаплографического характера, см.: *Булаховский Л. А.* О первоначальном тексте..., с. 481, 493.

мает не лист, а одну сторону листа (см. Перетц, с. 97). Предположение, что последовательность текста «Слова» могла быть нарушена не в результате выпадения листа, а в результате пропуска страницы при переписке, останется недоказанным. Считаем, что данная перестановка является недостаточно аргументированной, и не можем принять ее.

Пѣти было пѣсь Игореви, того (Олга) внуку (6). Форма *Олга* в скобках — вероятно, добавление издателей, отражающее их собственное понимание текста. Однако, скорее всего, здесь речь идет о самом Бояне, названном далее Велесовым внуком.

...свистъ звѣринъ въ стазби (9). То, что в первом издании явно ошибочно словоделение, не вызывает сомнений. Единодушно признается, что следует читать *свистъ звѣринъ въста...* Вслед за Н. С. Тихонравовым, В. Н. Щепкиным, А. С. Орловым мы считаем, что следующее далее *зби* — это внесенная в текст маргиналия «зри», стоявшая на полях какой-то рукописи «Слова» и относившаяся к слову *дивъ*. «Перевернутое» *р*, сходное с *б*, характерно для скорописных почерков конца XVI—начала XVII в. — того времени, которым обычно датируется мусин-пушкинская рукопись «Слова о полку Игореве». Напомним, что мусин-пушкинский сборник, содержавший «Слово», не мог быть составлен ранее 1617 г.[9] Из иных исправлений этого места заслуживает упоминания изящная конъектура В. Ф. Ржиги *ста близъ*.[10]

Уже бо бѣды его пасетъ птиць: подобію... (9). Исправление *по дубію* с изменением пунктуации первого издания, безусловно, должно быть принято. Искажение текста легко объясняется: в диграфе *оу* не был выписан второй знак. Чтение П. В. Владимирова и В. А. Яковлева *подъ облакы*, основанное на соответствующем месте «Задонщины» (см. Перетц, с. 176), плохо согласуется с астрономическим временем описываемых событий. В данном отрывке действие происходит ночью, следовательно, скорее всего, птицы сидят на деревьях, а не летают под облаками.

...влъци грозу въ срожатъ, по яругамъ (9). Даже после того, как Л. А. Булаховский привел к форме *въсрожатъ* параллель из польского языка (Булаховский, с. 483), а В. А. Козырев отыскал в брянских говорах лексему *всрашить* «разбередить»,[11] продолжает привлекать к себе внимание конъектура И. М. Снегирева и Ф. Е. Корша *ворожатъ*. Искажение текста могло возникнуть вследствие того, что в мусин-пушкинской рукописи «Слова» или ее непосредственном оригинале слово *ворожатъ* было написано с омегой и неверно прочитано переписчиком мусин-пушкинской рукописи или ее издателями.

---

[9] *Творогов О. В.* К вопросу о датировке мусин-пушкинского сборника со «Словом о полку Игореве». — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 137—138.

[10] *Ржига В. Ф.* Из текстологических наблюдений над «Словом о полку Игореве»: что такое «въ стазби»? — В кн.: Слово о полку Игореве. М.; Л., 1950, с. 188—191.

[11] *Козырев В. А.* Словарный состав «Слова о полку Игореве» и лексика современных русских народных говоров. — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 96.

Гзакъ бѣжитъ сѣрымъ влъкомъ, Кончакъ ему слѣдъ править къ Дону великому (11). Появление половецкого имени *Гзакъ* в форме с конечным *-къ* представляет собой одну из загадок текста «Слова», так как подобная форма в летописях не встречается. К. Г. Менгес полагает, что вариант *Гзакъ* появился в тексте «Слова» под влиянием аналогии с именами *Кончакъ, Кобякъ*.[12] Однако, по-видимому, в этом месте текста такой вариант мог появиться и по другой причине — в результате повторения предлога *къ* из словосочетания *къ Дону великому* из-за пропуска строки рукописи при переписке. Предлог *къ* отстоит от имени *Гза/Гзакъ* на 41—42 знака: весьма вероятно, что длина строки одного из протографов мусин-пушкинской рукописи «Слова о полку Игореве» была равна 42—44 знакам (подробнее см. ниже).

Рускыя плъкы отступиша (13). Перевод первого издания «войско русское подалось назад» ошибочен, ошибочна и его пунктуация. Форма *плъкы* — это форма не именительного, а винительного падежа. Издатели, по-видимому, не вполне верно прочитали написание *оступиша* с омегой, приняв последнюю за лигатуру «от», или эта лигатура в данном случае имелась в рукописи на месте омеги.

...*звонъ слыша давный великый Ярославь сынъ Всеволожь: а Владимiръ по вся утра уши закладаше* (15). Из текста невозможно понять, о каком именно историческом лице здесь идет речь: оба имени стоят в форме притяжательных прилагательных. Мнения комментаторов здесь разделились. Одни вслед за Н. Ф. Грамматиным и П. Бутковым читают: ...*Ярославъ, а сынъ Всеволожь Владимiръ*... (М. А. Максимович (1837), А. А. Потебня, В. Н. Перетц, Д. С. Лихачев). Другие — И. М. Снегирев, Д. Н. Дубенский, М. А. Максимович (1859), П. П. Вяземский, О. Огоновский, Вс. Миллер, Н. С. Тихонравов, Е. В. Барсов, Ф. Е. Корш, А. С. Орлов, И. П. Еремин, В. И. Стеллецкий, Л. А. Дмитриев, О. В. Творогов — читают: *Ярославль сынъ Всеволодъ*. Второе чтение нам представляется бесспорным. В летописном некрологе («Повесть временных лет» под 1093 г.) Всеволод Ярославич назван великим: «...преставися великый князь Всеволодъ, сынъ Ярославль, внукъ Володимерь...». Таким образом, Всеволод Ярославич является вторым после Ярослава Мудрого киевским князем, которого летопись именует великим. Княжение Всеволода Ярославича — это период интенсивных княжеских междоусобиц, а именно о них идет речь в рассматриваемом отрывке «Слова о полку Игореве» далее. Известно, что Ярослава Мудрого в это время уже не было в живых, а видеть здесь «поэтическую вольность» автора «Слова» мы не считаем возможным.

Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе, и на канину зелену паполому постла за обиду Олгову, храбра и млада князя

---

[12] *Менгес К. Г.* Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979, с. 115.

(15—16). Править форму *на Канину,* заменяя ее формой *на Канинѣ* (Стеллецкий, с. 95), думается, нет необходимости, так как формы местного падежа на *-у* возможны. Сложнее разобраться в синтаксических связях внутри этой фразы. Получается, что если дополнением при глаголах *приведе* и *постла* является словосочетание *Бориса Вячеславлича,* то слова *зелену паполому* просто выпадают из текста. Если дополнением при глаголе *постла* является словосочетание *зелену паполому,* то теряется всякая, даже смысловая, связь между двумя простыми предложениями: «А Бориса Вячеславича слава на суд привела и на Канине зеленый плащ постлала». Возможны две поправки: «*и на Канину* на *зелену паполому постла*», т. е. «и на Канине на зеленый плащ (его) разостлала» либо «*и на Канину зелену паполому* ему *постла*». В обоих случаях можно предполагать описки гаплографического характера. Вторая конъектура нам кажется предпочтительнее.

Ничить трава жалощами, а древо стугою къ земли преклонилось (19); ...*древо стугою къ земли прѣклонило* (43). Перевод первого издания «от печали» говорит о том, что издатели опознали в этих контекстах слово *туга.* Исправления «*съ тугою*» стали общепринятыми, но они не обосновывались специально.

Некоторые особенности языка «Слова о полку Игореве» и уже известные заведомые ошибки мусин-пушкинского списка «Слова» заставляют нас предложить иное решение. Во-первых, известно, что в «Слове о полку Игореве» широко употребительными являются формы беспредложного творительного причины — возьмем для примера хотя бы первые части формул *ничить трава жалощами, уныша цвѣты жалобою* и др. Во-вторых, как можно заметить, возвратные глаголы с *ся* в постпозиции довольно редко помещаются в тексте «Слова о полку Игореве» в конце синтагмы — можно отметить только случаи *въсплакашась* (20) и *скратишась* (17). В-третьих, во втором примере *ся* вообще отсутствует. На основании совокупности всех вышеперечисленных фактов можем предложить иное чтение: *древо ся тугою къ земли преклонило.* В таком случае постпозитивное *ся* в первом из примеров может быть результатом такой же описки, как повторение *ся* во фразе *Вежи ся половецкіи подвизашася* (40). Данное чтение в большей степени соответствует языковым особенностям памятника, чем чтение *съ тугою.*

...*плещучи, убуди жирня времена* (19). Поправка А. А. Потебни «упуди», поддержанная В. Н. Перетцем и А. С. Орловым, безусловно, должна быть принята. Обращаем внимание, что другая префиксальная форма того же самого глагола — *роспудити* «распугать, разогнать» также не была опознана: ср. *лебеди роспущени* (9). Искажение текста объясняется прежде всего ошибками рукописи. Скорее всего, обе эти формы были искажены писцом мусин-пушкинской рукописи или каким-то другим переписчиком.

Усобица Княземъ на поганыя погыбе (19). Общий смысл «борьба князей против поганых прекратилась» выявляется не без

труда. Необычная сочетаемость лексем — *Усобица... на поганыя, усобица... погыбе* и форма *княземъ* в значении дательного принадлежности, не характерная ни для «Слова», ни для других древнерусских памятников, наводят на мысль о том, что в данном месте — лакуна или неисправимая порча текста.

А Святъславъ мутенъ сонъ видѣ: въ Кіевѣ на горахъ си ночь съ вечера... (23). Споры вызывает пунктуация: исследователи расходятся в том, куда относится словосочетание *въ Кіевѣ на горахъ* — входит ли оно в авторскую речь или же открывает собой монолог Святослава. Есть все основания читать текст следующим образом: *А Святъславъ мутенъ сонъ видѣ. «Въ Кіевѣ на горахъ си ночь съ вечера одѣвахуть мя, рече...»* Во-первых, при этом чтении не возникает противоречий «Слова о полку Игореве» с известным сообщением Ипатьевской летописи о том, что в данное время Святослава в Киеве не было: «В то же время великый князь Всеволодичь Святославъ шелъ бяшеть в Корачевъ и сбирашеть от Вѣрхнихъ земль вои...», ибо место, где Святослав видит свой вещий сон, оказывается не названным. Во-вторых, погребальный обряд над умершим или погибшим великим князем Киевским, как мы знаем из того же «Слова о полку Игореве», должен был совершаться именно в Киеве (ср. рассказ о погибшем на Нежатиной Ниве Изяславе Ярославиче, который был похоронен в Киеве). Такой порядок слов в предложении, при котором в начале предложения стоит обстоятельство места или времени, для «Слова о полку Игореве» является обычным.

...у Плѣсньска на болони бѣша дебрь Кисаню и не сошлю къ синему морю (23—24). Место очень темное, до сих пор не получившее окончательного истолкования. Наличие в тексте глагольной формы аориста 3 л. множественного числа *бѣша* побуждает принять, как единственно верную, поправку А. А. Потебни *бѣша дебри Киянѣ* (Потебня, с. 81). Уже А. Ф. Вельтман, М. А. Максимович и А. Ф. Гильфердинг исправляли *не сошлю* на *несошася*, что не вызывает возражений. Эти чтения все-таки, думается, можно обосновать палеографически: буква *с* могла быть похожа на вертикальную черту, и написание йотированного *а* оказалось прочитанным как *са*. Достаточно правдоподобным является и предположение, что в мусин-пушкинской рукописи «Слова» начертания ꙗ, *ѣ* (с далеко заходящей влево спинкой) и *ю* были сходны друг с другом.

...два солнца помѣркоста, оба багряная стлъпа погасоста, и съ нимъ молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ, тъмою ся поволокоста. На рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла: по Руской земли прострошася Половци; аки пардуже гнѣздо, и въ морѣ погрузиста, и великое буйство подасть Хинови (25). Со времени М. А. Максимовича слова *и въ морѣ погрузиста, и великое буйство подасть Хинови* переставляются в другое место и помещаются после слова *поволокоста* — самая необходимость перестановки, вызываемая согласованием ряда глаголов друг с другом

по двойственному числу, ощущается весьма явственно. Вполне понятно, что переносимый фрагмент помещался после последней — до образовавшегося разрыва — формы двойственного числа из встретившихся ранее. О причинах возникшей в дошедшем до нас тексте «Слова» перестановки обычно ничего не говорится. Логичнее всего предположить, что последовательность текста оказалась нарушенной в результате пропуска целиком одной строки, которая была вписана позднее, причем эта ошибка переписчика сохранила, таким образом, для нас формат одного из протографов мусин-пушкинской рукописи «Слова». Строка этого протографа насчитывала 42—44 знака (флексия в *подасть* в мусин-пушкинской рукописи была скорее всего написана над строкой, что и послужило причиной появления данного написания вместо закономерного *подаста*). Эти цифры близки тому результату, который был получен при рассмотрении формы *Гзакъ*, и едва ли такое сходство результатов может быть случайностью. Естественно было бы ожидать, что пропущенная строка окажется вписанной в текст после отрывка, равного целому числу строк. Фрагмент, разорвавший текст, если принимать ставшее общепринятым исправление, оказывается меньшим, чем 2 строки рукописи. Напрашивается иное предположение: пропущенная строка рукописи располагалась после слова *погасоста*. Тогда получается, что эта строка была вписана ровно через три строки — от слова *погасоста* до начала возвращаемого на место отрывка насчитывается 134 знака. Восстановленный текст читается так: *два солнца помѣркоста, оба багряная стлъпа погасоста и въ морѣ погрузиста и великое буйство подаста Хинови, и съ нима молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ, тъмою ся поволокоста. На рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла...*

Скорее всего эта ошибка принадлежит писцу мусин-пушкинской рукописи, и следовательно, мы располагаем сведениями о ее непосредственном оригинале. Если бы она принадлежала какому-то из более ранних списков «Слова о полку Игореве», то текст мог бы быть исправлен в отношении грамматических форм, и возникшую путаницу было бы трудно обнаружить.

Олегъ и Святъславъ. Мы должны присоединиться к мнению тех исследователей (А. А. Потебня, С. К. Шамбинаго, А. С. Орлов, И. П. Еремин, Л. А. Творогов, Р. О. Якобсон), которые считают эти имена внесенной в текст глоссой, принадлежавшей одному из списков «Слова», когда имена его персонажей уже не были широко известны. Подобная глосса могла появиться во второй половине XIII в. или позднее, но эти имена должны были присутствовать в восстанавливаемом нами оригинале мусин-пушкинской рукописи, иначе представленные выше расчеты теряют последовательность. Вряд ли эти имена принадлежали оригиналу «Слова» — ведь Олег, младший сын Игоря, не мог принимать участия в походе, так как был еще слишком юн; летописных известий о его участии в походе нет.

А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго и многовои брата моего Ярослава съ Черниговьскими былями, съ Могуты и съ Татраны и съ Шельбиры, и съ Топчакы, исъ Ревугы, и съ Ольберы. Тіи бо бес щитовь съ засапожникы кликомъ плъкы побѣждаютъ, звонячи въ прадѣднюю славу (26—27). Последняя фраза приведенного отрывка вряд ли может относиться к тюркским племенам, находящимся в зависимости от Чернигова, которые перечислены выше. Не совсем ясно также, о какой «прадедней славе» может идти речь. Засапожники — ножи, носимые за голенищем, были оружием русских пехотинцев, но не кочевников-тюрок, которые носили ножи в ножнах у пояса. По-видимому, в тексте лакуна.

Единъ же Изяславъ сынъ Васильковъ... на кровавѣ травѣ притрепанъ Литовскыми мечи. И схоти ю на кровать, и рекъ (34). Последняя фраза лишена какого бы то ни было смысла. Ссылки на то, что *кровать* здесь — символ брачного ложа, часто связываемого в фольклоре со смертью, не заслуживают серьезного внимания, так как подобная аллегория противоречила бы поэтике «Слова». Считаем необходимым принять исправления М. И. Маньковского, Н. К. Грунского и М. В. Щепкиной: *исходи юна кровь, а тъй рекъ*, нашедшие положительную оценку Л. А. Булаховского (Булаховский, с. 486, примеч. 1; 510). Это чтение в наибольшей степени соответствует смыслу всего контекста. Из других конъектур заслуживает внимания основательно забытая конъектура В. Н. Перетца: *и се хоти юна (на) крови ти рече* (Перетц, с. 119). Заметим, впрочем, что в исландских сагах — «Саге о Гисли», «Саге о Греттире» герой перед смертью сам произносит висы — стихотворные строфы, близкие по стилю фразе, сказанной умирающим Изяславом Васильковичем.

Ярославе и вси внуце Всеславли (34). О каком из князей, носивших имя Ярослав, здесь может идти речь, непонятно, Ярослав Галицкий и Ярослав Всеволодович Черниговский в тексте «Слова» уже были названы ранее. М. И. Маньковский и Д. С. Лихачев предложили читать *Ярославли* — «Ярославичи», потомки Ярослава Мудрого, которые здесь все вместе противопоставляются полоцким князьям — внукам Всеслава Полоцкого, потомкам Изяслава, старшего брата Ярослава Мудрого. Наряду с формой *Ярославли* в тексте была возможна и форма *Ярославле*, в этом случае исправление совсем незначительно.

...скочи влъкомъ до Немиги съ Дудутокъ (35). Ввиду того что топоним *Дудутки* до сих пор не имеет определенного приурочения, а указания Н. М. Карамзина на монастырь под Новгородом и Н. П. Барсова на местность под Киевом могут быть основаны на тексте «Слова о полку Игореве» как на историческом источнике, в качестве альтернативного решения принимаем конъектуру Р. О. Якобсона *съду токъ* — «подготовил ток».[13]

[13] *Якобсон Р. О.* Изучение «Слова о полку Игореве» в Соединенных Штатах Америки. — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 14, с. 106, 120.

Хотя формула *дуть ток* в фольклоре пока не обнаружена, сам текст «Слова» может давать основания для ее восстановления. Искажение первоначального текста «Слова» объясняется как диттография — повторение одного и того же слога *ду*.

Аще и вѣща душа въ друзѣ тѣлѣ, нъ часто бѣды страдаше (36—37). В. Ф. Миллер, А. А. Потебня, А. И. Смирнов, Е. В. Барсов, В. Н. Перетц и последующие комментаторы приняли поправку *въ дръзѣ тѣлѣ* «храбром, дерзком, смелом». Л. А. Булаховский пишет: «Если, однако, принять недавно сделанную ссылку на выражение скальдов eigi einhamr „у кого больше одной оболочки", т. е. тела, то данную конъектуру можно оспаривать» (Булаховский, с. 490). Если выражение eigi einhamr означает «оборотень», все же не вполне понятно, почему вещая душа Всеслава помещается в «другом» теле. Отклонить ставшую традиционной конъектуру, думается, было бы преждевременно.

Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божіа не минути (37). *Птицю* здесь явно не подходит: текст лишается смысла. Поправка Л. А. Булаховского *пытьцю* «колдуну» (Булаховский, с. 490) снимает все противоречия.

Комонь въ полуночи. Овлуръ свисну за рѣкою; велить Князю разумѣти (40). После того, как комментаторы отказались от пунктуации первого издания, что само по себе было оправдано, понимание этого места стало затруднительным. Смысловые связи в тексте нарушены: подзывание коня свистом (при уникальном употреблении глагола *свиснути* в переходном значении) вряд ли могло служить условным сигналом, подаваемым Игорю, так как Игорь, находившийся в шатре под охраной половцев, не мог знать, кто именно и зачем свистит за рекой. Принимаем исправление М. И. Маньковского и Л. А. Булаховского *комоньнъ* «конный» (Булаховский, с. 487). Отмеченная выше трудность интерпретации снимается: Овлур, уже с конями, свистит за рекой, подавая условный сигнал Игорю. Искажение первоначального текста, как и во множестве других случаев, объясняется гаплографией.

Князю Игорю не быть (40). Смысл этой реплики ясен, однако текст, как полагает С. П. Обнорский,[14] испорчен, так как формы инфинитива на *-ть* для языка «Слова» не характерны. Предложить какое-либо исправление, по-видимому, невозможно.

...тогда Влуръ влъкомъ потече (41). Варианты имени *Овлуръ/Влуръ* трудно объяснимы с учетом особенностей передачи половецких антропонимов в древнерусских памятниках: известно, что наличие двух согласных в начале слова противоречит законам фонетики тюркских языков. К. Г. Менгес приводит несколько этимологий этого имени,[15] причем при этимологизации в качестве исходного может быть выбран как один, так

---

[14] *Обнорский С. П.* Слово о полку Игореве, с. 59.
[15] *Менгес К. Г.* Восточные элементы..., с. 92—93.

и другой вариант. В любом случае при объяснении одного варианта появление другого останется непонятным. Интересную поправку предложил в свое время Ф. Е. Корш: *тогда (О)влуръ* (см. Перетц, с. 316). Возможно даже, что в каком-то списке могло читаться *тогда Авлуръ...* Хотя здесь исправление не является необходимым для правильного прочтения и понимания текста, считаем, что нарушения орфографии памятника должны находить объяснение и подвергаться правке.

...чайцами на струяхъ, Чрьнядьми на ветрѣхъ (42). А. А. Потебня, а вслед за ним и В. Н. Перетц (Перетц, с. 318) предлагают перестановку слов: *чрьнядьми на струяхъ, чайцами на вѣтрѣхъ*, объясняя свое решение тем, что чайки обычно не плавают, а летают над водой, утки же, наоборот, плавают по воде. Мы не можем согласиться с этой перестановкой, так как ее объяснение верно лишь на первый взгляд. Фраза *чрьнядьми на ветрѣхъ* становится понятной, если иметь в виду, что действие происходит в конце лета или в начале осени, когда утки, собравшись в стаи, начинают лететь к югу. Чайки в поисках добычи действительно летают над мелкими местами с быстрым течением, но тогда, когда они садятся на воду, они держатся крайне осторожно, взлетая сразу же, как только человек приблизится к берегу.

Не тако ли, рече, рѣка Стугна худу струю имѣя, пожръши чужи ручьи, и стругы ростре на кусту? (42). Последние слова явно лишены смысла. Уже М. А. Максимович читал *растрѣна къ усту* (Перетц, с. 320), его поддержали другие комментаторы (Н. С. Тихонравов, В. А. Яковлев, А. В. Лонгинов, С. К. Шамбинаго и др.). Вс. Миллер предложил читать *простре на кусту*, что поддержал и В. Н. Перетц, однако это чтение приемлемо только в том случае, если слово *стругы* понимать как «суда, ладьи». Это малоправдоподобно. Слово *стругы* в значении «струи, потоки» отмечает и сам В. Н. Перетц, приводя примеры из других древнерусских памятников (Перетц, с. 320). Слово *струга* «струя» обычно для южнославянских памятников XVI—XVII вв.[16]

Уношю Князю Ростиславу затвори Днѣпрь темнѣ березѣ (42). Уже П. П. Вяземский и А. А. Потебня исправили *князю Ростиславу* на *князя Ростислава*: ошибка в какой-то рукописи вызвана морфологической аналогией с формой *уношю*. М. А. Максимович, Вс. Миллер, А. А. Потебня читали вместо *Днѣпрь* — *затвори днѣ при темнѣ березѣ*, этого же мнения придерживается М. В. Щепкина. Форма *Днѣпрь* появилась явно под влиянием предшествующего упоминания в тексте Днепра, она нарушает общую картину противопоставления двух рек. Если отнести группу *Днѣпрь темнѣ березѣ* к последующей фразе *Плачется*

[16] *Котков С. И.* Из старых южнорусских параллелей к лексике «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1961, т. 17, с. 68—69.

мати Ростиславля, как иногда читают, то получится, что глагол *затвори* утратил необходимое по смыслу обстоятельство места.

Рекъ Боянъ и ходы на Святъславля пѣстворца стараго времени Ярославля Ольгова Коганя хоти (44). Предложенное И. Е. Забелиным исправление *Ходына* поддерживается большинством современных комментаторов, хотя иногда высказываются и сомнения (М. В. Щепкина, Л. А. Булаховский). Чтение «Ходына» хорошо согласуется с теми формами двойственного числа, которые встречаются далее — *пѣстворца и Ольгова Коганя хоти*. Сомнения исследователей понятны: ничего кроме предположительно восстанавливаемого имени нам о сотоварище Бояна по песенному искусству не известно. Известно, правда, что в древнегерманской поэтической традиции сохранились отголоски исполнения поэтических произведений двумя певцами.[17] В одном из древнеанглийских поэтических памятников — «Видсиде» говорится: «Мы со Скиллингом возгласили / Голосами чистыми / Зычно пред хозяином / Песносказанье наше».[18] Комментарий к этому тексту представляет большой интерес для исследования «Слова о полку Игореве», так как подсказывает нестандартное решение вопроса: интерпретаторы «Видсида» расходятся во мнениях относительно того, кому принадлежит имя Скиллинг — второму исполнителю или же музыкальному инструменту певца.[19] Оставляя вопрос об истолковании текста «Слова о полку Игореве» открытым, чтение *и Ходына* безусловно является наилучшим из предложенных.

...слава Игорю Святъславлича, Буй-туру Всеволодѣ, Владиміру Игоревичу (46). Во-первых, в тексте нарушены грамматические связи: нет согласования отчеств с именами и имени *Всеволодъ* с прозвищем *Буй-туру*; во-вторых, имеются варианты оформления этих форм по Екатерининской копии — *Святъславличь, Всеволоде, Игоревичь*. Вряд ли и отсутствие согласования, и вариантность являются случайными, и простое приведение текста к грамматической норме представляет собой оптимальное решение. Весьма вероятно, что во всех трех случаях мы встречаемся с внесенными в текст глоссами, поясняющими имена и прозвище *Буй-туръ*. Формы, встретившиеся в источниках текста — винительный падеж (кого?), местный падеж (о ком?) и именительный падеж (кто?) вместо требующегося по смыслу дательного, делают данное предположение более чем правдоподобным. Таким образом, текст восстанавливается в следующем виде: *Слава Игорю, Буй-туру, Владиміру*. При этом напрашивается вопрос, какому Владимиру провозглашается здесь «слава» — Владимиру Игоревичу или Владимиру Глебовичу Переяславскому, третьему и последнему из князей, принимавшему участие в бит-

[17] *Стеблин-Каменский М. И.* Древнескандинавская литература. М., 1979, с. 67; *Шарыпкин Д. М.* «Рекъ Боянъ и Ходына». — В кн.: Скандинавский сборник. Таллин, 1973, вып. 18, с. 195—201.

[18] Древнеанглийская поэзия. М., 1982, с. 20 (Сер. «Лит. памятники»).

[19] Там же, с. 259.

вах 1185 г., — вопрос, который имеет принципиальное значение для датировки создания «Слова о полку Игореве» и который заслуживает отдельного обсуждения.

Последний случай заставляет вспомнить еще о некоторых прозвищах и отчествах князей, встречающихся в «Слове». Форма *Осмомыслѣ* в обращении *Галичкы Осмомыслѣ Ярославе* (30) фактически представляет собой форму не звательного, а местного падежа. Предполагать смешение *ѣ* и *е* в формах звательного падежа у нас нет возможности — из 25 случаев употребления звательного падежа в 22 примерах мы находим закономерное *е*, и в трех — *Всеволодѣ* (13), *Осмомыслѣ* (30) и *вѣтрѣ* (38) встречается *ѣ*, которому во всех случаях соответствует в Екатерининской копии *е*. В этих случаях *ѣ* в тексте первого издания мог появиться только из рукописи, так как формы звательного падежа в XVIII в. представляли собой живой факт русской грамматики. Скорее всего, писец Екатерининской копии сознательно или бессознательно исправил «ошибки» рукописи, унифицировав написания. Любопытно, что все три формы, перечисленные выше, повторяют другие наименования или оказываются повторенными (ср. *Яръ туре Всеволодѣ, Осмомыслѣ Ярославе, вѣтрѣ, вѣтрило*) и оказываются как бы избыточными. Прозвище *Осмомыслъ* по другим источникам неизвестно. Нам кажется, что оно могло существовать в узусе читателей «Слова», но едва ли могло попасть в авторский текст. То же, пожалуй, можно сказать и по поводу другого прозвища — *при Олзѣ Гориславличи* (16), которое не соответствует авторскому именованию Олега Святославича, встречающемуся в тексте «Слова» ранее, и которое также является уникальным в отношении этого князя.

Соображения по поводу прочтения и интерпретации отдельных мест текста «Слова о полку Игореве» могут показаться слишком смелыми и излишне скептическими по отношению к дошедшему до нас тексту памятника. Однако при оценке тех или иных поправок к тексту «Слова о полку Игореве» следует принимать во внимание не степень сохраняемости текста, а необходимость предлагаемого того или иного исправления и степень его аргументированности. Задача восстановления авторского текста «Слова» диктуется самой логикой развития науки о «Слове о полку Игореве», и она отнюдь не представляется неразрешимой. Работа по восстановлению текста «Слова» по мусин-пушкинской рукописи, которая иногда считается единственно возможной из задач реконструкции текста «Слова о полку Игореве»,[20] в основном уже выполнена.[21] Текст первого издания «Слова о полку Игореве» с разночтениями по другим источникам уже не может полностью удовлетворить исследователей, тем более — текст без полного свода комментариев, который учиты-

---

[20] См.: *Творогов О. В.* О некоторых задачах изучения «Слова о полку Игореве». — ИОЛЯ, 1975, т. 34, вып. 4, с. 299—300.

[21] См. исследования Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, О. В. Творогова.

вал бы различные точки зрения. Когда такой свод комментариев будет подготовлен, несовершенство текста первого издания с разночтениями по источникам станет очевидным. Идеальным решением проблемы была бы публикация одновременно двух различных текстов «Слова» — текста первого издания с разночтениями по источникам как основания для научной интерпретации текста и восстановленного авторского текста с основными конъектурными поправками, вынесенными в подстрочные примечания, и сводом поправок в комментарии. Опытом такого рода издания может служить издание В. Н. Перетца, с появлением нового подобного издания изучение «Слова о полку Игореве» продвинется далеко вперед.





Э. Я. Гребнева

«СЛОВА ЗАПУТАНЫ»

(к пониманию фразы «Спала князю умь...» в «Слове о полку Игореве»)

Одно из темных, если не самое темное место, в «Слове о полку Игореве» — фраза: «Спала князю умь похоти, и жалость ему знамение заступи искусити Дону великаго».

Первое доказательство неправильности ее прочтения — разнобой в переводах, хотя все они при всех своих различиях варьируют одну и ту же мысль, выраженную в переводе первого издания: «Пришло князю на мысль пренебречь худое предвещание и изведать щастья на Дону великом».[1] Вариант встречаем уже в переводе неизвестного автора конца XVIII в.: «Пришло князю на мысль — желание не скорбеть о затмении солнца, а изведать щастие на Дону великом».[2]

В одних переводах ум (разум) «сгорал», в других «уступал», в некоторых «вспадала мысль», в одних была «страсть», в других — «желание» изведать Дону великого и т. д.

Многочисленны были попытки найти приемлемое решение и сформулировать наконец перевод этой фразы.

Н. М. Дылевский в статье, посвященной специально анализу этого темного места,[3] обобщил поиски и решения всех крупнейших исследователей и переводчиков «Слова» от первых издателей до наших современников и попытался сам сформулировать смысл этой фразы, сделав, как он пишет, на этот раз «некоторые выводы более окончательного характера». Минуя ход его рассуждений, посмотрим выводы: 1) *спала* он рассматривает как существительное (подлежащее); 2) *похоти* — глагол (сказуемое) со значением, близким к современным 'овладеть', 'охватить', 'полонить'; но вносится поправка: это не *похоти*, а *похити* (*по-*

---

[1] Ироическая пѣснь о походѣ на половцовъ удѣльнаго князя Новагорода-Сѣверскаго Игоря Святославича. М., 1800, с. 6.

[2] *Ильинский Л. К.* Перевод «Слова о полку Игореве» по рукописи XVIII в. Пг., 1920, с. 62.

[3] *Дылевский Н. М.* «Спала князю умь похоти» в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Людмил Стоянов: Изследования и статии за творчеството му. София, 1961, с. 317—331.

хыти). «Исходя из всего сказанного по адресу нашего выражения, его структуры и семантики входящих в него слов, находим вполне возможным предложить уже известный и раньше (с небольшими поправками) перевод: „Пыл (пылкость) князю ум полонил (охватил), и жажда (рвение, ревность) отведать Дону великого заступила (превозмогла) у него знамение“».

Перевод как будто бы сформулирован, однако автор после сделанного вывода заявляет: «Мы далеки от мысли об окончательном разрешении задачи» и призывает ученых всего мира «протянуть друг другу руку в достижении общей цели — уяснения оставшихся не до конца понятыми темных мест текста, одним из которых является и „спала князю умь похоти“».

Удивительно то, что при огромном разнобое в понимании отдельных слов (*спала* у одних авторов существительное, у других — глагол, у одних глагол в форме перфекта от *спаднути*, у других — в форме аориста от *спалати*) общий смысл всегда варьирует понимание первого издания, где дан даже не перевод, а переложение смутно понятой мысли.

После Н. М. Дылевского еще одну попытку дать окончательное толкование этого места сделал в 1971 г. В. Ф. Соболевский.[4] Его толкование и перевод сразу же были рассмотрены лингвистом Л. П. Жуковской[5] и отвергнуты как очередная неудачная попытка подменить перевод своим толкованием. Однако и Л. П. Жуковская, предложив правильный ход анализа такого запутанного текста, никакого положительного вывода не сделала, ибо сама же нарушила свои принципы анализа. Первый и главный из этих принципов — «правильное и единственно возможное вычленение каждой переводимой фразы из окружающего текста». Но выдвинув правильное положение, Л. П. Жуковская традиционно вычленила рассматриваемую фразу, а поэтому дальше уже не могла преодолеть порочный круг, в который попадали и все исследователи до нее.

Очень много думал над этой фразой и А. С. Пушкин. В его набросках комментария к «Слову о полку Игореве» отразились эти раздумья: «„Спала Князю умь похоти, и жалость ему знамение заступи, искусити Дону великаго“. — *Слова запутаны*»[6] (курсив наш. — *Э. Г.*). А. С. Пушкин рассматривает перевод первого издания, взяв в скобки слова, которых нет в оригинале: «Пришло князю на мысль пренебречь (худое) предвещание и изведать (счастия на) Дону великом» и далее размышляет над словом «заступить»: «...заступить имеет несколько значений: омрачить, помешать, удержать». Пушкин пробует сам несколько вариантов и среди них такой: «Пришлось князю, мысль похоти

---

[4] *Соболевский В. Ф.* К вопросу об истолковании фразы «Спала князю умь похоти» в «Слове о полку Игореве». — ИОЛЯ, 1971, т. 30, вып. 3, с. 249—255.

[5] *Жуковская Л. П.* Два замечания о методике изучения «Слова о полку Игореве». — ИОЛЯ, 1971, т. 30, вып. 3, с. 249.

[6] *Пушкин А. С.* Собрание сочинений: В 10-ти т. М.; Л., 1949, т. 7, с. 508.

и горесть знамение ему омрачило, удержало». Словом «удержало» Пушкин переводит «заступи», а «горесть» — эквивалент к слову «жалость». Записи Пушкина о «Слове» скупы и отрывочны, сохранилось много его пометок на переводе А. Вельтмана и писарской копии перевода В. А. Жуковского, которые говорят о том, как много и напряженно думал поэт об этом предмете.

Свидетельства современников подтверждают, что в последние месяцы жизни Пушкин особенно много думал и говорил о «Слове» с разными людьми. В мае 1836 г. А. С. Пушкин был в Москве и в это время встречался с А. Ф. Малиновским, который оставался единственным еще живущим участником первого издания «Слова» и поэтому особенно, видимо, интересовал поэта.

Тогда же, 15 мая 1836 г., И. М. Снегирев, профессор классической филологии, этнограф и археограф, записал в своем Дневнике: «Утром я был у А. С. Пушкина, который обещался написать разбор моих Пословиц и меня приглашал участвовать в „Современнике" с платою 150 рублей за лист; просил сообщить ему мои замечания на Игореву песнь, коею он занимается как самородным памятником русской словесности. Со мною прочел он 3-й лист Русских праздников, кои просил для помещения в „Современнике" своем».[7] Как видим, Пушкин интересовался мнением Снегирева о «Слове», они, видимо, обсуждали текст и толкования к нему — «замечания на Игореву песнь». Пушкин приглашал Снегирева принять участие в «Современнике» и одобрил труды Снегирева по этнографии, так как хотел их публиковать в «Современнике». Видимо, между ними не возникло разногласий, так как Снегирев и его мнения были приемлемы для Пушкина.

Очень ярко рисует увлеченность Пушкина «Словом» А. И. Тургенев, человек, который был особенно близок к Пушкину в последние, трагические дни его жизни. И в это время целые вечера посвящал Пушкин разговорам о «Слове». Подробно писал об этом А. И. Тургенев своему брату Николаю в Париж 13 (25) декабря 1836 г.: «О песне о полку Игореве переговорю с Пушкиным, который ею давно занимается и издает с примечаниями. Между тем посылаю две статьи о ней, напечатанные недавно в Журнале нар. просв. Передай их Эйхгофу и скажи ему, что постараюсь еще кое-что о ней доставить и самую песнь. Справлюсь о лучшем немец. переводе». А затем, придя от Пушкина, А. И. Тургенев дописывает: «Полночь. Я зашел к Пушкину справиться о песне о Полку Игореве, коей он приготовляет критическое издание. Он посылает тебе прилагаемое у сего издание оной на древнем русском (в оригинале) латинскими буквами и переводы Богемский и Польский; и в конце написал и свое мнение о сих переводах. У него случилось два экземпляра этой книжки. Он хочет сделать критическое издание сей песни,

---

[7] Русский архив, 1902. кн. 3. № 10, с. 170—171.

в роде Шлецерова Нестора, и показать ошибки в толках Шишкова и других переводчиков и толкователей; но для этого ему нужно дождаться смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикою, а других смехом. Три или четыре места в оригинале останутся неясными, но многое пояснится, особливо начало. Он прочел несколько замечаний своих, весьма основательных и остроумных: все основано на знании наречий славянских и языка руского»[8] (разрядка наша. — *Э. Г.*). В конце Тургенев добавляет еще любопытную подробность: «Я провел у них весь вечер в умном и любопытном разговоре и не поехал на бал к Щерб». А вернувшись от Пушкина, все еще был полон мыслей об этом разговоре и под их впечатлением писал брату.

И. П. Сахаров, фольклорист и этнограф, за три дня до дуэли Пушкина был у него с Л. А. Якубовичем и вспоминает об этом: «Пушкин горячо спорил с Якубовичем и спорил дельно. Здесь я слышал его предсмертные замыслы о „Слове Игорева полка" — и только при разборе библиотеки Пушкина видел на лоскутках начатые заметки».[9]

О том, что Пушкин очень основательно готовился к анализу «Слова о полку Игореве», говорит его библиотека. «Пушкин имел почти без исключения все существовавшие тогда переводы „Слова" (вплоть до стихотворных). Среди них обращает на себя внимание экземпляр „Слова о полку Игореве", изданного в Праге Вячеславом Ганкой с его переводами текста на чешский и немецкий языки. Вероятно, по этому экземпляру должна была вестись Пушкиным основная работа, так как в книгу вплетены были листы для заметок. Сверх того насчитываем мы до пятнадцати словарей и грамматик разных славянских языков. Как видно по некоторым пометам Пушкина на переводе „Слова" Жуковского, Пушкин сопоставлял трудные слова с польскими, чешскими и даже немецкими словами».[10]

Защищая от нападок скептиков подлинность и древность «Слова», Пушкин отмечал особенности его лексики: «Кто с таким искусством мог затмить некоторые места из своей песни словами, открытыми впоследствии в старых летописях или отысканными в других славянских наречиях, где еще сохранились они во всей свежести употребления? Это предполагало бы знание *всех* наречий славянских».[11] Поэтому естественно, что при работе над «Словом» Пушкин пришел к необходимости славянских сопоставлений.

В начале января 1837 г. Пушкин беседовал с А. М. Коркуновым, археографом, тогда преподавателем Московского университета, впоследствии академиком, который по поручению П. А. Вя-

---

[8] Цит. по: *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. М.; Л., 1928, с. 278.

[9] Цит. по: *Цявловский М. А.* Пушкин и «Слово о полку Игореве». — Вестн. АН СССР, 1949, № 4, с. 65.

[10] См. там же, с. 66.

[11] *Пушкин А. С.* Собрание сочинений: В 10-ти т., т. 7, с. 503—504.

земского после гибели поэта сообщал М. П. Погодину о сохранившихся в бумагах Пушкина неизданных произведениях.[12] Вспоминая эту беседу, Коркунов писал: «Его светлые объяснения древней „Песни о полку Игореве" если не сохранились в бумагах, — невозвратимая потеря для науки».[13]

Известно, что́ осталось в бумагах Пушкина: начальный этап большой работы, какие-то мысли, наброски, отметки, на которые потом следовало обратить внимание. А концепция памятника, видимо, развивалась Пушкиным в устных беседах, где он, убеждая собеседников, убеждал и самого себя, и эти мысли вслух были «светлые», потому так увлекали его собеседников и слушателей. Устные беседы оставили у их участников, как мы видим по воспоминаниям, яркое впечатление, но воспоминания не передают конкретных подробностей, которые нас так интересуют.

Но все же, может быть, что-нибудь осталось, отразилось где-то?

В этой связи обращает на себя внимание одна малоизвестная публикация текста «Слова о полку Игореве» (без перевода).[14]

История этого сборника такова: 12-го декабря 1836 г. И. М. Снегирев записал в Дневнике: «Был в заседании Общества Истории и древностей Российских, где представил от М. Я. Диева о вирах и предложил напечатать 2-е издание Сказания о Мамаевом побоище и Слово о кончине Великого Князя Дмитрия Донского. Предложение было принято Обществом».[15] В дневниковой записи И. М. Снегирева и упоминания нет о печатании в сборнике «Слова о полку Игореве», однако в первой книжке Русского исторического сборника за 1838 г. оно напечатано на третьем месте после двух названных произведений о Дмитрии Донском, а на титульном листе к названиям двух первых произведений добавлено мелким шрифтом: «и Слово о плъку Игоревѣ».

Эти обстоятельства наводят на мысль, что решение печатать в сборнике и «Слово о полку Игореве» было принято позднее, уже после кончины Пушкина. На титуле книги есть и такая запись: «По определению Общества. 1838 года Декабря 10 дня. Секретарь М. Погодин». Но из Дневника И. М. Снегирева нам известно, что такое решение было принято два года назад — 12 декабря 1836 г., но без «Слова о полку Игореве». Следовательно, это «определение» было новое.

Известно, что М. Погодин, историк, профессор Московского университета, одно время бывший в близких отношениях с Пушкиным, очень тяжело переживал смерть поэта. «„Пушкин, наш славный Пушкин — погиб, — писал П‹огодин› чешскому славису П. Шафарику 21 февр. 1837. — Потеря сия невозвратима для литературы русской. Он первый наш народный поэт". П‹огодин›

[12] См.: *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. Л., 1975, с. 195.
[13] Цит. по: *Цявловский М. А.* Пушкин и «Слово о полку Игореве», с. 65.
[14] Русский исторический сборник, 1838, т. 3, кн. 1, с. 107—128.
[15] Русский архив, 1902, № 10, с. 186.

резко осудил Дантеса («поганый бродяга») и выразил беспокойство о судьбе наследия Пушкина».[16]

Так может быть решение о печатании «Слова о полку Игореве» в Русском историческом сборнике было продиктовано стремлением сохранить хоть что-то из устного наследия Пушкина? Ведь о «Слове» с Пушкиным говорил И. М. Снегирев, издающий сборник. Ему известны были суждения Пушкина о «Слове», слышанные им в разговоре 15 мая 1836 г.

На эти детали приходится обращать внимание, потому что ни до Снегирева, ни после него подобным образом «Слово о полку Игореве» не издавалось. Что же особенного в этом издании?

Снегирев издал «Слово о полку Игореве» без перевода на современный язык и сопроводил его небольшим комментарием, обосновывающим те или иные написания. Изменения им внесены в основном пунктуационного характера и объясняются они всегда словами «как того требует смысл» или, говоря иными словами, Снегирев, исправив пунктуацию, тем самым дал иное прочтение ряда мест памятника. Изменено написание некоторых предлогов: в издании 1800 г. было *къ мети*, у Снегирева — *къмети*; *похоти* он разделил — *по хоти*, тоже с объяснением — «по смыслу». Но главное — Снегирев изменил пунктуацию. И вот рассматриваемое нами темное место, над которым ломали головы столько лет, в его издании на с. 108 написано следующим образом: «Спала князю умь по хоти, и жалость ему знамение заступи. „Искусити Дону великаго хощу бо, рече, копие приломити конець поля Половецкаго съ вами, Русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомь Дону“».

Примечание: «В первом издании 1800 года напечатано: „похоти“, я разделил здесь на два слова по смыслу; см. ниже, стр. 112: „забыв — хоти“, т. е. жены».

На с. 112, куда для аналогии отсылает Снегирев, речь идет о супруге князя Всеволода, прекрасной Глебовне: «Кая раны дорога, братие, забывъ чти и живота, и града Чрънигова, отня злата стола и своея милыя х о т и красныя Глебовны свычая и обычая?» Кроме того, Снегирев в своих комментариях несколько раз проводит сопоставления с переводом В. Ганки (который, напоминаем, был и у Пушкина), а у Ганки к слову «хоть» есть примечание: «Svoja milýja choti nemůže byti jiné než — своея милыя хоти, т. е. супругы».[17] В чешском языке сохранилось это древнее славянское слово в его первоначальном значении. На этом основании и разделил И. М. Снегирев *похоти* на два слова. На то что *хоть* было синонимом жены еще в XII в., позднее указывал и П. Лавровский.[18]

---

[16] См.: *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение, с. 315.

[17] Igor Svatoslavič. Př. od Václava Hanky. v Praze, 1821, s. 53.

[18] *Лавровский П.* Коренное значение в названиях родства у славян. — В кн.: Сборник статей, читанных в ОРЯС имп. АН. СПб., 1868, т. 2, № 3, с. 8.

Но самое главное, что внес в прочтение этого места Снегирев, — это новое деление на предложения. Точка поставлена «по смыслу», т. е. именно там, где она только и может стоять, — в логическом конце предложения. Ведь как раз слова *искусити Дону великаго,* которые грамматически не связаны с этим предложением, и вносили сумятицу в его истолкование. Вот поэтому Пушкин и сделал свое замечание — «слова запутаны».

На синтаксическую неорганизованность этого предложения в свое время обратил внимание А. А. Потебня, который в комментарии к этой фразе записал: «что-то здесь лишнее», «нет грамматической связи между „похоть“ и „искусити“».[19]

Н. А. Мещерский пытался сделать синтаксический разбор этого предложения, где во второй его части названы последовательно все члены: подлежащее *жалость,* косвенное дополнение в дат. падеже *ему,* прямое дополнение в вин. падеже *знамение*, сказуемое *заступи,* а слова *искусити Дону великаго* в схему не укладываются.[20]

Н. М. Дылевский также пытался добраться до смысла предложения путем использования синтаксического параллелизма. Он построил даже такую схему:

спала	князю	умь	похоти	
и жалость	ему	знамение	заступи	(искусити Дону великаго).[21]

Как видим, и на этой схеме, которая должна была показать синтаксический параллелизм двух частей предложения, эти слова также в схему не укладываются, потому что они отсечены от следующего предложения.

Исправил Снегирев пунктуацию и в других местах памятника, всегда оговаривая свои поправки, и на это обратил внимание Д. Дубенский, упомянув в предисловии к своему изданию «Слова о полку Игореве»: «Снегирев переменил знаки препинания».[22] Но как изменился от этого смысл — на это Дубенский внимания не обратил.

Что же нового внесло прочтение Снегирева?

Страстное желание Игоря достичь Дона великого не отменяется, но только его высказывает сам Игорь в речи к дружине:

Братие и дружино!
Луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти;
а всядемъ, братие, на свои бръзыя комони,
да позримъ синего Дону...
Искусити Дону великаго хощу бо, — рече, —

---

[19] Слово о полку Игореве / Текст и примеч. А. А. Потебни. Воронеж, 1878, с. 17.

[20] Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Л., 1978, вып. 5, с. 200.

[21] *Дылевский Н. М.* «Спала князю умь похоти»..., с. 325.

[22] «Слово о полку Игореве», объясненное по древним письменным памятникам магистром Д. Дубенским. — В кн.: Русские достопамятности. М., 1844, ч. 3, Предисл., с. XXIV.

Комие приломити конець поля Половецкаго,[23]
с вами, Русици, хощу главу свою приложити
а любо испити шеломомь Дону.

А слова «Спала князю умь по хоти, и жалость ему знамение заступи» — это законченное предложение, вставная конструкция, авторский комментарий по адресу князя Игоря, который думал об оставленной супруге — хоти — и поэтому не обратил внимания на зловещее знамение.

В известном споре о том, чем считать форму *спала* — аористом 3 л. ед. ч. от *палати* или перфектом от *спаднути* — Н. М. Дылевский соглашается с доводами Р. О. Якобсона: «Наиболее убедительные доводы, как нам кажется, дает Р. О. Якобсон. Он видит в *спала* аорист от глагола *спалати,* хорошо известного в форме *палати* (без префикса) в древнерусском языке».[24] Аорист видят в этом слове А. К. Югов, В. И. Стеллецкий, Н. А. Мещерский, В. П. Адрианова-Перетц. Л. П. Жуковская в ответе В. Ф. Соболевскому тоже признает, что это может быть аорист, и тогда это слово — сказуемое. Обычно в этом случае ищут второй главный член — подлежащее. По нашему мнению, в этом предложении нет подлежащего, оно безличное. *Князю* — дополнение в дат. падеже, *умь* — прямое дополнение, *по хоти* — тоже дополнение. Возможно ли безличное предложение со сказуемым в форме аориста? Ответ дают памятники древнерусской письменности: в Новгородской летописи по Синодальному списку XIII—XIV вв. под 1143 г. читаем: «И бы вода велика вельми въ Волхове и всюде, сено и дръва р а з н е с е; Озеро м о р о з и въ нощь, и растьрза вѣтръ, и в ъ н е с е въ Волхово, и п о л о м и мост, 4 городнѣ отиноудь безнатбе з а н е с е».[25]

Словосочетание *спала по хоти* тоже имеет аналогии в памятниках письменности да и в самом «Слове о полку Игореве»: «Плачется мати Ростиславя по у н о ш и князи Ростиславѣ»; в Повести временных лет по Лаврентьевской летописи под годом 985: «Ольга же, поимши мало дружины, легъко идущи приде къ гробу его и п л а к а с я п о м у ж и своемъ»; в Галицкой летописи под 1262 г.: «умре княгиня Миндовговая и поча к а р и т и п о н е и... И посла Миндовг по свою свѣсть, тако река: се сестра твоя мертва, а поѣди к а р и т и по своеи с е с т р е»;[26] в летописном рассказе о походе Игоря (по Ипатьевскому списку): «тако нынѣ ж а л о у ю болми п о И г о р ѣ, б р а т ѣ моемь».[27] Эти параллели убедительно показывают, что *спала умь по хоти* — это обычная для древнерусского текста конструкция. В переводе на современный

---

[23] Эта запятая поставлена нами, по смыслу, потому что дальше идет новое предложение.

[24] *Дылевский Н. М.* «Спала князю умь похоти»..., с. 326.

[25] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950, с. 26—27.

[26] Цит. по: *Дылевский Н. М.* «Спала князю умь похоти»..., с. 325.

[27] ПСРЛ. СПб., 1908, т. 2, стб. 645.

русский язык это можно бы выразить приблизительно так: Сжигало князю ум (мыслями, беспокойством) по супруге. *И жалость ему знамение заступи* — вторая часть сложного предложения, смысл которой: и жалость (Пушкин подобрал прекрасный эквивалент — горесть) заслонила ему знамение.

При таком прочтении Снегиреву не понадобилось изменять ни одной буквы в тексте, только переставить точку и написать раздельно *по хоти*. Эти изменения не затрагивают оригинал, а касаются только прочтения в первом издании.

Итак, как нам кажется, И. М. Снегирев еще в 1838 г. нашел выход из заколдованного круга, каким стало это предложение из-за неправильной пунктуации.

Очень возможно, что такое решение было найдено не одним Снегиревым, возможно, его нашел и Пушкин, так как в приведенном выше его варианте данной фразы (*Пришлось князю, мысль похоти и горесть знамение ему удержало*) точка поставлена как раз после слова *удержало*, которым Пушкин перевел *заступи*. И даже если это не было решением Пушкина, то это могло быть согласованное с ним решение И. М. Снегирева, мнением которого интересовался Пушкин.

Если относительно разбираемого предложения мы можем говорить лишь предположительно о точке зрения Пушкина, то безусловно известным является мнение А. С. Пушкина о начале поэмы. Он отрицал вопросительное значение частицы *ли* в словах: «*Не* лѣпо *ли* ны бяшетъ, братие, начати старыми словесы трудныхъ повѣстий о пълку Игоревѣ, Игоря Святъславлича!» Им убедительно показано, что начало Песни все переводчики читают неправильно: «не прилично ли нам было бы?» Такое прочтение находится в противоречии с последующей мыслью: а начаться сей повести по былинам сего времени, а не по замышлению Бояна. Но дадим слово самому Пушкину: «Во-первых, рассмотрим смысл речи. По мнению переводчиков, поэт говорит: Не воспеть ли нам об Игоре по-старому? Начнем же петь по былинам сего времени (то есть по-новому) — а не по замышлению Боянову (т. е. не по-старому). Явное противуречие. Если же признаем, что частица *ли* смысла вопросительного не дает, то выйдет: Не прилично, братья, начать старым слогом печальную песнь об Игоре Святославиче; начаться же песни по былинам сего времени, а не по вымыслам Бояна».[28]

Это убеждение у Пушкина сложилось прочно, он его сформулировал и записал, он подчеркнул в писарской копии перевода В. А. Жуковского это *ли*, давая тем понять, что он не согласен с обычно принятым переводом.

А как в издании И. М. Снегирева? Именно по Пушкину: «Не леполи ны бяшетъ, братие, начяти старыми словесы трудных повѣстий о плъку Игоревѣ, Игоря Святъславлича!» [29] Восклицатель-

---

[28] *Пушкин А. С.* Собрание сочинений: В 10-ти т., т. 7, с. 505.
[29] Русский исторический сборник, т. 3, кн. 1, с. 107.

ный знак здесь подчеркивает, что и намека на вопрос не может быть.

Этот факт, равно как и обстоятельства, связанные с появлением публикации И. М. Снегирева, позволяют предполагать, что чрезвычайное решение, связанное с появлением в Русском историческом сборнике «Слова о полку Игореве», было данью памяти великого поэта со стороны редактора сборника М. П. Погодина и издателя И. М. Снегирева, чтобы сохранить «светлые» мысли Пушкина о «Слове», которые он не успел изложить в связном исследовании.





Э. Я. Гребнева

К ПРОЧТЕНИЮ ТЕМНЫХ МЕСТ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

1

(*Гроза и ночь* в «Слове. . .»)

Самым убедительным доказательством подлинности «Слова о полку Игореве» является его язык, хранящий ряд слов и форм, исчезнувших в русском языке к нашему времени, и сохраняющий древние значения некоторых и ныне живущих слов.

«Других доказательств нет, как слова самого песнотворца. Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под который невозможно подделаться», — писал А. С. Пушкин, возражая скептикам своего времени.[1]

Однако до сих пор еще не в полном объеме вскрыты эти древние значения; особенно это касается тех слов, которые и поныне живут в русском языке, но с другим смысловым наполнением.

Во многом понимание «Слова о полку Игореве» было предопределено первым изданием, которое после утраты рукописи «Слова» приобрело значение оригинала, а перевод первых издателей, местами вольный, местами буквалистский, стал точкой отправления для многих последующих переводчиков. Этот буквализм проявлялся чаще всего там, где древнее слово казалось знакомым и известным.

Так получилось со словом *гроза*, употребленным в памятнике четыре раза. В двух случаях сразу было ясно, что его нельзя понимать в прямом современном смысле — *грозы твои по землямъ текутъ* и *грозою бяшетъ притрепал*, — и здесь *гроза* воспринималась как метафора. В двух же других случаях слово *гроза* воспринималось и воспринимается как изображение грозовой ночи в современном значении: *нощь стонущи ему грозою птичь убуди* и *влъци грозу въсрожать по яругамъ*.

[1] *Пушкин А. С.* Собрание сочинений: В 10-ти т. М.; Л., 1949, т. 7, с. 503.

В древнерусском языке слово *гроза* имело значения: ужас, угроза (Срезневский, I, 595). Слово это — общеславянское, А. Брюкнер относит его к праславянскому словарному фонду,[2] и во всех славянских языках, кроме русского, оно сохранило свое древнее значение — угроза, ужас, страх, трепет,[3] а *гроза* как атмосферное явление в чеш. bouřka, в сербохорв. олуjа, невреме, в польс. burza, в болг. буря.

Принимая во внимание указанные значения слова *гроза* в славянских языках, интересно сопоставить славянские переводы одного хотя бы места — *нощь стонущи ему грозою птичь убуди* — с переводом первого издания: грозная восставшая ночью буря пробуждает птиц.

В 1810 г. переводит «Слово о полку Игореве» на чешский язык Й. Юнгман, не знавший иного перевода, кроме издания 1800 г., но у него читаем: noc stonící (lkající) jemu hrůzou ptactvo probudila — ночь стонами (рыданиями) ему ужасом птиц пробудила.

К. Я. Эрбен в 1869 г. переводит: noc, naříkajíc, hrůzou (svou) zbudila jemu ptactvo — ночь, жалуясь, ужасом пробудила ему птиц.

В переводе Павла Папачка (1926 г.) читаем: noc, stenajíce hrůzou vzbudila mu ptactvo — ночь стонами ужаса возбудила ему птиц.

Польский перевод Августа Белевского (1833 г.): noc obudziła ptactwo (stękające) mu grozą — ночь пробудила птиц, воющих ему от страха.

Сербский перевод М. Светича (Й. Хаджича), 1842 г.:

Па ноћь стенѣ, птице узбуђуе,
Те га страше, грозомъ нападаю. —

а ночь стонет, птиц пробуждает, те его пугают, страхом нападают.

Сербохорватский перевод О. Утешиновича-Острожинского (1852 г.): ноћ стењући њему грозом птице пробуди — ночь стонами ему и страхом птиц пробудила.

Словенский перевод М. Плетершника (1866 г.): noc in stokanje je zbudilo ptice njemu v grozo — ночь и стоны пробудили птиц ему страхом.

Болгарский перевод Р. Жинзифова (1863 г.): А нокь стенкайки, плашейки него, птицы разбуди[4] — а ночь, стеная и пугая его, птиц разбудила.

---

[2] *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1970, s. 159.

[3] *Kopečný F.* Základní všeslovanská slovní zásoba. Praha, 1981, s. 124.

[4] См. переводы: Slovo o pluku Igorově / Ruský text v transkripcí, český překlad a výklady Josefa Jungmanna z R. 1810. Vydal a úvodem opatřil V. A. Francev v Praze, 1932; Dvě spěvů staroruských, O vypravě Igorově a Zadonština / vydal Karel Jaromír Erben v Praze, 1869; Píseň o výpravě Igorově, Igora syna Svjatoslavova, vnuka Olegova / Přeložil a úvod napsal

Эти переводы показывают, что все славянские переводчики восприняли слово *гроза* с точки зрения своего языкового сознания, а так как на всех славянских языках, кроме современного русского, *гроза* — это 'страх', 'ужас', 'трепет', то ни одной грозы или грозной бури в переводах нет, но везде этот страх, трепет и ужас пробуждает «ночь».

Перевод первых издателей был продиктован стремлением сохранить *грозу*, хотя бы в форме *грозная*, а также тем, что кроме *грозы* не видели другого субъекта, который мог бы *убудити* птиц. Но первым издателям хорошо было известно древнее значение слова *гроза*, ибо еще в Словаре Академии Российской (1789—1792), который был в 1800 г. новейшим, первое значение именно это: «приближение опасности, беды», а название атмосферного явления — только четвертое в ряду других.[5] О том, что в начале XIX в. еще хорошо понималось древнее значение слова *гроза*, говорит и перевод Я. Пожарского, где читаем: «Ночь, стоня от страху птиц пробудила» (разрядка наша. — *Э. Г.*).[6]

Однако к нашему времени это древнее значение слова *гроза* отошло на периферию его употребления, а на первое место выступило первоначально переносное значение: страх и ужас (гроза), возбуждаемые грозным явлением природы, передали ему в конце концов и свое наименование. Поэтому для современного читателя «Слова» произведение наполнено грозами, особенно в двух рассматриваемых местах встречаем только такое понимание: это была грозовая ночь. Такое прочтение не вызывало ни малейшего сомнения, ибо переполох, поднявший птиц, тоже рассматривался как результат ночной грозы.

Но когда знакомимся со славянскими переводами, ясно видим, что грозы в нашем современном понимании не было, а был страх и ужас. Значит, не гроза переполошила птиц. А что же? — Ночь. Каким же образом?

Оказывается, никто не учел, что слово *ночь*, которое вообще было вне подозрений в смысле его понятности, имело и иной оттенок значения, ведущий в глубокую древность: латинское nox (noctis) имеет не только значение 'ночь', а одно из его значений — 'темнота, мрак'.[7] Следовательно, таково было значение еще

Pavel Papáček. Praha, 1926; Wyprawa Igora na Połowców / Poemat sławiański wydany przez Augustina Bielowskiego. Lwów, 1833; Пѣсна (Слово) о полку Игоровом (XII века) / с подлиннога Русскога на србский език преведена од Милоша Светића (Иован Хаџић). — In: «Голубица» съ цветомъ књижества србскогъ. у Београду, 1842, IV, с. 148—178; Слово о пуку Игореву, Игора сина Светославова, унука Ольгова / извео Огњеслав Утјешиновић-Острожински (1-е изд. в 1852 г. в журнале «Невен», 2-е в 1871 г. в альманахе «Вила Острожинска», Вена), с. 216—231; *Жинзифов Р.* Слово за полкът Игорев, Игоря, сина Святъславля, внука Олгова / Преведе от староруски язик Р. Жинзифов. — Новобългарска сбирка, М., 1863, с. 7—58.

[5] Словарь Академии Российской. СПб., 1790, ч. 2, с. 354—355.

[6] Слово о полку Игоря Святославича, переложенное Я. Пожарским. СПб., 1819, с. 9.

[7] См. Латинско-русский словарь. М., 1961, с. 453.

индоевропейского корня. О том, что такое значение было известно и в древнерусском языке, свидетельствует подобное его значение, сохранившееся в диалектах и зарегистрированное В. И. Далем: «Ночь — тьма, потемки, темь, темень, темнота, мрак. В чулане ночь, без свечи не видать. В нашем лесу ночь-ночью».[8]

Подобный же пример имеем со словом *зима*, которое в древнерусском языке могло обозначать не только время года, но и состояние холода: «Стояла зима денъ съ шесть. Псков. I лет., 7072» (Срезневский, III, 638). Ясно, что не зима (время года) продолжалась около шести дней, а около шести дней стояли холода (ср. в чешском яз. zima — это и 'зима', и 'холод').

При таком понимании слова *ночь* становится ясно, что речь идет не о темном времени суток, а о затмении солнца, когда ночь (темнота, темень) наступила среди дня.

Летописец, описывая начало похода Игоря, отметил: «На вечеръ же мая 1-го дня (вечер — вторая половина дня, к вечеру. — *Э. Г.*) увидели затмение солнечное, котораго осталось часть, яко луна трех дней (в Ипатьевской летописи: «Игорь же възрѣ въ небо и видѣ солнце, стояще яко месяць»). В рогах его яко угль горячий был, звезды были видимы и в очах было зелено».[9] Так видели затмение 1185 г. его современники.

А вот научное описание явлений, сопровождающих солнечное затмение: «Внезапное наступление темноты в ясный солнечный день (ср. в «Слове»: «тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце») невольно наводит ужас не только на людей, но даже на животных и птиц, которые приходят в смятение (ср.: «нощь грозой ему птичь убуди»). При наступлении затмения небо принимает голубовато-зеленый оттенок и на нем простым глазом можно различать наиболее яркие звезды, температура быстро понижается, ощущаются внезапные порывы ветра».[10]

При сопоставлении этих описаний легко увидеть огромное сходство типичной картины затмения солнца, летописного рассказа и изображения затмения в «Слове о полку Игореве», где слово *ночь* означает 'темень (мрак)', а *гроза* — 'страх (ужас)'.

Такое понимание поддерживается и структурой всего предложения: «Солнце ему тьмою путь заступаше, нощь стонущи ему грозою птичь убуди», которое построено идеально симметрично; субъект — *солнце, ночь*; предикат — *заступаше, убуди*; дополнение в творит. падеже — *тьмою, грозою*; дополнение в вин. падеже — *путь, птичь*; дополнение в дат. падеже — в обоих предложениях — *ему*, что скрепляет воедино всю конструкцию. Из параллелизма этих двух предложений следует, что они рисуют одну и ту же картину, только в развитии. Силы природы явлениями, возбуждающими страх, стараются остановить князя: в первом

[8] *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955, т. 2, с. 557.

[9] *Татищев В. Н.* История Российская. М.; Л., 1964, т. 3, с. 139.

[10] Статья «Затмения». — В кн.: Энцикл. словарь / Брокгауз и Эфрон, 1894, т. 23, с. 329.

предложении солнце путь преграждает, во втором — тьма на страх ему птиц всполошила (возбудила); но этим картина затмения не исчерпывается, она дополняется другими деталями: «свистъ звѣринъ въста, збися дивъ, кличетъ връху древа, велит послушати — земли незнаемѣ, Влъзѣ, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебѣ, Тьмутороканьскый блъванъ».

Итак, мы не склонны видеть в этой строфе «Слова о полку Игореве» описание грозовой ночи, а видим реальную картину затмения солнца.

Второе употребление слова *гроза* — в описании страшной ночи в степи перед встречей с половцами. Нагнетая страшные приметы, предвещающие несчастье, автор изображает хищных птиц и зверей, собравшихся вокруг войска Игоря в предвкушении поживы. Здесь и орлы «клектомъ на кости звѣри зовутъ», и другие птицы собрались и стерегут беды Игоря, лисицы «брешутъ на чръленыя щиты», но еще страшнее — «влъци грозу въсрожатъ по яругамъ».

Что означает слово *въсрожатъ*?

По самым последним данным, это слово первым понял Й. Добровский, который на полях рукописи Ганкиного перевода сделал против слова *въсрожатъ* пометку: «pol. srożyć od srogi». Но эта пометка была неизвестна до октября 1983 г., когда ее обнаружила в архиве Национального музея в Праге Г. Н. Моисеева.

Из русских авторов первым пытался возвести *въсрожити* к польскому srożyć—srogi Я. Пожарский.[11] В 1870 г. С. Гедеонов в книге «Варяги и Русь» вновь высказал предположение, что это слово соотносится с польским srogi. Гипотезу С. Гедеонова поддержал А. С. Орлов,[12] а вслед за А. С. Орловым Л. А. Булаховский.[13] Булаховский дважды[14] возвращался к этому вопросу, почти одинаково формулируя свою мысль: «Высказываю еще одну догадку — слово, может быть, родственно польскому srogi в его значениях „суровый, жестокий, страшный, ужасный“».

К сожалению, ни один исследователь не обратился к польским переводам «Слова о полку Игореве», где это слово трижды (А. Белевский, 1833 г.; А. Брюкнер, 1922 г.; Ю. Тувим, 1928 г.) переведено польским srożyć.

Польское srogi—srożyć соотносится с русским *строгий*, это, собственно, тот же корень, только фонетически видоизмененный вставным *т* между *с* и *р* (ср.: сражение—страженис, срам—страм, сретенье—встреча).[15] Следовательно, слово это не польское, а об-

---

[11] Слово о полку Игоря Святославича, переложенное Я. Пожарским, с. 48.

[12] *Орлов А. С.* Слово о полку Игореве. 2-е изд. М.; Л., 1946, с. 99, 100.

[13] *Булаховский Л. А.* «Слово о полку Игореве» как памятник древнерусского языка. — В кн.: Слово о полку Игореве / Сб. статей под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 151.

[14] *Булаховский Л. А.* О первоначальном тексте «Слова о полку Игореве». — ИОЛЯ, 1952, т. 11, вып. 5, с. 441.

[15] См.: *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego, s. 511.

щеславянское, но в «Слове о полку Игореве» оно сохранилось в своем древнем облике, ибо это вставное *т* более позднего происхождения, в польском же языке оно и по сей день существует в том же древнем фонетическом оформлении: srogi — свирепый, жестокий, srogość — свирепость, жестокость, srożyć się — неистовствовать, свирепствовать;[16] в чешском языке тоже сохранился этот корень: výstraha — предупреждение (грозное). При сопоставлении, таким образом, видим, что объем значений у этого этимона очень велик, но все они выражают сходные понятия: свирепость, жестокость, ярость, строгость, угроза, предупреждение. В применении же к волкам, которые *въсрожатъ*, можно сказать, что они, подняв (таково значение приставки *въс-*) вой, угрожают по оврагам. А гроза как атмосферное явление к волкам не могла иметь отношения.

Но вот есть одно место в «Слове», где речь идет действительно о грозе, хотя и в метафорическом смысле (гроза — сражение): «черныя тучи съ моря идутъ, хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещутъ синии млънии. Быти грому великому, итти дождю стрѣлами съ Дону великаго». Это, конечно, картина грозы со всеми ее признаками, но здесь нет слова *гроза*; «быти грому великому!» — восклицает автор. Действительно, для грозы как атмосферного явления в древности употреблялось слово *гром*, в понятие которого входило все, что сопровождает явление грозы. Об этом свидетельствуют памятники древнерусской письменности: «Зажьже громъ церковь», «Единъ отъ дьякъ зараженъ бысть отъ грома» (Срезневский, I, 597); «И бысть громъ великъ, и тутънъ и дожгь велик и мълния блистание» (Паремийное чтение о Борисе и Глебе).[17] Здесь молния — *мълния*, дождь — *дожгь*, гром — *тутънъ*, и все вместе — это *громъ великъ*, сильная гроза.

Из всего сказанного следует, что ни одной грозы в современном понимании этого слова в «Слове о полку Игореве» не было, а слово это употреблено в его древнейшем значении, так же, как и «ночь», и «гром». Именно этим, древнейшими значениями хорошо известных нам слов, убедительнее всего доказывается древность и подлинность памятника. Именно древние значения разобранных слов точно укладываются в контекст произведения и снимают все неясности, причину которых долгое время усматривали в порче памятника.

---

[16] См.: Польско-русский словарь. М., 1963, с. 585.

[17] *Адрианова-Перетц В. П.* «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. Л., 1968, с. 75.

2

Загадочные *стрикусы* в «Слове о полку Игореве»

Несколько слов памятника вызвали наибольшее число догадок и всевозможных толкований, но, пожалуй, наиболее непонятным из них было *стрикусы*. У этого слова не было сколько-нибудь близких аналогов не только в древнерусских текстах, но и в славянских языках, так что аналогии к нему стали привлекать и из языков неродственных. И. М. Снегирев, например, в своем издании «Слова о полку Игореве» привлек для аналогии немецкое слово: «streitaxte — бердыши, древнее любимое оружие германцев и франков»,[1] но это только предположение, Снегирев не очень уверен, что это так, поэтому предлагает для разъяснения еще похожий русский корень — *стрекати*, что значит колоть, бодать.

В самом деле: после слова *стрикусы* говорится о взятии ворот Новгорода, а затем еще об одном действии, требующем военной силы, — *разшибе славу Ярославу*. Это и обусловило поиски значений непонятного слова среди военной лексики, поэтому предлагались боевые топоры, секиры и даже стенобитные орудия. Но при таком толковании становилось непонятным слово *воззни*. Тогда была принята конъектура: вместо непонятного *воззни* стали читать более подходящее к военной лексике *вонзи*, посчитав, что *воззни* — ошибка переписчика. В издании И. М. Снегирева уже читаем *вонзи*.

Так у фразы появился приемлемый смысл, т. е. довольно логичный и как будто без больших конъектур.

И все-таки эти «как будто понятные» места памятника неотступно привлекали и привлекают исследовательскую мысль.

В 1948 г. Р. О. Якобсон обратил внимание на то, что слова данной фразы иначе разделены в Екатерининской копии — *утръже вазнистри кусы*, и на основе этого деления предложил читать: *утръже вазни с три кусы*, что в переводе Р. О. Якобсона выглядело так: «Знать трижды ему (Всеславу) удалось урвать по куску удачи».[2]

На основе такого же прочтения А. В. Соловьев предложил иной перевод: «урвал счастья с три клока».[3]

В 1960 г. прочтение Р. О. Якобсона подробно рассмотрел Н. М. Дылевский,[4] который в целом одобрил разбивку Якобсона,

---

[1] Русский исторический сборник, 1838, т. 3, кн. 1, с. 123.

[2] *Якобсон Р. О.* Изучение «Слова о полку Игореве» в США. — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 14, с. 102—121.

[3] *Соловьев А. В.* Новый итальянский перевод «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1957, т. 13, с. 653—654.

[4] *Дылевский Н. М.* «Утрь же воззни стрикусы отвори врата Нову-граду» в «Слове о полку Игореве» в свете данных лексики и грамматики древнерусского языка. — ТОДРЛ, М.; Л., 1960, т. 16, с. 60—69.

но перевод *с три кусы вазни* (с три куска удачи) вызвал возражение: «почему представление приблизительного количества связывалось с величиной, которая, казалось бы, не должна была вызывать такого представления?» Стремясь к уточнению, Н. М. Дылевский поясняет: «Ведь удач у Всеслава было ровно три, количество их строго определено, они вполне конкретны, и их не следовало бы измерять мерою приблизительного количества. Три удачи вещего Всеслава: он занял Новгород, „расшиб славу Ярославу“ и сел даже на столе в Киеве».[5] Эту третью «удачу» Н. М. Дылевский вывел путем умозаключения, ибо в тексте на это нет указания. У Якобсона это выглядит так: «Знать трижды ему удалось урвать по куску удачи — отворил было он врата Новугороду, перешиб славу Ярославу».[6] Из такого перевода можно понять только «дважды удачу».

Принявший толкование Р. О. Якобсона Ян Коморовский в переводе на словацкий язык[7] попробовал устранить это противоречие иной расстановкой знаков препинания: «o polnoci z Bielgorodu zahalený belasou hmlou, urval trojaké šťastie: otvoril brany Novgorodu, rozbil slavu Jaroslavovu, šťa vlk skočil z Dudutok na Nemigu rieku»[8] — (В полночь из Белгорода, окутавшись сизой мглой, урвал тройное счастье: отворил ворота Новгорода, разбил славу Ярослава и, как волк, бросился на Немигу-реку с Дудуток). А на Немиге — экспрессивно нарисованная картина кровавой битвы. В чем же здесь «удача» или «счастье»? Н. М. Дылевский поэтому, хотя и принимает новую разбивку Якобсона, вынужден признать, что перевод не очень вяжется со смыслом.

В 1962 г. к этому же месту обратился Д. С. Лихачев, который при той же разбивке текста предложил иной перевод: «урвал (захватил) счастье (удачу), в три попытки (т. е. с трех попыток) отворил врата Нову-городу (т. е. захватил город)».[9] Корень *кус* действительно присутствует в словах *покуситься, покушение*, поэтому сближение *покуситься—попытаться* вполне оправдано.

Таким образом, видим, что обсуждался этот фрагмент «Слова» неоднократно, но однозначное решение все же не было найдено, ибо в 1971 г. по этому же поводу выступил Н. А. Мещерский со статьей «К интерпретации вопроса чтения „с три кусы“ в „Слове о полку Игореве“»,[10] где подверг критике выводы своих предшественников и заключил: «Таким образом, несмотря на несомненные удачи филологических исследований, данное место „Слова о полку Игореве“ продолжает оставаться „темным“».

Удачей филологических исследований Н. А. Мещерский, видимо, считает иную разбивку текста на слова, при которой пере-

[5] Там же, с. 65.
[6] *Якобсон Р. О.* Изучение «Слова о полку Игореве» в США, с. 120.
[7] Slovo o pluku Igorovom / Prieklad Ján Komorovský. Bratislava, 1960.
[8] Там же, с. 21—22.
[9] *Лихачев Д. С.* «Возэни стрикусы» в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1962, т. 18, с. 587.
[10] Проблемы истории феодальной России / Сборник статей к 60-летию В. В. Мавродина. Л., 1971, с. 93—97.

стали существовать загадочные *стрикусы*. Остается еще найти удовлетворительное истолкование и перевод данного места.

Настоящая статья является попыткой разрешения этой задачи на основе сопоставлений со славянскими языками. Такую методику исследования этого места, кажется, еще никто не использовал, а между тем наличие в тексте общеславянского слова *кус*[11] может открыть иные его семантические возможности, сохранившиеся в славянских языках, ибо, действительно, истолкование и перевод его как «кусок» или «клок» удачи (счастья), говоря словами Д. С. Лихачева, — находка явно неудачная.

Нам представляется, что для истолкования и перевода данного места следует решить три вопроса. 1. Читать ли *стрикусы* в три слова — *с три кусы* — или по-прежнему слитно? На этот вопрос, кажется, уже получен однозначный ответ — все согласились, что здесь не одно, а три слова. 2. На какой основе строить прочтение — на основе Екатерининской копии или издания 1800 г.? 3. Что может означать слово *кус* — кусок, клок, попытка или нечто иное?

Прочтение Р. О. Якобсона и все последующие за ним строятся на написании интересующих нас слов в Екатерининской копии: *утръже вазнистри кусы*, что при иной разбивке дало: *утръже вазни с три кусы*, где *утръже* — глагол в форме аориста 3 л. ед. ч. (есть аналогия в «Слове» — *выторже*), *вазни* (от *вазнь*) — существительное в род. п., документировано у И. И. Срезневского (I, 223) в значениях: счастье, удача, fortuna, а *с три кусы* мы видели выше — три куска, клока, причем, если это винительный падеж, то со значением приблизительного количества, что не согласуется со смыслом, как заметил Н. М. Дылевский. Мы добавим только, что понятия «удача» и «счастье» в применении к Всеславу не укладываются в широкий контекст произведения, ибо именно несчастную долю Всеслава сочувственно отмечает автор «Слова»: «аще и вѣща душа въ дръзе тѣле, нъ часто бѣды страдаше».

Поэтому мы считаем, что хотя с точки зрения правильности грамматических форм тех слов, которые составляют это предложение, все обстоит благополучно, но полученный смысл с контекстом не согласуется, а поэтому нужно искать новое решение.

Рассмотрим еще текст этого же предложения в издании 1800 г., но с раздельным написанием — *с три кусы*: «Утръ же воззни с три кусы: отвори врата Нову-граду, разшибе славу Ярославу, скочи влъкомъ до Немиги с Дудуток». *Утръ* — это могло быть и *утрь*, ибо ъ и ь часто смешивались — на утро, на следующий день (Срезневский, III, 1316). *Воззни* (от *воззнити*) не встречается среди зарегистрированной Срезневским лексики,

---

[11] См.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1967, т. 2, с. 431; *Преображенский А. Г.* Этимологический словарь русского языка. М., 1959, т. 1, с. 458; *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1971, s. 309; *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1970, s. 225.

но среди гапаксов «Слова» есть немало других глагольных образований с продуктивными приставками. Как отмечает Л. А. Булаховский, «префиксы глаголов, встречающиеся в „Слове“, — обычные, но образуемые при их помощи лексемы в большинстве случаев уникальны»:[12] *потручатися, поволочи ся, помъчати, попоити, помълкоша, помолодити ся, полияти, подвизати ся, дотѣкати, потрепати, притрепати, прилелѣяти, раскропити, възграяти, възлелѣяти, въстона, въшуме* и др. Стилистически к ним вполне приравнивается и *воззни*. В древнечешском языке есть параллель к этому слову — vznieti (аор. vzni), что в современном чешском языке означает: znít, zvučet, znamenat[13] (звенеть, звучать, знаменать).

И, наконец, *с три кусы* нами понимается как форма творительного падежа в инструментальном значении. В современном русском языке предлог *с* с творительным падежом существительных в инструментальном значении уже не употребляется, но в «Слове о полку Игореве» такая конструкция есть: «тии бо бесъ щитовь, с засапожникы кликомъ плъкы побѣждаютъ». И. И. Срезневский определил это значение — «для обозначения присутствия, наличности»,[14] включив в эту рубрику приведенный пример, но точнее было бы определить его как инструментальное, причем на этом же примере видно, что в этом значении употреблялся творительный падеж как с предлогом, так и без предлога (*съ засапожникы, кликомъ*). В славянских языках и поныне встречаются такие конструкции. В болгарском языке, например, предлог *с* указывает на орудие действия и переводится на русский язык беспредложной конструкцией: *пиша с молив* — писать карандашом; *бъркам с лъжица* — мешать ложкой; *пътувам с влак* — еду поездом.[15] Точно так же в словенском языке: pišem s svinčnikom (пишу карандашом), polivati s vodo (поливать водой).[16] Конструкция *с три кусы* подобна южнославянским не только употребительностью предлога *с* с инструментальным значением, но и формой числительного. В сербохорватском языке, например, и по сей день числительные два, три, четыре в косвенных падежах с предлогами теряют падежные окончания.[17] Возможно, что в устно-разговорной форме речи так было и в древнерусском языке, подобно тому как в современном русском в устно-разговорной форме довольно обычно «с пяти рублями» вм. «пятью».

Следует подробнее остановиться на значениях слова *кус — кусы*. Слово это, как выше отмечалось, общеславянское, и объем

---

[12] *Булаховский Л. А.* «Слово о полку Игореве» как памятник древнерусского языка. — В кн.: *Булаховский Л. А.* Избранные труды: В 5-ти т. Киев, 1978, т. 3, с. 463.

[13] *Bělič J.* Malý staročeský slovník. Praha, 1978, s. 681.

[14] См.: Срезневский, т. 3, стб. 639.

[15] Болгарско-русский словарь / Сост. С. Б. Бернштейн. М., 1966, с. 590.

[16] Slovensko-ruski slovar. Ljubljana, 1972, s. 507.

[17] См.: Сербско-хорватско-русский словарь. М., 1957, с. 1124.

его лексических значений в других славянских языках в настоящее время шире, чем в русском языке. Сравним в чешском языке. Там кроме значений, известных в русском языке (кус — кусок, часть чего-то), есть еще следующие:

přijít na kus řeči	— прийти поговорить;
vykonal kus práce	— сделал большую работу;
nemá kus rozumu	— ума нисколько не имеет;
v jednom kuse	— постоянно что-то делать;
kus světa viděti	— много повидать;
pěkný kus cesty	— большая часть пути;
Kus nábytku	— одна штука, вещь (о мебели);
výstavní kus	— вещь отличного качества (хоть на выставку);
platit od kusu	— платить поштучно
deset kusů	— десять штук;
divadelní kus	— театральная пьеса (вещь);
hudební kus	— музыкальная пьеса (вещь);
taneční kus	— танцевальное произведение (танец)

Кроме того, есть прилагательное kusý — неполный, отрывочный, недостаточный,[18] которое непосредственно и точно соответствует древнерусскому «кусыи — кѫсыи — с обрубленным хвостом, кургузый: — Не приведи на жертвѫ овьчате порочьна и кръна, или кѫса, или слѣпа. Панд. Ант. XI в. 171; встречается и в XIV—XV вв.» (Срезневский, I, 1382).

Рассматривается слово *кус* (kus—kęs) и в Словаре польского языка С. Б. Линде. Там мы встретили примеры, открывающие еще одну сторону семантики данного слова: «Sardanapał uciekł do Babilonu, gdzie tam najlepszy k u s w swym żywocie u d z i a ł a ł, iż nakładszy na ogień drzew kazał się zapalić» (Сарданапал бежал в Вавилон, где выкинул лучшую штуку (совершил лучший поступок) в своей жизни: приказал наложить в костер дров и сжечь себя). Слово *кус* Линде тут же поясняет синонимами: najlepsza sztuczka, najlepszy kawałek, najlepszy czyn jego. Итак, kus — это czyn — дело, поступок. Там же: «Komu pan uczyni jaki k u s i znak niełaski, wnet u wszystkich będzie nieznajomy». (Если пан совершит против кого-нибудь поступок или выкажет знак нелюбви, то все сразу от него отвернутся).[19]

Таким образом, выясняется, что древнерусское *кус* могло иметь больше значений, о чем свидетельствуют параллели в славянских языках, и в числе этих значений — 'штука', 'дело', 'поступок'.

Теперь обратимся к рассматриваемому тексту. В интересующем нас эпизоде речь идет о князе-волшебнике Всеславе, который характеризуется главным образом необычайно быстрыми,

---

[18] См.: Чешско-русский словарь: В 2-х т. Прага, 1973, с. 333.
[19] *Linde S. B.* Słownik języka polskiego. Warszawa, 1951, t. 2, s. 558.

стремительными бросками на большие расстояния и множеством совершаемых действий, поступков: «тъй скочи къ граду Киеву и дотчеся стружиемъ злата стола Кыевскаго», затем «скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ полночи изъ Белаграда, обесися сине мьгле», а «утръ же воззни»... Что же дальше? Пропустив пока *с три кусы*, читаем дальше: 1) отвори врата Новуграду; 2) расшибе славу Ярославу; 3) скочи влъкомъ до Немиги с Дудуток.

Вот эти три действия (поступка) произошли *утрь*, Всеслав ознаменовал (*воззни*) этот следующий день тремя поступками (*с три кусы*), которые тут же и перечисляются. Это могло означать и то, что на следующий день стало известно о трех поступках Всеслава.

Не следует, конечно, понимать буквально, что именно в одно утро совершил Всеслав все три действия. Время Всеслава отделяло от времени автора «Слова» почти столетие. Всеслав стал за это время князем-легендой, князем-сказкой. И эту сказку как раз поведал автор: ведь вот он какой был, Всеслав: «Тому въ Полотске позвониша заутренюю рано у святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ Кыеве звонъ слыша». Но ведь и князь Игорь, вполне реальное лицо, живой современник автора, на глазах читателей и слушателей превращался в сказку: «Игорь князь поскочи горностаемъ къ тростию, и бѣлым гоголемъ на воду, въвръжеся на бръзъ комонь, и скочи съ него бусымъ влъкомъ. И потече къ лугу Донца, и полѣте соколомъ подъ мьглами, избивая гуси и лебеди завтроку, и обѣду, и ужинѣ».

О стремительности Игоря автор повествует точно так же, как о стремительности Всеслава, но его слушателям очень хорошо было известно, что «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Известно это было и автору, поэтому он меньше всего заботился о хронологии.

И в заключение хочется еще раз вернуться к упомянутой статье Н. А. Мещерского, где он, не согласившись ни с Р. О. Якобсоном, ни с Н. М. Дылевским, ни с В. Л. Виноградовой, ни с Д. С. Лихачевым в понимании *с три кусы*, очень осторожно предложил учесть вариант значения слова *кус*, который он встретил в исторической песне об Иване Грозном:

Ты Малюта, Малюта Скуратович,
Не за свой ты кус принимаешься,
Ты этим куском подавишься.

Нам кажется, что это значение слова *кус* ближе всего стоит к пониманию, что «кус» — «дело»: «не за свой кус принимаешься», т. е. не за свое дело берешься, а «куском подавишься» — фразеологизм, поэтому значение слова *кусок* — переносное: это дело тебя погубит.

Теперь, как нам кажется, можно дать более определенные ответы на вопросы, поставленные в начале статьи.

1. Читать следует не *стрикусы*, как в издании 1800 г., а в три слова — *с три кусы*.

2. В прочтении более приемлемый смысл получается, если исходим из написания издания 1800 г., а не Екатерининской копии: *утръ же воззни с три кусы.*

3. *Кус* на основе значений этого слова в чешском и польском языках и в русской устной поэзии (предложение Н. А. Мещерского) надо понимать не как «кусок»—«клок», а как «дело», «поступок».

А поскольку работа над лексикой «Слова о полку Игореве» направлена на то, чтобы уточнить понимание и сделать перевод темных мест, то на основе прочтения данного места предлагаем и перевод всей строфы:

На седьмом еще веке Трояновом
бросил жребий Всеслав о любимой.
Коня пришпорив, метнулся он к Киеву,
коснулся древком золотого стола Киевского,
лютым зверем бросился в Белгород.
В полночь из Белгорода исчез,
окутавшись сизой мглою,
а на утро прозвенел (прогремел, прославился)
тремя делами:
отворил ворота Новгорода,
разбил славу Ярославову
и волком прыгнул к Немиге с Дудуток.





Р. Манн

ЗАМЕТКИ К ТЕКСТУ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

1

«Притрепати»

В «Слове о полку Игореве» глагол *притрепати* употребляется трижды.

Великий князь Святослав *треплет* врага своими мечами:

Тии бо два храбрая Святъславлича,
Игорь и Всеволодъ,
уже лжу убуди,
которую то бяше успилъ
отецъ ихъ Святъславь
грозный великый Киевскый грозою,
бяшеть притреп*алъ*
своими сильными плъкы
и харалужными мечи.[1]

Изяслава Васильковича *треплют* своими мечами литовцы:

Единъ же Изяславъ,
сынъ Васильковъ,
позвони своими острыми мечи
о шеломы Литовския,
притрепа славу дѣду своему Всеславу,
а самъ подъ чрълеными щиты,
на кровавѣ травѣ,
притрепанъ Литовскыми мечи
и с хотию на кровать...

В сходных контекстах встречается глагол *трепать* в былинном эпосе:

[1] Текст «Слова» цитируется по первому изданию (Ироическая пѣснь о походѣ на половцовъ удѣльнаго князя Новагорода-Сѣверскаго Игоря Святославича. М., 1800), но с нашей пунктуацией и разбивкой слов. Конъектурные исправления текста даны курсивом.

Ведь как бить трепать вам будет стара некого,
Но ведь взять-то будет вам со старого да нечего.[2]

Ростредал-то, розьдерьгал всих станичьников..[3]

И не оставил старой казак Илья Муромец
Одолища поганого на семяна,
Растрепал Одолища поганого.[4]

Тексты устного происхождения этого типа допускают предположение, что основное значение глагола *притрепати* в «Слове» — 'бить'. Именно в таком значении употребляется польский глагол trzepać, однако чаще всего в значении легкого битья, отнюдь не интенсивного, например: trzepać dziecko (шлепать ребенка); trzepać dywan (выбивать ковер).

Наряду с этой интерпретацией возможно еще другое толкование глагола *притрепати* — ласкать; т. е. древнерусское слово в основном значении тождественно современному русскому фольклорному глаголу *притрепать*. Именно в значении «ласкать» выступает однокоренной глагол *потрепати* в «Слове» в плаче русских жен.

Жены Руския въсплакашась, аркучи:
«Уже намъ своихъ милыхъ ладъ
ни мыслию смыслити,
ни думою сдумати,
ни очима съглядати,
а злата и сребра —
ни мало того потрепати».

Тут речь идет о любимых (милых ладах), которых «трепать» (т. е. ласкать) женам вполне естественно. Но, как часто бывает в «Слове», изображение осложняется образностью. В данном случае мы имеем дело с метонимией: сказано о трепании золота и серебра, но подразумевается и трепание милых лад, источников этого богатства. Речь о любимых подсказала метафору «злато трепати». Потеря мужа в семье по средневековым представлениям ассоциируется с утратой материального благополучия, а оба этих понятия переплетаются в метафоре «злато трепати».

Плач русских жен в «Слове» тесно связан с плачем в «Задонщине» татар, потерпевших поражение:

Уже намъ, брате, в земли своей не бывати,
а дѣтѣй своих не видати,
а катунъ своих не трепати..[5]

---

[2] Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года, т. 2. 2-е изд. — СОРЯС, 1896, т. 60, с. 614.

[3] Беломорские былины, записанные А. Марковым. М., 1901, с. 501.

[4] *Барсов Е.* Памятники народного творчества в Олонецкой губернии. — В кн.: Записки Императорского Русского Географического Общества по отделению этнографии. СПб., 1873, т. 3, с. 537.

[5] Задонщина / Подгот. текста Р. П. Дмитриевой. — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла / Ред. Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев. М.; Л., 1966, с. 547.

Здесь недвусмысленное значение слова *трепати* подтверждает предположение о том, что глагол *потрепати* в плаче жен в «Слове» значит именно «ласкать».

А если сравнить вышеприведенные места «Слова» с народными песнями, в которых встречается глагол *притрепать*, то сразу же бросаются в глаза разительные сходства в контексте. Как естественно можно ожидать по семантике этого глагола, *притрепать* в народных песнях чаще всего ассоциируется с любовными отношениями:

Брала, брала ягоды, приустала,
Приустамши она приуснула.
Что мимо-то ехал Федор господин,
Федор господин Алексеевич;
Коничком вернул, не стоптал,
Плеточкой махнул, не ударил,
Он, слезши с коня, притрепал:
«Спи, моя надежа, высыпайся!..» [6]

Подобно этому Святослав «усыпляет» вражеское зло, притрепав его своими мечами. А после упоминания о том, что Изяслав был *притрепан* литовскими мечами, речь идет прямо о любовнице и о постели: «и с хотию на кровать». Эти обстоятельства заставляют думать, что *притрепати* в «Слове» значит именно «ласкать». Святослав «ласкает» врага своими мечами. Толкуя глагол *притрепати* как «бить», мы нивелируем метафору, искажаем поэтический текст. «Бить» — это переносное значение глагола, вытекающее из контекста, а «ласкать» — основное значение. Метафора «притрепати мечами» входит в один разряд с другими переносными образами русского народного эпоса, как например, «угощение» врага богатырской палицей.

Подобно тому как Святослав «треплет» врага мечами, девушка в народной песне говорит, что «притреплет» старого, нелюбимого мужа дубиной:

Да как-то мне
Про стара постелю стлать?
Я в три ряда — каменнику,
Приодену я шубою ежовою,
Притреплю я дубиной вязовою ‹...›
Да как-то мне
Про млада постелю стлать?
Я в три ряда подушек,
В четвертый ряд —
Перину пуховую,
Притреплю я, притреплю я
Своею ручкой белою.[7]

---

[6] Песни, собранные П. В. Киреевским: Новая серия. М., 1911, вып. 1, с. 98 (№ 298).

[7] *Наумов Д.* К лексике «Слова о полку Игореве». — Русская литература, 1959, № 3, с. 182.

«Притрепать дубиной» — это остроумная метафора, которая соединяет в себе два противоположных понятия: ласку и боль (или смерть).

Такого же рода метафорой является древнерусская формула «притрепати мечами». Подтверждение этому — упоминание об усыплении зла в изображении Святослава и о любовных отношениях в плаче жен и в изображении смерти Изяслава («милыхъ ладъ»; «с хотию на кровать»).

Употребление же глагола *трепать* в былинах, цитированных выше, является лишь полустертым следом древнерусской метафоры. Глагол сохранился в некоторых текстах, и ирония в нем, может быть, все еще ощущалась. Переносное значение сохранилось («бить»), тогда как основное значение почти полностью утратилось, вследствие чего глагол стал употребляться с приставкой *рас-* и совместно с глаголом *бить*.

Умирающий Изяслав лежит на окровавленной траве, под щитами. Трава, кажется, выполняет роль постели, а щиты — балдахина. Такое понятие о травяной постели с навесом не единично, а намечается еще в обращении Игоря к Донцу и в ряде народных песен:

О Донче!
Не мало ти величия,
лелеявшу князя на влънахъ,
стлавшу ему зелѣну траву
на своихъ сребреныхъ брезѣхъ,
одѣвавшу его теплыми мъглами
подъ сѣнию зелену древу.
Стрежаше *его* гоголемъ на водѣ,
чайцами на струяхъ,
чрьнядьми на ветрѣхъ.

(Из народной песни:)

Вот тебе постелюшка — ковыл-травушка,
А высокия изголовьица — полыночек,
Как и теплое одеялице — темная ночушка,
Шитый-браный положочек — частые звезды,
Как и крепкий караульщичек тебе — светел месяц! [8]

Образ травяной постели лежит также в основе изображения смерти Бориса Вячеславича и гибели Игоревых войск:

Бориса же Вячеславлича
слава на судъ приведе,
и на канину зелену паполому постла
за обиду Олгову,
храбра и млада князя.

Уже бо, братие,
невеселая година въстала;
уже пустыни силу прикрыла.

---

[8] Великорусские народные песни / Изд. профессором А. И. Соболевским. СПб., 1900, т. 6, с. 159 (№ 203).

Свадебные мотивы, которыми завершаются изображения гибели Изяслава и похода Святослава, заставляют думать, что метафора «притрепати мечами» основана на свадебном обряде (может быть, и на свадебных песнях киевского периода).

2

Сон и золотое слово Святослава

Уже неоднократно в литературе о «Слове» указывали на параллели между сном Святослава и свадебными песнями о сне невесты, снившемся ей накануне свадьбы.[9] В песнях этого типа, певшихся чаще всего в утро венчального дня, упоминаются почти все приметы, о которых рассказывает Святослав: вино, жемчуг, птицы, развалившиеся части дома.

— Разгадай-ка, мая мамынька,
Мой диўный сон,
Што мне снилася сяводни у ва снях:
Прилитали ясны сокылы,
Яны садились на вакошички,
На сиребрину ряшетачку,
Яны рассыпали крупен земчуг,
Распухлили яны чорный шоўк.
— Ты, дитя мае Марьюшка,
Ясны сокалы — то сваты мае;
Крупен земчуг — горьки слезаньки;
Чорный шоўк — каса русая твая.[10]

Мне не много ночесь спалося,
Мне во снях грозно казалося:
Будто ночесь во темной ноченьке,
Что у вас, мои родители,
Что у вас, мои сердечные,
Все тыночки раскатилися,
Все столбы да пошатилися,
С теремов верхи повынесло.[11]

З суботы на нядзелю дзиўны сон я видзела,
Никому не сказала — сваей родной матце:
— Матечка мая радная, дзиўны сон я видзела,
Вылецели сивые галубы
Чорны шоўк разверцили,
Бочку вина выкацили.
— Дзецятка маио радное:

---

[9] См.: *Алексеев М. П.* К «Сну Святослава» в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве : Сборник исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 226—248; *Перетц В.* Слово о полку Ігоревім : Пам'ятка феодальної України—Руси XII віку. Київ, 1926, с. 238—259.

[10] Смоленский этнографический сборник / Сост. В. Н. Добровольский, ч. 2 (№ 522). — В кн.: Записки Русского Географического Общества. СПб., 1893, т. 23, вып. 1, с. 217.

[11] Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. 2-е изд. М., 1910, т. 3, с. 97.

Сивые галубы, то сваты твае,
Чорны шоўк, коски твае,
Бочка вина, то слőзки твое.[12]

Мне прошедшу темну ноченьку
Не спалося красной девице,
Во просонках много виделось: ‹...›
Мне навстречу — злы чужи люди,
Подзывали, силой забрали,
Полоном-то заполонили,
Увезли в леса во темные;
Там мне страшно показалося,
И я с плачем просыпалася.
А другое мне привиделось:
У моего кормильца батюшка
Развалилася хоромина,
Середь улицы рассыпалась,
Бревна врозь все раскатилися,
Углы прочь поотвалилися.
На трубе сидит да гаркает
Черный ворон громким голосом..[13]

В контексте других свадебных мотивов, пронизывающих «Слово», кажется вероятным, что сон Святослава — эпическая переработка подобных свадебных песен Киевского периода. Скорбь, испытанная русским народом при гибели русских войск, изображена посредством печальных лирических мотивов, связанных с уходом невесты из родительского дома. Однако свадебная символика переделана на траурный, эпический лад. Вместо того, чтобы черпать Святославу «зеленое вино» (обычная формула, вероятно, очень древняя, в народных песнях всех жанров), черпают ему «синее вино съ трудомъ смешено». Подобно тому как сваты приносят невесте жемчуг, Святославу тоже сыплют жемчуг, но вместо сватов (послов жениха) Святославу снятся «поганые тлъковины» (переводчики), т. е. половецкие послы.[14] А вместо того, чтобы просто сыпать жемчуг, «тлъковины» сыплют его из колчанов, уже пустых после победы над Игоревым войском. «Негуют» Святослава подобно тому, как нежат невесту перед ее уходом из дома, от «неги матушкиной».

Не случайно самая близкая параллель сну Святослава в древнерусской литературе — это сон князя Мала в летописном

---

[12] *Киркор А.* Этнографический взгляд на Виленскую губернию (окончание). — Вестник Императорского Русского Географического Общества (1857). СПб., 1858, ч. 21, с. 333.

[13] Народные лирические песни. Л., 1961, с. 267—268. В неопубликованном плаче невеста рассказывает о своем сне: о том, как отчий дом разваливается и птицы в кустах поют грозные песни (ИРЛИ, фольклорный архив, колл. 5, п. 8, 8 д., № 30, л. 133).

[14] См.: *Лихачев Д. С.* Комментарий исторический и географический. — В кн.: Слово о полку Игореве / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 425—426 (Сер. «Лит. памятники»); Слово о полку Игореве / Ред. древнерус. текста и пер. С. Шамбинаго и В. Ржиги; Переводы С. Шервинского и Г. Шторма; Статьи и коммент. В. Ржиги и С. Шамбинаго; Ред. и вступит. статья В. Невского. М.; Л., 1934, с. 283.

сказании о мести княгини Ольги.[15] Как указано Д. С. Лихачевым, эта устная легенда построена на двух перекликающихся друг с другом обрядах — свадебном и похоронном.[16] Древлянскому князю снятся одеяла, праздничная одежда и лодки, которые он принимает как приметы свадьбы. Но вместо предсвадебной бани и переодевания в свадебный наряд Ольга губит послов — сватов князя, заперев их в бане и поджигая ее. Вместо того, чтобы приехать к Малу в свадебной лодке, Ольга одну группу послов хоронит живьем в лодках. А вместо брачной постели Ольга приготовляет дружине Мала смертный одр. Вполне возможно, что черные одеяла, снившиеся Малу, и черный саван во сне Святослава восходят к одному общему мотиву в древнерусской свадебной лирике. Вариантом этого мотива может быть черный шелк в вышеприведенных песнях.

Рассматривая связи между сном Святослава и сном невесты в свадебных песнях, не следует забывать, что толкование сна Святослава боярами кончается мотивом поющих готских девиц, основанным на пении девицами слав и корильных песен на свадебном пиршестве:

...и въ морѣ погрузиста,
и великое буйство подасть Хинови.
Уже снесеся хула на хвалу,
уже тресну нужда на волю,
уже връжеса дивь на землю.
Се бо Готския красныя дѣвы въспѣша
на брезѣ синему морю,
звоня Рускымъ златомъ.
Поютъ время Бусово,
лелѣютъ месть Шароканю;
а мы уже, дружина,
жадни веселия.

Метафорическое изображение Святослава как невесты продолжается в «золотом слове» великого князя. Подобно невесте, которая обращается в своих плачах сначала к родителям, а потом к брату и подругам, Святослав обращается сначала к двум Святославичам, а потом к брату и другим князьям.[17] Очень часто невеста в своем плаче жалуется на то, что брат отсутствует и не может защищать ее от «чужого чуженина».[18] Подобно этому брат Святослава отсутствует:

А уже не вижду власти
и много вои
сильнаго и богатаго брата моего Ярослава
съ Черниговьскими былями..[19]

---

[15] См.: Летописец Переяславля-Суздальского, составленный в начале XIII в. (между 1214 и 1219 гг.), издан К. М. Оболенским. М., 1851, с. 11.

[16] См.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978, с. 229—234.

[17] См. описания русского свадебного обряда у П. В. Киреевского (Песни, собранные П. В. Киреевским: Новая серия. М., 1911, вып. 1).

[18] См., например: Живая старина, 1915, вып. 1—2, с. 37.

[19] В первом издании слова «и много вои» помещены между словами «богатаго» и «брата».

Формула «изрони злато слово *съ* слезами смешено» восходит к свадебной песне, в которой невеста «роняет слезы через злато и жемчуг», привезенные женихом в качестве подарков. Невеста не хочет расставаться с родным домом и в плачах своих упрекает родителей в том, что рано отдают ее замуж. Слово «клевить», или «квелить» ('заставить плакать' — разновидность глагола «цвелити» в речи Святослава), употребляется в связи с невестой в свадебном обряде русского севера. Мать «кливит» невесту, когда кладет ей плат на голову и объявляет, что пора ей выходить замуж.[20] Именно такой свадебный контекст лежит в основе обращения Святослава к Игорю и Всеволоду: «О моя сыновчя, Игорю и Всеволоде! Рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити...» Как правило, глагол «цвелити» (или «квелити») употреблялся в связи с детьми и женщинами. А наибольшее значение имеет употребление этого глагола в «Сказании о Мамаевом побоище», лексика которого так тесно связана с лексикой «Слова». В «Сказании» же это именно русские женщины умоляют Дмитрия Ивановича защищать их, чтобы татары их «не квелили»:

> Замкни, князь великий Дмитрей Ивановичь, Оке-реке
> ворота, чтобы потом к нам погании татаровя на
> Рускую землю не ездили, а нас не квелили по своих
> государех, а детей бы наших сиротством не
> скитались без своих отцов.[21]

Метафора «Половецкую землю мечи цвелити», столь похожая на формулу «трепати мечами», основана на той же свадебной лирике, относящейся к невесте. Словно невеста, Святослав обращается к двум князьям с упреком, что «рано» начали «цвелити» врага. Так же, как невеста обращается к родителям, Святослав обращается к двум князьям — именно как к родственникам («О моя сыновчя...»).

Вскоре потом он им говорит:

> Ваю храбрая сердца
> въ жестоцемъ харалузѣ скована,
> а въ буести закалена.
> Се ли створисте
> моей сребреней сединѣ?

---

[20] См.: *Мехнецов А. М., Балашов Д. М., Калмыкова Н. И., Марченко Ю. И.* Кокшеньга I (рукописные материалы лаборатории народного творчества Ленинградской консерватории, кассета № 2). Записано 7.VII.82 в Шардонеме (Пинежский район). См. также народные песни, в которых разновидности слова «квелить» связаны с невестой: Народные песни Вологодской области / Сост. А. Мехнецов. Л., 1981, с. 74 (№ 53).

[21] Такой текст читается в плаче русских жен в одном из списков «Сказания о Мамаевом побоище», где он является вставкой из не дошедшего до нас списка «Задонщины». См.: *Дмитриев Л. А.* Вставки из «Задонщины» в «Сказании о Мамаевом побоище» как показатели по истории текста этих произведений. — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла / Ред. Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев. М.; Л., 1966, с. 429.

Эти слова имеют близкие параллели в похоронных и свадебных плачах.[22] Метафора «Слова» скорее всего является эпической переделкой мотива из свадебного плача, в котором невеста упрекает родителей в жестокости, например:

Ты родимый батюшка,
Не ходи к дубову столу,
Не примай золотой чары,
Ты не пей зелена вина,
Не пропей меня молоду,
Мою русую косоньку,
Мою девью-то красоту
На чужу дальню сторону
Ко чужому чуженину!
Как чужой он чуженин
Без плеточки выучит,
Без морозу сердце вызнобит.
У родимого батюшка
У его сердце каменно,
В золезо сковано,
В булате сварено.
Он сходил к дубову столу,
Он принял золоту чару,
Он выпил зелено вино,
Он пропил меня молоду
На чужу дальню сторону.[23]

В приведенном тексте, как в свадебных причетах многих районов, невеста порицает родителей за то, что допустили расплетение ее «русой косы», главного символа ее девичества. Такой же порицающий тон звучит в словах Святослава: «Се ли створисте моей сребреней сединѣ?» Может быть (хотя, конечно, нельзя этого доказать), эти слова подсказаны формулой из средневекового плача невесты. Эта формула могла выглядеть примерно так: «Се ли створиста моей русой косе?»

В призыве Святослава к брату и другим князьям есть другие возможные связи со свадебным обрядом. Например, метафора «На ниче ся годины обратиша!» может быть связана с обычаем выворачивать наизнанку кожух или шубу в разные моменты свадебного обряда. Широко распространен обычай расстилать на полу кожух, вывернутый шерстью вверх, для благословения жениха и невесты перед отъездом в церковь. Во многих местностях мать жениха встречает свадебный поезд у ворот, одетая в кожух, вывернутый наизнанку.[24] Подобный обычай упоминается в описании свадьбы князя Василия Ивановича с Еленой Глинской (1500 г.): ...и какъ дойдутъ до постелѣ и в тѣ поры тысяцкаго жена положитъ на себѣ двѣ шубы, одну по обычаю, а другую на изворотъ, и будетъ изъ мисы осыпать великаго князя и великую княгиню у дверей сѣнника. . .[25]

Обычай выворачивать кожух или шубу наизнанку на свадьбе восходит к древним магическим представлениям, но также символизирует переход невесты в другой дом, подобно тому как метафора Святослава о «вывернутом наизнанку времени» указывает на новый, печальный этап в истории Киевской Руси.

---

[22] *Шептаев Л. С.* Заметки к древнерусским литературным памятникам. — ТОДРЛ, М.; Л., 1957, т. 13, с. 427.

[23] Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.: Материалы, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном. СПб., 1900, т. 1, вып. 2, с. 454, № 1554.

[24] Песни, собранные П. В. Киреевским: Новая серия, вып. 1, с. 53.

[25] Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым. СПб., 1849, т. 2, с. 42.



В. Г. Пуцко

ИСКУССТВО КИЕВСКОЙ РУСИ НА РУБЕЖЕ XII—XIII вв.

Эти страницы посвящены художественной культуре Киева и связанных с ним русских земель времени около 1200 г. — периода, ознаменованного созданием «Слова о полку Игореве». Эпоху Киевской Руси в истории искусства принято ограничивать X—началом XII в., оставляя за ее хронологическими пределами этап возникновения политически независимых княжеств. Но, как известно, Киев и в это время не утрачивает значения культурного центра, оказывающего воздействие на искусство политически обособившихся русских земель. Поэтому нам представляется правомерным говорить об искусстве Киевской Руси рубежа XII—XIII вв. и трактовать его в соответствии с данными памятников, систематизацию которых еще нельзя считать законченной.

Когда заходит речь об искусстве древнего Киева, неизменно вспоминаются величественные сооружения XI в. с их роскошным пластическим и живописным декором, несущим отблески достижений Константинополя. «Русские мастера в роли византийских учеников» — этот штамп настолько въелся жирным пятном в страницы истории, что нередко бросается в глаза прежде, чем успеешь вчитаться в ровные деловые строки повествования. Но действительно ли Киевская Русь жила только тем, что ей милостиво жаловала Византия? Для того чтобы согласиться с возможностью такого явления, надо признать существование на Руси целых колоний греческих художников и ремесленников, усиленно насаждавших свое творчество. Для субсидирования их деятельности, однако, потребовались бы средства, во много раз превосходящие отпущенные Петром I на содержание иностранных специалистов. Изучение конкретного материала между тем показывает, что тезис о византийском засилье — не более чем миф. Произведения византийского художественного импорта на Руси слишком малочисленны. Если еще учесть, что активность в общем процессе развития искусства определяла творчество прежде всего местных мастеров, то роль заезжих византийцев

окажется не такой уже всеобъемлющей, как до наших дней принято ее представлять на Западе.

Период становления искусства Киевской Руси оказался очень коротким. Ранний расцвет в значительной мере был предопределен результатами активного усвоения художественного опыта Византии, сыгравшего здесь весьма положительную роль. Киевские мастера, насколько можно судить по их произведениям, достаточно трезво оценивали свои силы и возможности. Это обстоятельство способно объяснить, почему именно для выполнения наиболее сложных росписей (особенно мозаических) в XI в. приглашали греков, комплектовавших на месте смешанные византийско-русские артели.[1] Такое сотрудничество, однако, не являлось нормой, особенно в период, когда были сформированы национальные кадры. К сожалению, искусство Киева XII в. изучено не так основательно, как следовало бы ожидать, особенно с учетом новых материалов.[2] Поэтому трудно объективно охарактеризовать происшедшие перемены и дать им справедливую оценку. Тем не менее можно утверждать, что в эту мятежную пору феодальной раздробленности и был подготовлен тот расцвет, который на рубеже XII—XIII вв. явился триумфом культуры домонгольской Руси.

Развитию строительства в Киевской земле во второй половине XII в. политическая ситуация никак не благоприятствовала.[3] Начавшийся с 1167 г. половецкий натиск вызвал необходимость в упрочении власти великих князей, которыми, согласно достигнутому соглашению, становятся главы враждующих династий — Святослав Всеволодович Черниговский и Рюрик Ростиславич Смоленский. Период их совместного правления (1181—1194) оказывается временем относительного спокойствия в Русской земле. С именами названных князей связаны наиболее крупные постройки этой поры. Собственно Киевское княжество теперь являлось лишь одним из пятнадцати самостоятельных русских княжеств, владения которого не простирались за пределы Среднего Приднепровья. По смерти Святослава в 1194 г. наступает единовластное правление Рюрика, продолжающееся до 1203 г., когда киевляне предпочли ему Романа Мстиславича Волынского. В ответ Рюрик Ростиславич в союзе с Ольговичами и половцами учинил разгром Киева, и снова обострилась борьба за столицу Древнерусского государства между княжескими династиями.

В Черниговской земле Ольговичи создают по существу свое феодальное государство с вассальными удельными княжествами, укрепляют свои города и содействуют их росту. Переяславская земля постоянно подвергалась набегам степняков, что не могло не отразиться на развитии каменного строительства. Анализ ле-

---

[1] *Лазарев В. Н.* Древнерусские мозаики и фрески. XI—XV вв. М., 1973, с. 11—19.

[2] См.: Новое в археологии Киева. Киев, 1981.

[3] *Рыбаков Б. А.* Русь в эпоху «Слова о полку Игореве». — В кн.: История СССР: С древнейших времен до наших дней. М., 1966, т. 1, с. 573—639.

тописных сведений показал, что количественный рост городов в Приднепровье с середины XII в. резко увеличивается, достигая максимума на рубеже XII—XIII вв. Всего упомянуто в летописях 133 города в Приднепровской Руси, что составляло более половины всех русских городов.[4] Новые города были невелики по размерам; рост старых городов, являвшихся столицами земель, осуществлялся за счет расширения торговых и ремесленных посадов или предместий (в Киеве особенно выделялись Подол и Копырев конец). На подступах к столице находились такие мощные крепости, как Белгород, Юрьев, Вышгород и Торческ. Судя по обнаруженным археологами многочисленным ремесленным мастерским, деятельность которых оказалась прервана монголо-татарским нашествием, ремесло на рубеже XII—XIII вв. переживало эпоху расцвета. Об этом говорят находки сложнейших видов ремесленного производства не только в Киеве, но и в окраинных городах.[5] Киевская Русь была охвачена тем общим культурным подъемом, который определяет выделение многочисленных местных художественных центров на романском Западе. Строительство велось артелями, объединявшими ремесленников различных специальностей, работавших под руководством профессиональных зодчих.

Несмотря на феодальную раздробленность Руси, ее архитектура развивалась в различных районах в тесной взаимосвязи, что становится особенно заметным в конце XII—начале XIII в., когда происходит в зодчестве существенный перелом.[6] Первым каменным сооружением Киевской земли и одним из первых на Руси, в котором четко проявились новые стилистические черты, была церковь св. Василия в Овруче, возведенная князем Рюриком Ростиславичем около 1192 г. Это четырехстолпный трехапсидный храм с примыкающими к западным углам двумя круглыми башнями; внутри стен на уровне второго этажа проходят узкие галереи; лопатки на наружных поверхностях стен сложнопрофилированные, как и имеющие по пять уступов порталы. Стены сооружения украшены вставками из больших камней со шлифованной поверхностью. В композиции преобладают вертикальные членения. Первоначально церковь имела ступенчато-повышенный башнеобразный верх с высоко поднятым барабаном.[7] Черты нового архитектурного стиля в более развитом виде сказались в церкви Апостолов в Белгороде, построенной тем же Рюриком Ростиславичем в 1195—1197 гг. Храм шестистолпный с тремя апсидами;

---

[4] *Асеев Ю. С.* Зодчество Приднепровской Руси конца XII—первой половины XIII веков: Автореф. дис. ... докт. архитектуры. М., 1971, с. 8—9.

[5] Подробнее см.: *Рыбаков Б. А.* Ремесло Древней Руси. М., 1948, с. 203—522; *Никольская Т. Н.* Земля вятичей. М., 1981.

[6] *Раппопорт П. А.* Некоторые вопросы истории архитектуры конца XII—первой половины XIII в. — Старинар, 1970, кн. 20, с. 340.

[7] *Раппопорт П. А.* 1) Церковь Василия в Овруче. — Советская археология, 1972, № 1, с. 82—97; 2) Русская архитектура X—XIII вв.: Каталог памятников. Л., 1982, № 40 (далее при ссылках в тексте — Раппопорт).

барабан имел в плане овальную форму и был украшен снаружи по обмазке полихромной фресковой росписью (Раппопорт, № 38). Как полагает Ю. С. Асеев, над угловыми компартиментами нартекса находились боковые купола.[8] Церковь на Вознесенском спуске в Киеве, датируемая концом XII—началом XIII в., может оказаться той церковью св. Василия, которую соорудил в 1197 г. строитель двух предыдущих храмов на своем «Новом дворе»; она была четырехстолпной, с полукруглой центральной апсидой и полукруглыми изнутри, но прямоугольными снаружи — боковыми. Судя по форме плана, профилировке пилястр и строительной технике, храм принадлежит к той же группе построек (Раппопорт, № 20).

В конце XII в. в Киеве были осуществлены две не совсем обычные для древнерусского зодчества постройки: в 1199—1200 гг. Петр-Милонег, по воле князя Рюрика Ростиславича, «заложи стену камену под церковью святаго Михаила у Днепра, иже на Выдобичи» (подпорную стену), подробно описанную в летописи,[9] а при игумене Василии (1182—1197) построены «стены каменьны около всего Печерьскаго монастыря на тверде основе высокы и красъны».[10] Теперь, после археологического изучения деревянных сооружений Подола, начинает вырисовываться и общий характер жилой массовой застройки Киева на рубеже XII—XIII вв.[11]

Черниговская архитектура этого же времени представлена рядом каменных церковных сооружений (Раппопорт, № 59—62). Среди них особо выделяются Благовещенская церковь, построенная князем Святославом Всеволодовичем в 1186 г., и Пятницкая церковь, возведение которой относится к концу XII—первой трети XIII в. Благовещенская церковь представляла большой шестистолпный трехапсидный храм с галереями с трех сторон, поднимавшимися во всю высоту здания; ее стены были сложены в равнослойной технике из красных кирпичей, а полуколонны на пилястрах — из желтых. Пол в центральной апсиде, среднем нефе и трансепте украшала мозаика, тогда как остальные части покрывали поливные керамические плитки. Интерьер храма украшали белокаменная резьба и фрески.[12] Пятницкая церковь на Торгу

---

[8] *Асеев Ю. С.* Собор Апостолів у Білгороді. — Образотворче мистецтво, 1970, № 1, с. 33.

[9] Подробнее см.: *Асеев Ю. С.* Петро Милонег — видатний зодчий древньої Русі. — Вісник Академії архітектури УРСР, 1950, № 3, с. 38; *Каргер М. К.* Древний Киев. М.; Л., 1961, т. 2, с. 289—291.

[10] *Асеев Ю. С., Богусевич В. А.* Воєнно-оборонні стіни XII віку в Києво-Печерській лаврі. — Вісник Академії будівництва і архітектури УРСР, 1952, № 1, с. 40—43.

[11] Новое в археологии Киева, с. 103—114; *Харламов В. О.* Конструктивні особливості дерев'яних будівель Подолу X—XIII ст. — В кн.: Археологічні дослідження стародавнього Києва. Київ, 1976, с. 47—55.

[12] *Рыбаков Б. А.* 1) Древности Чернигова. М.; Л., 1949, с. 60—93 (МИА, № 11); 2) Благовіщенська церква в Чернігові 1186 року. — В кн.: Архітектурні пам'ятники. Київ, 1950, с. 50—63.

(рис. 1) является одним из самых прославленных памятников древнерусского зодчества. Это четырехстолпный трехапсидный храм, средние членения фасадов которого завершаются полукруглыми закомарами стрельчатой формы, а боковые — закомарами в четверть круга; второй ярус закомар образуют подпружные арки; и наконец, декоративные закомары или кокошники в основании барабана служат как бы третьим ярусом. В западной части церкви существовали хоры, на которые вела лестница в западной стене; на уровне хор, с выходом на них, в северной и южной стенах существуют внутристенные ходы. Фасады храма украшают лента кирпичного меандра и полоса декоративных ниш; на апсидах находятся вертикальные тяги, как и на барабане, в аркатурное завершение которого, в нишки, вставлены терракотовые плитки. Наиболее существенной конструктивной особенностью храма являются уступчатые перекрытия ветвей архитектурного креста. В архитектурном облике сооружения, фасады которого построены по принципу динамического нарастания сложности элементов снизу вверх, заметную роль играют профилированные перспективные порталы, а также пилястры, ряды уменьшающихся кверху окон. Архитектура Пятницкой церкви носит живописный характер, усиливаемый яркой полихромией.[13]

Более скромными памятниками зодчества Северской земли конца XII—первой трети XIII в. служат выявленные археологическими исследованиями остатки храмов в Путивле, Новгороде-Северском и Вщиже, а также в Трубчевске (Раппопорт, № 65—68). Это четырехстолпные трехапсидные постройки. Церковь в детинце Путивля — с двумя полукруглыми в плане притворами, открытыми внутрь храма, благодаря чему последний получает характер триконха.[14] Собор Спасского монастыря в Новгороде-Северском имел три притвора, возможно, поднимавшиеся на полную высоту храма. К церкви во Вщиже с трех сторон примыкали галереи. Наружные плоскости большей части упомянутых сооружений украшены сложнопрофилированными пилястрами, завершающимися тонкой полуколонкой. Это, как и техника кладки, служит подтверждением того, что новое архитектурное направление наряду со столицами княжеств захватило и сравнительно небольшие города. Особенностью планов храмов указанного времени является их центричность, нередко соединенная с ярусной композицией, достигнутой повышенными сводами рукавов пространственного креста либо разномасштабностью соотношений между башнеобразным центральным объемом и пониженными притворами.

---

[13] Подробнее см.: *Барановский П. Д.* Собор Пятницкого монастыря в Чернигове. — В кн.: Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР. М.; Л., 1948, с. 13—34; *Холостенко Н. В.* Архитектурно-археологические исследования Пятницкой церкви в г. Чернигове. — Советская археология, 1956, вып. 26, с. 271—292.

[14] *Богусевич В. А.* Розкопки в Путивльському кремлі. — Археологія, 1963, вып. 15, с. 165—174; *Рыбаков Б. А.* Раскопки в Путивле. — Археологические открытия, 1965, с. 154—156.

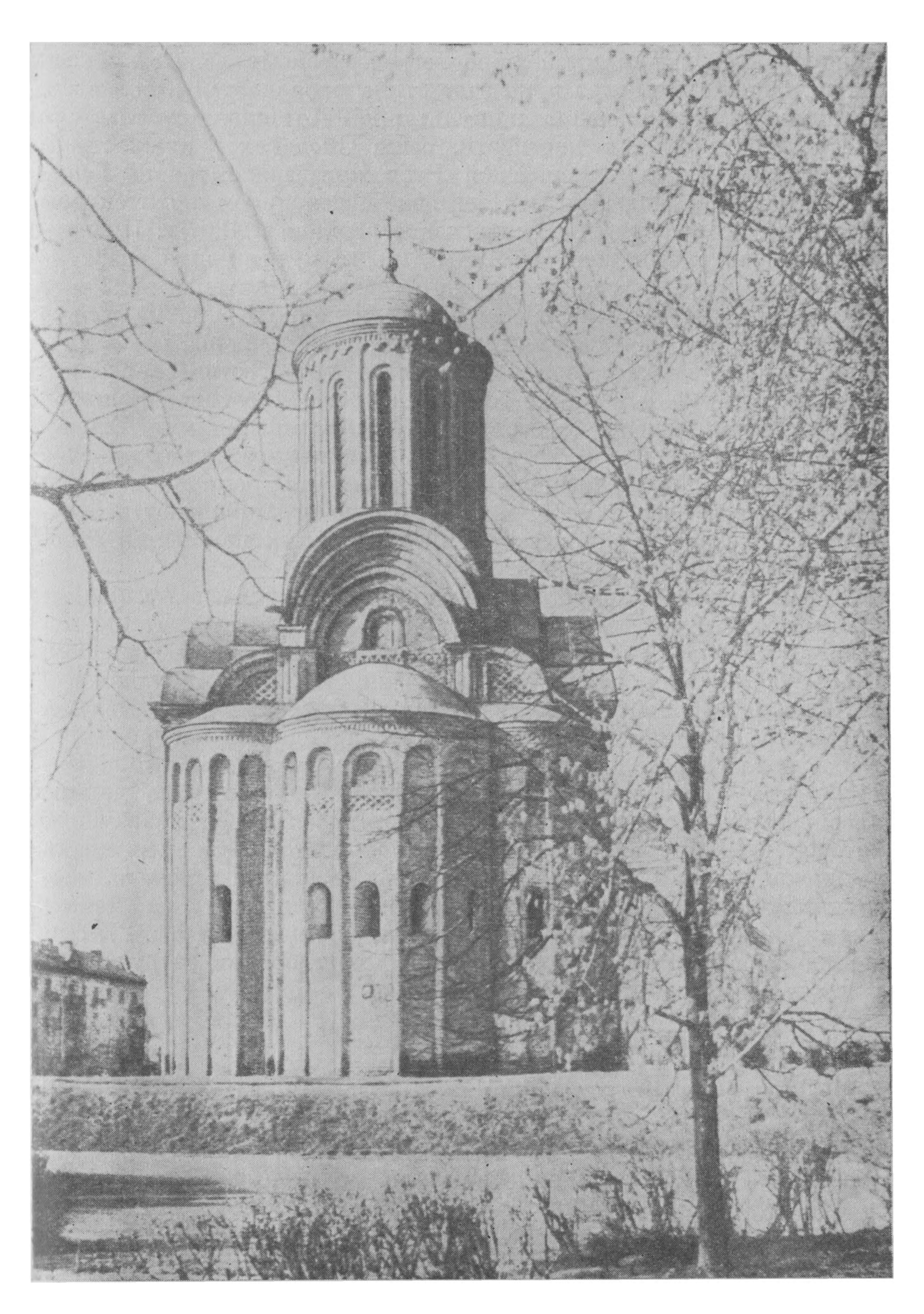


Рис. 1. Пятницкая церковь в Чернигове. Конец XII—первая треть XIII в.

Черты нового архитектурного стиля рубежа XII—XIII вв. присущи в той или иной мере всему русскому зодчеству этой эпохи. Однако наиболее ярко этот стиль проявляется в областях, которые в политическом и культурном отношениях тяготели к Киеву. Таковым, в частности, было Смоленское княжество.[15] К архитектуре Приднепровской Руси примыкало также зодчество Рязани и Волыни. В Новгороде памятником архитектуры отмеченного направления явилась построенная в 1207 г. Пятницкая церковь (Раппопорт, № 103). Иными путями шло развитие владимиро-суздальского и галицкого зодчества.[16] Характерно, что новый архитектурный стиль возникает в конце XII в. не только на Руси, но и в передовых странах Западной Европы, где в указанное время зарождается и затем развивается готическая архитектура. В Сербии в конце XII в. начинается расцвет Рашской архитектурной школы, с ее ступенчатыми композициями. Вторая половина XII и первая треть XIII в. явились временем наиболее широкого усвоения древнерусскими зодчими романских мотивов.[17] Правда, последние преимущественно ограничиваются свойствами архитектурной пластики, не вносящими изменений в общий архитектурный облик.[18]

С усилением западного влияния принято связывать появление в древнерусском зодчестве типа церкви-ротонды. Такие постройки наиболее известны в Галиче и во Владимире-Волынском. Но, как выясняется, они существовали также в Смоленске и в Киеве (Раппопорт, № 142, 6). Их особенностью является то, что они — без выступающей алтарной апсиды. Смоленская ротонда, известная как «Немецкая божница», возведенная в 1170—1180-е гг., имела внутри довольно тесно поставленные четыре массивных прямоугольных столба.[19] Ротонда в Киеве, назначение которой определено П. П. Толочко как светское, а нами — как латинская церковь Девы Марии, имела в центре круглый массивный столб с квадратной базой.[20] Несмотря на то что стены сооружения сохранились на незначительную высоту (рис. 2), они все же позволяют судить об архитектурном облике сооружения, украшенного, судя по находкам фрагментов, фресковой росписью

---

[15] Подробнее см.: *Воронин Н. Н., Раппопорт П. А.* Зодчество Смоленска XII—XIII вв. Л., 1979.

[16] Ср.: *Воронин Н. Н.* Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV веков. М., 1961—1962, т. 1—2; *Раппопорт П. А.* К вопросу о сложении галицкой архитектурной школы. — В кн.: Славяне и Русь. М., 1968, с. 459—462.

[17] *Лазарев В. Н.* Искусство средневековой Руси и Запад (XI—XV вв.). М., 1970 (XIII Международный конгресс исторических наук), с. 11—12.

[18] См.: *Раппопорт П. А.* Русская архитектура на рубеже XII и XIII веков. — В кн.: Древнерусское искусство: Проблемы и атрибуции. М., 1977, с. 12—29.

[19] Подробнее см.: *Раппопорт П. А.* «Латинская церковь» в древнем Смоленске. — В кн.: Новое в археологии. М., 1972, с. 283—289.

[20] *Боровский Я. Е., Толочко П. П.* Київська ротонда. — В кн.: Археологія Киева: Дослідження і матеріали. Київ, 1979, с. 90—103.

и, как мы предполагаем, белокаменной резьбой.[21] Фрагментарно сохранился рельеф с изображением Богоматери с младенцем (рис. 3) романизированного стиля, который, впрочем, присущ и произведениям константинопольской пластики, выполненным около 1200 г. Исходя из типологии ротонды и ее строительной техники, можно предположить, что возведение постройки осуществлено под руководством иноземного (возможно, венгерского) зодчего местной киевской строительной артелью в последней трети XII в. Вскоре после землетрясения 1230 г. проведена реставрация с участием польских мастеров. Так, иногда даже в одном сооружении тесно сплетались различные локальные традиции.

Куски штукатурки с фресковой росписью, собранные при раскопках многих храмов, говорят о широком распространении монументальной живописи в Киевской Руси на рубеже XII—XIII вв. Это существенно отметить ввиду очень высокой стоимости выполнения стенописей. Однако незначительные по размерам фрагменты не позволяют судить о стиле. В Киеве единственным в значительной мере сохранившимся циклом фресок зрелого XII в. является украшающий Кирилловскую церковь.[22] Колорит росписей звучный, при довольно скупой палитре; трактовка формы носит преимущественно графический характер, с использованием линейных световых акцентов. Наиболее интересна своей оригинальной иконографией стенопись диаконника, в котором в древности помещался придел св. Кирилла Александрийского.[23] Стены апсиды покрывают композиции, иллюстрирующие жития св. Афанасия и Кирилла. Кирилловские фрески, как уже было отмечено в литературе, схожи с южнославянскими росписями. Находят они параллели и в декоре греческих храмов.[24] По-видимому, к тому же стилистическому направлению принадлежали также мастера, работавшие на рубеже XII—XIII вв. в Смоленске. Результаты их творчества сделались известными лишь недавно.[25] Лучше всего сохранилась роспись большого монастырского собора на Протоке, на восточной окраине города. Святые представлены на синих фонах. Фигуры плотно заполняют пространство, лица моделированы охрой по оливковой основе (рис. 4). Очень нарядны завесы под сюжетными изображениями. Орнаментальные композиции нередко воспроизводят узоры мусульманских и дорогих византийских тканей с их сложным и насыщенным ри-

---

[21] *Пуцко В. Г.* Каменный рельеф из киевских находок. — Советская археология, 1981, № 2, с. 223—231.

[22] *Дорофиенко И. П., Редько П. Я.* Раскрытие фресок XII в. в Кирилловской церкви Киева. — В кн.: Древнерусское искусство: Монументальная живопись XI—XVII вв. М., 1980, с. 45—51; *Блиндерова Н. В.* Житие Кирилла и Афанасия Александрийских в росписях Кирилловской церкви Киева. — Там же, с. 52—60.

[23] *Пуцко В.* Приделы Кирилловской церкви в Киеве. — В кн.: Зборник IX—X Народног Музеја. Београд, 1979, с. 243—255.

[24] См.: *Skawran K. M.* The Development of Middle Byzantine Fresco Painting in Greece. Pretoria, 1982.

[25] *Воронин Н. Н.* Смоленская живопись 12—13 веков. М., 1977.

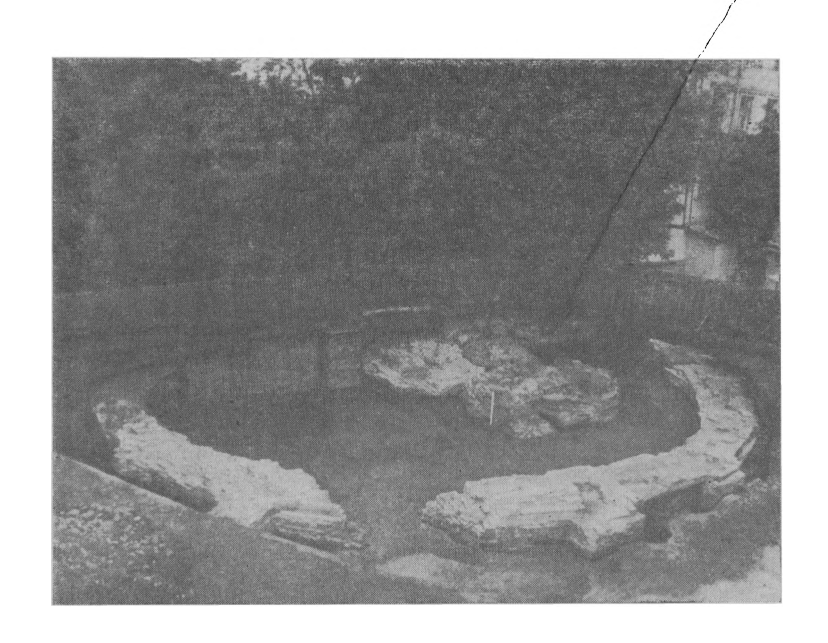


Рис. 2. Киевская ротонда. Последняя треть XII в.



Рис. 3. Богоматерь с младенцем. Каменный рельеф. Начало XIII в. Гос. Исторический музей УССР (Киев).

сунком (рис. 5). Князь Рюрик Ростиславич, судя по всему, очень стремился добиться хотя бы некоторого, самого общего сходства росписей возведенных на его средства храмов с киевскими мозаиками XI в. Об этом говорят фрагменты золотофонных фресок церкви св. Василия в Овруче, и особенно — алтарной апсиды белгородской церкви Апостолов, с тонкими листками сусального золота, наклеенными на штукатурку по желтой охре сгущенной олифой.[26] В целом развитие монументальной живописи Киевской Руси в конце XII в. идет в том же направлении, что и во Владимире, но заметно отличается от того, что можно в указанное время наблюдать в Новгороде.[27]

К сожалению, не сохранилось ни одного произведения иконописи конца XII—начала XIII в., киевское происхождение которого можно было бы обосновать, не прибегая к предположениям и натяжкам. Не известны нам и иллюминованные рукописи этого периода, локализуемые Киевом; и только три миниатюры, оказавшиеся вшитыми в Федоровское евангелие, связаны Н. Н. Ворониным со Смоленском.[28] Фигуры сидящих евангелистов стройны и не лишены изящества, их одежды моделированы черным контуром и сочными пробелами, лица — с подрумянкой и легкими высветлениями. Стилистическая характеристика упомянутых миниатюр совершенно иная, чем украшающих Хутынский служебник, выполненный между 1220—1225 гг. в Перемышле для архиепископа Антония Новгородского. К указанному времени, очевидно, во многих русских городах (особенно в центрах княжеств и епископий) успели выработаться местные каллиграфические традиции, распознание которых в будущем существенно облегчит разгруппировку материала, пока остающегося в своей массе за пределами истории книжного искусства.

При столь очевидной скудости памятников живописи рубежа XII—XIII вв., происходящих из Киевской Руси, заметно возрастает значение произведений мелкой пластики, сюжеты которых нередко отражают давно утраченные живописные образцы. Особо пристального внимания заслуживают каменные иконки, преобладающее большинство которых теперь систематизировано.[29] Среди них выделяется так называемая южнорусская группа, включающая в свой состав образцы художественной резьбы по камню киевского происхождения, а также их близкие стилистические аналогии. Часть этих миниатюрных каменных рельефов датируется XII—XIII вв. Особенностью иконографии надо считать про-

---

[26] *Полонская Н. Д.* Археологические раскопки В. В. Хвойко 1909—1910 годов в местечке Белгородке. — Труды Московского предварительного комитета XV Археологического съезда, М., 1911, т. 1, с. 57—59.

[27] Ср.: *Пуцко В.* Новгородские фрески XII—XIII веков. — В кн.: Wandmalerei des Hochfeudalismus im europäisch-byzantinischen Spannungsfeld (12. und 13. Jahrhundert). Halle (Saale), 1983, с. 200—206.

[28] *Воронин Н. Н.* Смоленская живопись 12—13 веков, с. 150—153, рис. 76—79.

[29] *Николаева Т. В.* Древнерусская мелкая пластика из камня: XI—XV вв. М., 1983 (далее при ссылках в тексте — Николаева).



Рис. 4. Параскева Пятница. Роспись жертвенника храма на Протоке в Смоленске. Конец XII—начало XIII в.

никновение в число наиболее популярных сюжетов изображений св. Николы и святых воинов. Византинизирующий характер имеют весьма немногие изделия киевских резчиков XII в. В начале XIII в. в Киеве были изготовлены шиферные образки, отличающиеся прекрасным рисунком и тщательной моделировкой фигур, сочетающей рельеф разной высоты с плавным переходом к фону и метко положенные штрихи, выделяющие детали.[30] Таковы, в частности, образки: Бориса и Глеба из Солотчинского мо-

[30] Там же, табл. 5—6.

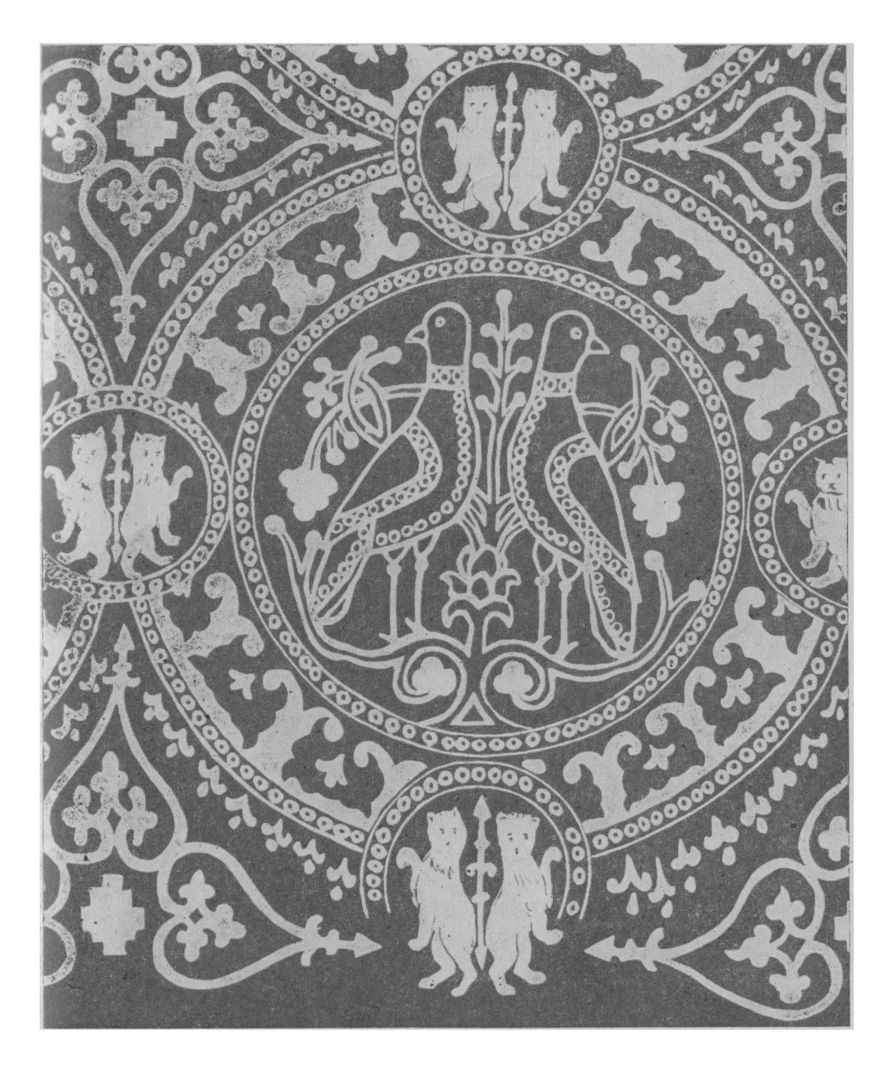


Рис. 5. Роспись восточной плоскости юго-западного столба храма на Протоке в Смоленске (реконструкция).

настыря[31] (рис. 6), Симеона Столпника и Ставрокия из раскопок на Торговой стороне в Новгороде,[32] Богоматери Никопеи с Борисом и Глебом (Николаева, № 33), Димитрия Солунского с ангелами в Каменец-Подольском музее (рис. 7), Димитрия Солунского из Новгорода (Николаева, № 38), Богоматери Одигитрии и Богоматери Оранты (Николаева, № 39). Эта локальная стили-

[31] *Николаева Т. В.* Рязанская икона с изображением Бориса и Глеба. — В кн.: Славяне и Русь. М., 1968, с. 451—458.

[32] *Николаева Т. В.* Каменная иконка, найденная в Новгороде. — В кн.: Памятники искусства: Новые открытия, 1974. М., 1975, с. 219—227.



Рис. 6. Борис и Глеб. Шиферная иконка. Начало XIII в. Историко-архитектурный музей-заповедник (Рязань).

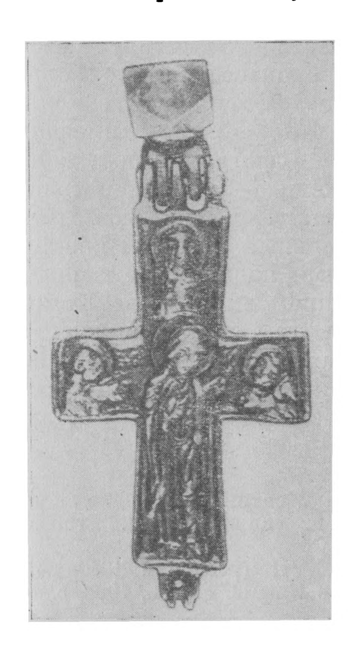
стическая группа произведений мелкой каменной пластики со временем может быть расширена.

В системе художественных ремесел, широко развитых в древнем Киеве, одним из самых популярных видов металлопластики было медное литье.[33] Оно представлено в основном предметами из археологических находок. В большинстве случаев это кресты-энколпионы, иконки и змеевики, имевшие распространение преимущественно в районе Приднепровья и на западнорусских землях. Древнейшие образцы киевского художественного литья относятся ко второй половине XI в., но они иногда служили моделями для более поздних отливков. В то же время мастера создавали новые образцы, количество которых особенно увеличивается

[33] См.: *Pucko V.* Umělecké litectvi na Kyjevské Rusi. — Umění a řemesla, 1983, N 2, s. 35—37, 66—67.



Рис. 7. Димитрий Солунский. Каменная иконка. Начало XIII в. Исторический музей-заповедник (Каменец-Подольский).



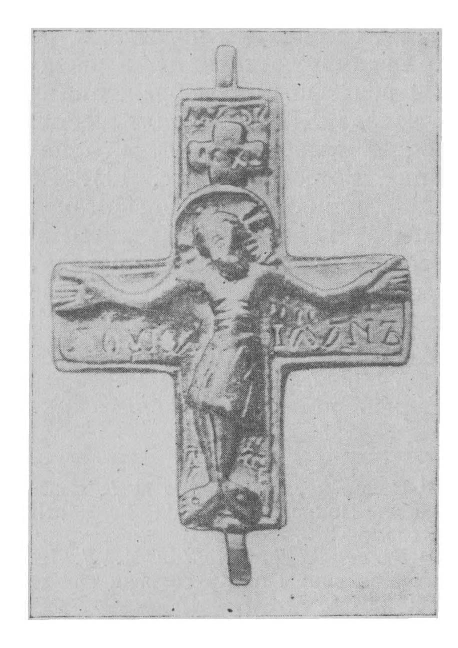


Рис. 8, 9. Киевские **бронзовые кресты-энколпионы конца XII—начала XIII в. Гос. Исторический музей УССР (Киев).**

к концу XII в. В литье энколпионов по существу сказались все основные достижения пластического искусства Киева домонгольского времени. К числу сравнительно редких типов принадлежит энколпион, представленный экземплярами рубежа XII—XIII вв. с изображением на нижней створке Богоматери Десятинной[34] (рис. 8). История развития киевского художественного литья казалась очень неясной и запутанной, но обращение к изучению памятников проливает свет на самые загадочные явления. Одно из них связано с реставрацией и дополнением старых моделей, пример чего дает створка энколпиона с Распятием и выполненными прекрасным эпиграфическим уставом начала XIII в. именами евангелистов (рис. 9). Столь необычная деталь обусловлена тем, что мастер поставлен был перед необходимостью «восстановления» креста рубежа XI—XII вв. с изображенными на его концах бюстами евангелистов и их символами. Между тем в упомянутом изделии налицо черты стиля, отличающего и лучшие образцы киевского литья раннего XIII в. (рис. 11, 12). Художественное литье было массовым видом металлопластики. Однако его «массовость» весьма относительная, особенно в тех случаях, когда изображения были гравированными (рис. 10).

С того времени, как киевские литейщики стали применять каменные формочки, односторонние и двухсторонние (соединявшиеся попарно), появилась возможность передачи сложнейшего мелкого рисунка. Сказалось это и на качественном уровне изделий, о чем можно судить по многочисленным трехбусинным серьгам, звездчатым подвескам, рельеф которых имитирует сложную ювелирную технику, а равно и по произведениям с сюжетными рельефными изображениями. Образцом изящного энколпиона начала XIII в. служит экземпляр с Княжей Горы, имеющий на одной створке Распятие, а на другой — фигуру в рост юного Иоанна Богослова (рис. 11). Изображения — удлиненных пропорций, с тщательно проработанными деталями. Аналогичным по характеру исполнения является и уникальный киотный крест из Херсонеса, с русскими сопроводительными надписями, «зеркальными»,[35] как и на самом распространенном типе киевских крестов-энколпионов, датируемых 1230-ми гг., разошедшихся по всем русским землям и даже далеко за их пределы.[36] Как нам теперь известно, уже до монголо-татарского нашествия предпринимались попытки наладить их воспроизведение на местах,[37]

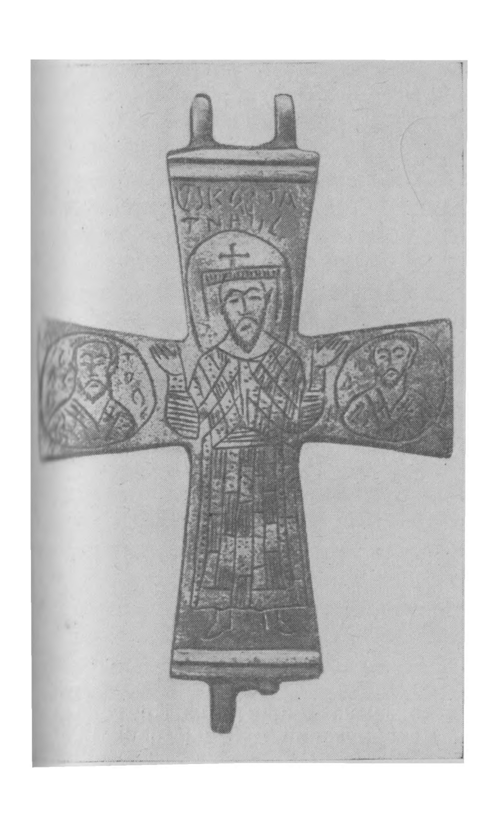
---

[34] Подробнее см.: *Пуцко В. Г.* «Богородица Десятинная» и ранняя иконография Покрова. — В кн.: Festschrift für F. von Lilienfeld. Erlangen, 1982, с. 355—373.

[35] *Белов Г. Д., Якобсон А. Л.* Квартал XVII (раскопки 1940 г.). — В кн.: Материалы по археологии юго-западного Крыма. М.; Л., 1953, с. 147, рис. 30 (МИА, № 34).

[36] *Рыбаков Б. А.* Ремесло Древней Руси, с. 462, 527—528, рис. 123.

[37] Ср.: *Даркевич В. П., Пуцко В. Г.* Произведения средневековой металлопластики из находок в старой Рязани (1970—1978 гг.). — Советская археология, 1981, № 3, с. 226—227, рис. 2 (16), 4.



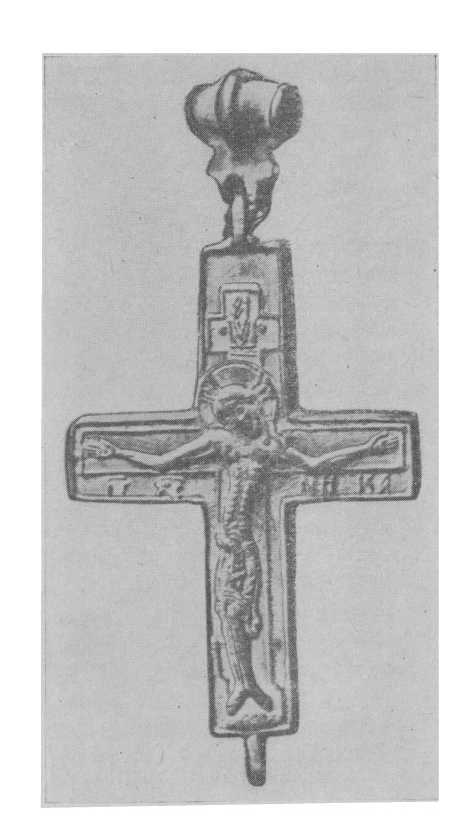


Рис. 10, 11. Киевские бронзовые кресты-энколпионы конца XII—начала XIII в.
Гос. Исторический музей УССР (Киев).

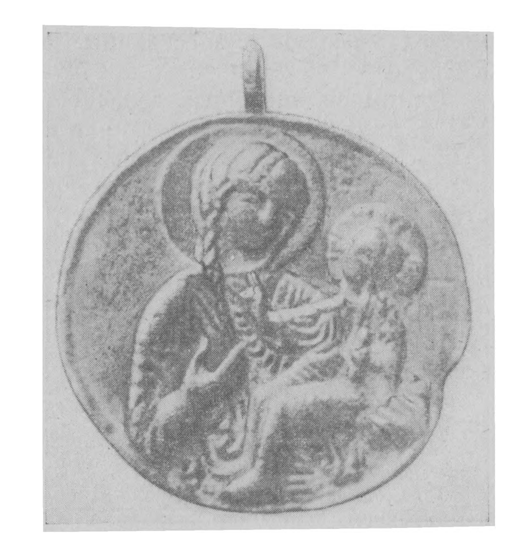


Рис. 12. Богоматерь с младенцем.
Бронзовый медальон. Конец XII в.
Гос. Исторический музей УССР (Киев).

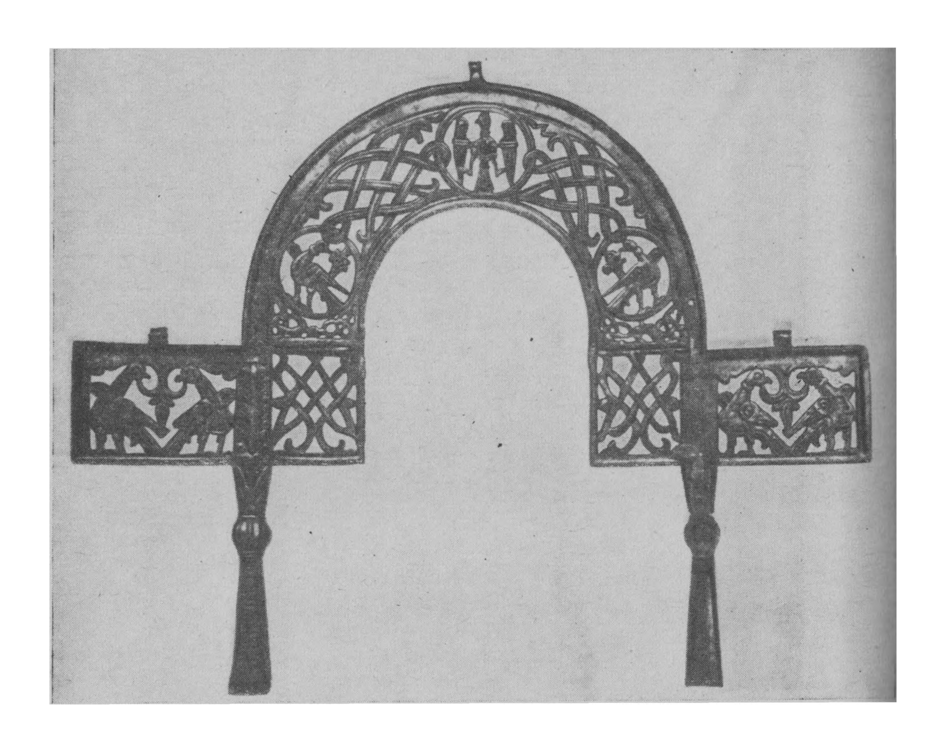


Рис. 13. Арка от хороса из княжеского замка Вщиж близ Брянска. Медь. Вторая половина XII в. Гос. Исторический музей (Москва).

а затем это осуществлялось на территории Золотой Орды.[38] Для уяснения техники изготовления энколпионов в каменных формочках весьма существенны находки древних мастерских в Киеве.[39]

Одним из шедевров художественного литья Киевской Руси XII в. являются бронзовые арки из Вщижа (рис. 13), с их сложным ременным плетением, фигурами птиц и стилизованными звериными мордами рукоятей; на обеих арках надписи с именем мастера Константина.[40] Изделия отлиты по восковой модели.

Среди разнообразных художественных ремесел, процветавших в Киеве на рубеже XII—XIII вв., особенно славилось ювелирное дело, произведения которого сохранились преимущественно в составе многочисленных кладов, зарытых незадолго до трагических

---

[38] См.: *Полубояринова М. Д.* Русские люди в Золотой Орде. М., 1978.

[39] *Козловская В. Е.* Славянские курганы и городища как исторический источник. — Minerva, IV, Киев, 1913, с. 30, табл. 1.

[40] *Рыбаков Б. А.* 1) Ремесло Древней Руси, с. 252—257; 2) Макрокосм в микрокосме народного искусства. — Декоративное искусство СССР, 1975, № 3, с. 38—40.

событий, вызванных монголо-татарским нашествием.[41] Сейчас нам известны не только изделия, выполненные из золота и серебра, а также менее ценных металлов, в различных техниках,[42] но и большое количество литейных формочек.[43] Некоторые из них потом были занесены ювелирами далеко на север.[44]

Одной из сложнейших художественных техник было искусство перегородчатой эмали. Оно представлено колтами, рясками, бармами, медальонами, энколпионами и диадемами.[45] Исключительно тонкими по исполнению являются серебряные браслеты с изображениями русалий, а также птиц и зверей в технике гравировки и черни (рис. 14). Густой черно-бархатный тон черни применялся обычно в качестве фона, на котором контрастно выделялись своей позолоченной поверхностью изображения и орнаменты. По мнению Б. А. Рыбакова, специфическая тематика орнаментики браслетов, исключавшая помещение изображений христианских святых, была обусловлена предназначением этих изделий для «бесовских игрищ».[46] Однако не исключено, что традиционная тематика в XII в. играла уже чисто декоративную роль, как и в иллюминации литургических книг.

Произведения торевтики Киевской Руси, датируемые последними десятилетиями XII в. и началом XIII в., по существу почти не известны, хотя они должны были составлять значительную часть продукции мастеров серебряного дела. Это объяснимо тем обстоятельством, что большая часть изделий, выполненных в технике чеканки, была связана с церковным обиходом и оказалась подвергнутой разграблению. Именно поэтому о произведениях приходится судить по единичным случайно уцелевшим образцам, таким, как медальон с полуфигурным изображением Богоматери Оранты (рис. 15). В чеканных пластинах с христианской иконографией византинизирующие тенденции сохранялись более стойко, чем в произведениях светского характера. Отсюда и особые трудности в разграничении предметов византийского художественного импорта и изделий русских мастеров.

Светское течение в прикладном искусстве Киевской Руси рубежа XII—XIII вв. очень интересно, и притом довольно своеобразно, представлено не только браслетами, но и многочисленными перстнями, особенно имеющими на щитках изображения и владельческие знаки.

Об искусстве золотной вышивки в Киевской Руси было известно главным образом благодаря письменным источникам, пока

---

[41] *Корзухина Г. Ф.* Русские клады IX—XIII вв. М.; Л., 1954, с. 105—142.

[42] См.: *Рыбаков Б. А.* Русское прикладное искусство X—XIII веков. Л., 1971; Древнее золото: Из собрания Музея исторических драгоценностей УССР / Сост. И. В. Бондарь. М., 1975.

[43] *Корзухина Г. Ф.* Киевские ювелиры накануне монгольского завоевания. — Советская археология, 1950, вып. 14, с. 217—235.

[44] См.: *Медынцева А. А.* О литейных формочках с надписями Максима. — В кн.: Древняя Русь и славяне. М., 1978, с. 378—382.

[45] *Макарова Т. И.* Перегородчатые эмали Древней Руси. М., 1975.

[46] *Рыбаков Б. А.* Русское прикладное искусство..., с. 106.

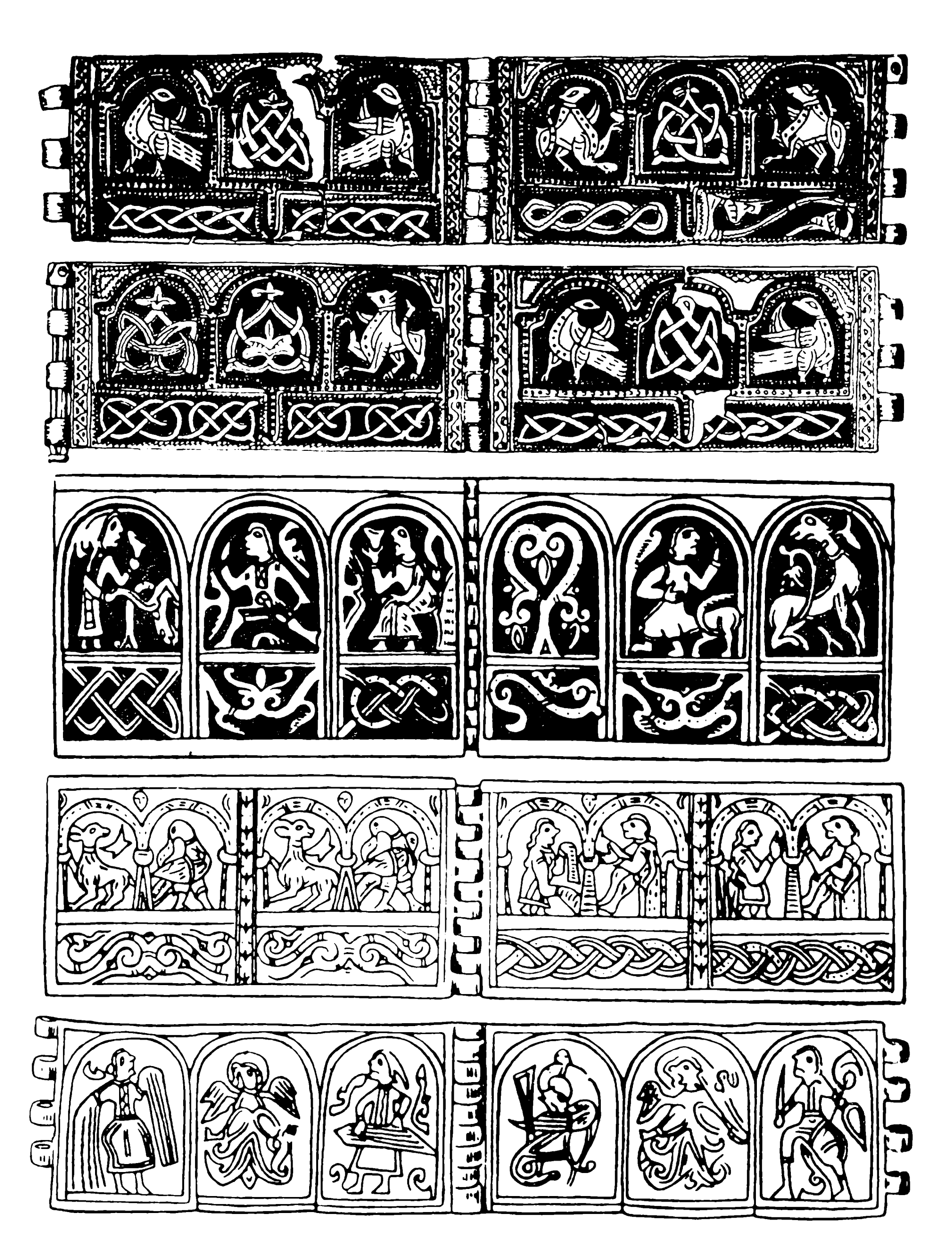


Рис. 14. Орнаментика серебряных браслетов. XII в. (прорись).



Рис. 15. Богоматерь-Оранта. Серебряный медальон. XII в. Гос. Исторический музей УССР (Киев).

археологические открытия не показали, каким богатством орнаментальных композиций отличалось творчество мастерских шитья, в которых преимущественно трудились женщины.[47] Сейчас этот материал не вправе игнорировать ни один серьезный исследователь средневекового прикладного искусства.

При всем том, что мы ставили своей задачей дать самое общее представление о состоянии и развитии искусства Киевской Руси в эпоху «Слова о полку Игореве», оказалось возможным охватить далеко не все проявления духовной культуры на рубеже XII—XIII вв. По справедливому замечанию Д. С. Лихачева, «меньше других областей местные черты и местную замкнутость выработала в себе культура Киева XII в.».[48] Рассмотренные нами материалы могут служить вещественным подтверждением этого тезиса. При выявлении того, что отличает русское искусство эпохи «Слова о полку Игореве» в целом,[49] и особенно светскую струю этого искусства,[50] становится более очевидной роль духов-

[47] *Новицкая М. А.* 1) Гаптування в Київській Русі. — Археологія, 1965, вип. 18, с. 24—38; 2) Давньоруська гаптування з фігурними зображеннями. — Там же, 1970, вып. 24, с. 88—98; 3) Золотная вышивка Киевской Руси. — Byzantinoslavica, 1972, вып. 33, с. 42—50, табл. I—IX; *Орлов Р. С.* Давньоруська вишивка XII ст. — Археологія, 1973, № 12, с. 41—50.

[48] *Лихачев Д. С.* Слово о полку Игореве: Историко-литературный очерк. 2-е изд. М.; Л., 1955, с. 22.

[49] *Воронин Н. Н.* «Слово о полку Игореве» и русское искусство XII—XIII вв. — В кн.: Слово о полку Игореве / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 320—351; *Алпатов М. В.* Русское искусство эпохи «Слова о полку Игореве». — В кн.: *Алпатов М. В.* Этюды по истории русского искусства. М., 1967, т. 1, с. 63—75.

[50] *Грабар А. Н.* Светское изобразительное искусство домонгольской Руси и «Слово о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1962, т. 18, с. 233—271.

ной культуры Киевской земли на рубеже XII—XIII вв. Нет никакой необходимости повторять то, что уже сказано в исторической литературе о месте Киева в политической системе русских княжеств указанного времени и об его экономическом развитии.[51] Искусство, как мы могли убедиться, находилось в состоянии расцвета, и в его судьбе роковую роль сыграло исключительно монголо-татарское нашествие, обрушившееся на Киев в декабре 1240 г.

По мере накопления материала и его планомерного изучения обогащаются наши знания о художественной культуре Киевской Руси. Постепенно становится все более очевидным, что мы имеем дело не с разрозненными произведениями и не с отдельными творческими удачами древних зодчих, художников и ремесленников, мастериц художественного шитья. Это лишь осколки зеркала большого творческого процесса, значение которого трудно преувеличить и переоценить.

---

[51] См.: *Толочко П. П.* 1) Древний Киев. Киев, 1983; 2) Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII—XIII веков. Киев, 1980.





В. П. Козлов

К ИСТОРИИ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» В КОНЦЕ XVIII в.

«Опыту повествования о России» (первоначально он назывался: «Опыт любомудрого и политического о государстве Российском повествования») — труду Ивана Перфильевича Елагина (1725—1793), поэта и писателя XVIII в., не повезло ни с изданием, ни с позднейшим вниманием со стороны исследователей. Лишь после смерти автора, в начале XIX в., была опубликована первая часть его сочинения,[1] хотя еще современники были осведомлены о том, что труд Елагина имел продолжение.[2]

В «Предуведомлении читателю» Елагин сообщал, что к своему сочинению он приступил по совету друзей. Здесь же он рассказал об общем замысле своего «Опыта», охарактеризовал его методологические принципы.

Стремление оценить явления, характеры и поступки людей прошлого с точки зрения своеобразного понимания проблем настоящего придало «Опыту» острое публицистическое звучание. Возможно, это явилось причиной запрета выхода в свет «Опыта» в 1795 г. Но и в начале XIX в., когда первые три книги сочинения Елагина стали доступны широкому читателю, они оказались предметом ожесточенных споров. В упоминавшейся брошюре Л. Неваховича автор был вынужден защищать «беспристрастие» Елагина и его патриотизм, вызвавшие критику в одном немецком ежемесячном издании (Allgemeine Litteraturzeitung, 1804, февраль, № 56). Антиклерикальная направленность «Опыта» встретила в 1805 г. суровую критику на страницах исторического сочинения московского митрополита Платона.[3] Зато восторженный

---

[1] *Елагин И.* Опыт повествования о России. М., 1803, кн. 1—3. В ряде экземпляров встречается титульный лист с первоначальным названием.

[2] *Невахович Л.* Примечания на рецензию касательно «Опыта российской истории» Елагина. СПб., 1806, с. 14—16. Здесь же неясное свидетельство о том, что первая часть «Опыта» еще в 1795 г. была напечатана в Петербурге, но «кажется не вышла в публику».

[3] Краткая церковная российская история, сочиненная Платоном, митрополитом московским, с присовокуплением трех слов Максима Грека

отзыв об «Опыте» мы встречаем в первой книжке журнала «Корифей», издававшегося Я. А. Галинковским.[4]

Судя по тому, что рецензент «Опыта» в «Корифее» привел его первоначальное название, а сам журнал вышел в 1802 г., т. е. до издания «Опыта», можно заключить, что труд Елагина был известен автору рецензии в рукописи. О широком хождении среди современников Елагина первых частей его сочинения свидетельствуют и сохранившиеся списки.[5]

Для темы нашей работы наибольший интерес представляют авторизованные списки «Опыта». В настоящее время все они переплетены в 11 больших рукописей и хранятся в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.[6] Анонимный рецензент «Опыта» в «Корифее», характеризуя труд Елагина, сообщал: «...утверждают, что сие творение состоит в XV томах, которые находятся у наследников сего мужа».[7] Однако, по всей видимости, дальнейшая судьба авторских рукописей «Опыта» оказалась связанной с библиотекой последнего владельца и первого издателя «Слова о полку Игореве» А. И. Мусина-Пушкина. В собранных в начале XIX в. Евгением Болховитиновым материалах для словаря русских светских писателей имеются сведения о том, что в составе рукописного собрания Мусина-Пушкина наряду с рукописями историка И. Н. Болтина хранился «Опыт его (Елагина. — *В. К.*) российской истории, над которым трудился он ежедневно около 10 лет, в 15 книгах. Список оного, его рукою правленный, подарен графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину, яко приятелю его и любителю отечественной истории с сего собственной его руки надписью».[8] К. Ф. Калайдович, автор другой биографии Мусина-Пушкина, также отметил, что Елагин «подарил графу сочиненный им „Опыт повествования о России", состоящий в XV книгах, его рукою правленных».[9]

Биографы Мусина-Пушкина ошиблись только в отношении количества книг «Опыта», называя число 15, тогда как на самом деле их сохранилось не менее 25. Надпись Елагина на одной из них не оставляет сомнения в том, что рукописи ГПБ — из библио-

---

о исправлении славянских церковных книг. 2-е изд. М., 1823, с. XVII—XVIII.

[4] Корифей, или ключ литературы, 1802, ч. 1, с. 120—121.

[5] ГПБ, F.IV.1; F.IV.9 (писарские списки из библиотеки Ф. А. Толстого); F.IV.767 (писарский список из собрания В. Н. Каразина, имеющий запись: «Елагина, собственно автору принадлежавшая рукопись. Вероятно, была в руках Екатерины»); Q.IV.478 (писарский список с экслибрисом библиотеки А. Н. Неустроева); Q.IV.515 (писарский список с авторской правкой).

А. А. Амосов любезно сообщил нам о списках «Опыта» конца XVIII—начала XIX в. (ч. 3—5), хранящихся в РО БАН.

[6] ОР ГПБ, F.IV.34 (1—6); F.IV.651 (1—5).

[7] Корифей, или ключ литературы, ч. 1, с. 120.

[8] ОР ГПБ, Погод. 2009/2, л. 374.

[9] *Калайдович К. Ф.* Биографические сведения о жизни, ученых трудах и собрании российских древностей графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина. — В кн.: Записки и труды ОИДР. М., 1824, ч. 2, с. 18.

теки Мусина-Пушкина: «Список сей, хотя несовершенный, но мною несколько поправленный, передаю я другу моему, Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину, яко охотнику и достаточному в повествованиях русских знатоку, желая, чтоб сочинение мое послужило ему навсегда залогом дружбы и почтения, с которым я был и буду до конца моей жизни, а в замену того прошу содержать сей труд мой, не только несовершенный, но и неисправный, в таинстве от любопытства по предписанию в предуведомлении. Ив. Елагин».[10]

Называя владельца «Слова о полку Игореве» другом, автор «Опыта» не кривил душой. Вместе с рядом современников Елагин входил в мусин-пушкинское объединение, которое столь много сделало в конце XVIII—начале XIX в. в области собирания, издания и изучения памятников отечественной истории.

До переезда Мусина-Пушкина в Москву, последовавшего в связи с его отставкой в 1797 г., с мусин-пушкинским кружком «любителей отечественной истории» кроме Елагина был тесно связан И. Н. Болтин. На основании свидетельств самого Мусина-Пушкина и Болтина можно полагать, что кружок возник около 1784—1786 гг. и уже во всяком случае действовал в 1789 г. В начале 90-х гг. XVIII в. кружок понес ощутимые потери: в 1792 г. умер Болтин, а в 1793 г. — Елагин. Впрочем, после переезда Мусина-Пушкина в Москву кружок получает приток новых сил. Граф знакомится с протоиереем Московского Успенского собора П. А. Алексеевым, автором ряда исторических сочинений, ярым врагом митрополита Платона, восстанавливает свои давние связи с одним из управляющих Московским архивом Коллегии иностранных дел Н. Н. Бантышом-Каменским. Около 1797 г. состоялось знакомство Мусина-Пушкина с Н. М. Карамзиным и А. Ф. Малиновским. В начале XIX в. укрепляются связи с А. Н. Олениным, директором имп. Публичной библиотеки. Через него граф знакомится с сотрудником той же библиотеки А. И. Ермолаевым.

Деятельность московского центра кружка, увенчавшаяся изданием «Слова о полку Игореве», составляет особую страницу в истории научных разысканий сотрудников Мусина-Пушкина. Для темы же нашей работы важно еще раз вернуться к петербургскому периоду истории кружка.

Мусин-Пушкин, Болтин и Елагин представляли примечательных лиц своего времени. Несмотря на разницу в возрасте (Болтин родился в 1735 г., Елагин — в 1725 г., Мусин-Пушкин — в 1744 г.) и разный жизненный путь до встречи в Петербурге их судьба и убеждения оказались во многом похожими. Обязанные своей карьерой Екатерине II, они в чиновной иерархии самодержавной России занимали важные и ответственные посты. Елагин был обер-гофмейстером императорских театров, Болтин — прокурором Военной коллегии, а затем ее членом. Взлет карьеры Му-

[10] ГПБ, F.IV.651/1, первый лист (без пагинации).

сина-Пушкина начался в 1789 г., когда он был назначен управляющим Корпусом чужестранных единоверцев, спустя два года — обер-прокурором Синода, а в 1795 г. — президентом Академии художеств. Сходство судеб дополнялось общностью общественно-политических взглядов. Все они были решительными сторонниками той политики «просвещенного абсолютизма», которую вела Екатерина II, и видели в истории одно из важных средств идеологического воздействия на «общее мнение», внимание к которому проявляла и императрица.

В исторических занятиях кружка отчетливо проявилась двойственность мировоззрения, столь свойственная многим образованным русским людям XVIII в. С одной стороны, их разысканиями двигало искреннее чувство патриотизма, выразившееся в пропаганде героической истории своей Родины, достижений ее культуры, в стремлении разоблачить несправедливые суждения иностранцев о «варварстве» соотечественников в далеком и близком прошлом. С другой стороны, этот патриотизм имел и консервативный оттенок, когда борьба с дворянским космополитизмом соединялась с критикой просветительской идеологии, осуждением Французской революции, защитой самодержавия и крепостничества. Эта двойственность видна во многих изданиях и исследованиях кружка: публикациях Русской Правды, «Поучения» Владимира Мономаха, Книги Большому Чертежу, «Критических примечаниях» Болтина, его полемике со Щербатовым, работах Мусина-Пушкина о Тмутараканском княжестве и Холопьем городе.

Члены кружка сумели осознать необходимость разыскания и введения в общественный оборот исторических источников. В этом деле они оказались счастливыми первооткрывателями уникальных древностей: «Слово о полку Игореве», Лаврентьевская летопись, Тмутараканский камень с древнерусской надписью XI в., так называемый сребреник князя Ярослава, — таков далеко не полный перечень сделанных находок, часть которых вместе с сотнями других рукописей, старинных монет и медалей коллекции Мусина-Пушкина оказалась утраченной после Московского пожара 1812 г.

Во многих местах «Опыт» отразил исторические разыскания кружка Мусина-Пушкина. В опубликованной части труда содержится прямое указание на собрания членов этого объединения и даже своеобразный коллективный характер их работы.

«Опыт» был задуман как фундаментально документированное историческое сочинение с обширными примечаниями (автору удалось подготовить примечания только к первой части) и родословными таблицами. Среди его источников преобладают материалы, опубликованные к началу работы над ним, но Елагин ссылался и на неизданные источники. В их числе «скорописная летопись под именем Мамаева побоища», «рукописный список князя Курбского» и др. Его труд пронизан заботой о сохранности исторических источников.

Богатейшее собрание Мусина-Пушкина не было закрыто для круга близких его владельцу лиц. Кроме Карамзина, Оленина

этими рукописями пользовался для своих сочинений Болтин. Необошел собрание своим вниманием и Елагин. В «Опыте» он ссылается, например, на принадлежавшую графу Никоновскую летопись с правкой патриарха. Г. Н. Моисеева попыталась обосновать гипотезу о том, что «Слово о полку Игореве» в коллекции Мусина-Пушкина было уже в конце 80-х—начале 90-х гг. XVIII в.,[11] и едва ли не впервые в литературе предположила даже возможность участия Елагина в составлении первых комментариев памятника.[12] Но ни в описании похода и битвы Игоря Святославича, ни в других «подходящих», казалось бы, местах «Опыта» указания на «Слово» нет. Оно содержится в месте, может быть, неожиданном, но вписывающемся в общую патриотическую концепцию труда Елагина. В седьмой части «Опыта», рассказав о событиях 1472 г. в Новгороде, Елагин пространно изложил свою общую оценку влияния на Русское государство ордынского ига. Часть этого рассуждения имеет прямое отношение к теме данной статьи. Оно содержится в трех списках: *А*,[13] *Б*[14] и *В*.[15] Ввиду важности текста он публикуется здесь по всем спискам с максимальным сохранением особенностей правописания в цитате из «Слова о полку Игореве». В основу положен наиболее завершенный авторский текст (список *В*).

«Здесь прилично почитаю коснутся истиннаго[а] показания внешним писателям, которыя и сами верят и в свет выдают,[б] якобы Россия вовся[в] времена[г] подобно дикому народу, во мраке невеждества пребывала. Толь не праведное понятие получили они от прерваннаго[д] татарами сообщения нашего с Европою, ибо[е] много показать можем свидетельств, что за несколько пред[ж] нашествием Батыя[з] веков,[и] при самых первых[к] еще[л] Киевских и новогородских князьях, художествами[м] и самыми науками от про-

[11] *Моисеева Г. Н.* Спасо-Ярославский хронограф и «Слово о полку Игореве». 2-е изд. Л., 1984, с. 105.

[12] *Моисеева Г. Н.* Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980, с. 110.

[13] ОР ГПБ, F.IV.651/3, с. 206—207 (черновой автограф с правкой красными чернилами).

[14] Там же, 651/4, с. 151 (писарская копия, с правкой Елагина).

[15] Там же, 34/5, с. 435—437 (вторичная писарская копия, авторизованная).

[а] *Испр. Елагиным из* истинного (*как в Б*). [б] *В Б эти 16 слов написаны вместо зачеркнутого и читающегося в А*: Мы не имеем нималейшия притчины думать, ниже замечиному внешними писателями порицанию верить. [в] *В Б это и следующее слово написаны вместо зачеркнутого и читающегося в А*: всегда. [г] *В А слово отсутствует.* [д] *Испр. Елагиным из* прерванного (*как в Б*). [е] *В А начало предложения отсутствует, в Б написано между строк и на полях.* [ж] *В А далее*: сим. [з] *В Б два слова написаны над зачеркнутым*: сим. [и] *В Б далее*: ещё. [к] *Слово написано над строкой* [л] *В А слово отсутствует, в Б написано над строкой.* [м] *Испр. Елагиным из*: художествовали.

свещения протчих она не отставала. Оставшияся от едкия ветхости,[н] в древних градах наших[о] велелепия в зданиях храмов, в них зодчества и живописи греческой, и мозаичных украшений остатки, из всякаго[п] сумнения долженствуют их,[р] в разсуждении художеств вывести,[с] а прекрасныя преложения, в первых по возприятии христианства веках,[т] церковных книг, и всего божественнаго[у] писания, на язык словянский,[ф] достаточно и знание словесных наук утверждают.[х] Мы можем[ц] притом показать сохраненное от древности[ч] похвальное слово (с)[ш] Игорю[щ] Олговичу,[ы] в его время, то есть в начале XII века писанное,[э] и[ю] не сумненное потому, что сказано в нем: „почнемъ[я] братіе повѣсть[II, а] сію, отъ стараго[б] Владиміра[в] донынѣшняго[г] Игоря, иже истягну умъ крѣпостію[д] своею, и поостри[е] сердца[ж] своимъ мужествомъ!" Слово сие преизполнено все-можныя[з] риторския красоты.[и] При таких свидетельствах[к] и сам Нестор, порядочным своим о русском народе повествованием, доказывает, что он[л] и не первый, и не худший[м] греческих, у нас писатель был. . .»

Как видим, в черновом авторском списке (*А*) упоминание о «Слове» отсутствовало. Затем Елагин включил в него текст о поэме красными чернилами. Переписчик учел эту вставку (список *Б*). Текст о «Слове» по списку *Б* был вновь поправлен автором, что учтено в списке *В*. При чтении списка *В* Елагин внес новую незначительную правку. Из всех исправлений обращает на

[н] *В А три слова написаны красными чернилами над строкой.* [о] *В А далее два слова замазаны чернилами.* [п] *Испр. Елагиным из*: всякого (*как в А и Б*). [р] *В Б два слова написаны над зачеркнутым*: нас (*как в А*). [с] *В Б слово написано над зачеркнутым*: выводят (*как в А*). [т] *В А шесть слов написаны над строкой красными чернилами.* [у] *Испр. Елагиным из*: божественного (*как в А и Б*). [ф] *В А написано красными чернилами вместо зачеркнутого*: российский. [х] *В А все последующее предложение написано красными чернилами в конце страницы и на полях.* [ц] *В А*: Можем мы; *в Б эти два слова переставлены правкой.* [ч] *В Б далее зачеркнуто*: прекрасное (*как в А*). [ш] *Справа на полях*: (с). Смотри примеч[ание] №. Древняя рукопись Книгохранительн[ицы] г-на Пушкина. *В Б*: (+) Смотри примеч[ание] №. Древнея (*далее зачеркнуто*: ско[рописная] (? — *В. К.*)) рукопись Книгохранительн[ицы] г-на Пушкина. *В А* (*красными чернилами на полях*): (+) Смотри примеч[ание] №. Из кн[иго]хр[анительницы] (кн[иги] хр[онограф]? — *В.К.*) господ[ина] Пушкина. MS древний. [щ] *Слово зачеркнуто и сверху вновь восстановлено.* [ы] *В Б* Олговичу; *написано над зачеркнутым*: Святославичу, внуку Олгову (*как в А*). [э] *В Б пять слов написаны над зачеркнутым*: лета от рож[дества] Хрис[това]; *далее оставлен пропуск и следует зачеркнутое слово*: писанное. *В А читается зачеркнутое в Б.* [ю] *В А слово отсутствует, в Б вставлено Елагиным.* [я] *В А, возможно, написано*: Почне (*если не принять за выносную букву* м *неясный значок между строк*). [II, а] *В А*: Повѣсть. [б] *В А и Б*: старого. [в] *Испр. Елагиным из*: Владимера (*как в А и Б*). [г] *В А*: донынѣшняго. [д] *Испр. Елагиным из*: крепостію (*как в А и Б*). [е] *В А*: поѡстри. [ж] *Испр. из*: серца (*как в А и Б*). [з] *В Б*: всеможныя. [и] *Все предложение отсутствует в А и вставлено в Б между строк и на полях.* [к] *Три слова отсутствуют в А и вставлены в Б между строк и на полях.* [л] *В А слово вставлено над строкой красными чернилами.* [м] *В А далее зачеркнуто*: у нас.

себя внимание замена чтения «Святославича» на «Олговича», отразившая нерешительность автора «Опыта» в определении того, какому Игорю посвящено упоминаемое им «похвальное слово». В черновом списке он определяет его правильно — «Святославичу, внуку Олгову» (в первом издании «Слова» и Екатерининской копии — «Ольгову»; для всего «Опыта» характерно «Олгову»), затем в промежуточном списке *Б* исправляет это на «Олговичу», и это чтение закрепляется в списке *В*. Соответственно в «Опыте» Елагин нерешительно датировал поэму: в списках *А* и *Б* дата не указана, а в списке *В* поставлена неверная дата — начало XII в.

Можно только предполагать причину этой неуверенности Елагина. В своем предварительном сообщении[16] мы высказывали соображение о том, что исправление «Святославича» на «Олговича» могло быть сделано Елагиным под влиянием пятой части «Записок касательно российской истории» Екатерины II, содержавшей известный «Родословник». К такому заключению подтолкнули сохранившиеся источники. Так, статс-секретарь императрицы А. В. Храповицкий 4 мая 1793 г. записал в своем дневнике: «Вошел я с почтой после Пушкина Алеши. Сказывали, что Елагин дивится, откуда собран Родословник древних князей российских, и многое у себя в Истории поправил».[17] Сама Екатерина II в письме к французскому писателю Ф. М. Гримму от 28 июня—5 августа 1793 г., характеризуя «Родословник», сообщала: «О, как прекрасна эта номенклатура! Это поистине работа ленивого ума, у которого нет идеи. Г. Елагин, который изложил русскую историю в стиле декламаторском, потому что он красноречив и скучен, теперь переправляет свою историю по нашей генеалогии».[18]

Между тем «Родословник», по которому сверял свой труд Елагин, содержал немало ошибок, неясностей и противоречий. Так, например, в одном месте у Святослава Ольговича названо пять сыновей, в другом — три. Игорь Святославич показан в «Родословнике» как княживший с 1147 г. в Рязани и Тмутаракани, и в то же время указан год его рождения — 1157.[19] Ту же картину мы видим и в случае с Игорем Ольговичем. Он показан как княживший в Киеве с «1146 по 1146» (так. — *В. К.*), как постригшийся в монастырь в 1147 г., как убитый в Киеве в 1149 г. и в то же время княживший в Новгороде-Северском «от 1152 по» (так. — *В. К.*).[20] Исходя из этого, мы предположили, что именно противоречия сочинения Екатерины II в датах княжения Игоря Святославича — до его рождения в 1151 г. и княжения Игоря Ольговича в 1152 г. — после его смерти в 1149 г. и могли подтолк-

---

[16] *Козлов В. П.* «Слово о полку Игореве» в «Опыте повествования о России» И. П. Елагина. — Вопросы истории, 1984, № 8, с. 29—30.

[17] Дневник А. В. Храповицкого. М., 1901, с. 250.

[18] Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей. СПб., 1906, т. 11, с. XXIV.

[19] Там же, т. 10, с. 31, 47, 60, 88.

[20] Там же, с. 31, 47, 107, 135.

нуть автора «Опыта» на исправление «Святославича» на «Олговича».

С объяснением этого вопроса в нашем предварительном сообщении оказался связанным и ответ на другой вопрос: когда была внесена елагинская цитата из «Слова» в черновой авторский список (*А*) седьмой части «Опыта»? Ключом к этому является хронология работы Елагина над своим трудом. Судя по записям на сохранившихся рукописях «Опыта», она выглядела следующим образом.

Свое повествование Елагин задумал начать с правления Ивана III и надеялся довести его до середины XVIII в. К январю 1788 г. он закончил рассказ о времени Ивана III. Это были три книги, составившие первую часть «Опыта» (позже превратившуюся в его седьмую часть). 7 января 1788 г. Елагин приступил к работе над книгами второй части (ставшей затем частью восьмой). Они были вчерне завершены 24 марта 1789 г. На следующий день Елагин перешел к годам правления Ивана Грозного и в дальнейшем довел свой рассказ до 1564 г. Однако, по свидетельству самого автора, вскоре друзья убедили его начать повествование о России с древнейших времен. «Читателю, — записал он на одной из рукописей, — подобает ведать, что опыт повествования моего начал я два года прежде, нежели пустился в летопись первоначальныя народа русского истории, со царствования Иоанна I, самодержца Московского, и уже до внука его, Иоанна II, прозванного Грозным, который совершенно Казанским и Астраханским овладал царством, написал. Но то начало, по убеждению друзей моих, требовавших от меня полного о России повествования, оставил, и се, к присоединению всего целого, к тому началу приступаю... Объявленное в уменачертании моем намерение трудиться до времен царствования императрицы Елисавет Петровны, т. е. до половины XVIII столетия».[21]

Отложив описание царствования Ивана Грозного, в начале мая 1790 г. Елагин приступил к главам, которые составили в конце концов первую часть его «Опыта». 10 октября того же года он начал вторую часть, в феврале 1791 г. — третью, завершив ее в конце июня—начале июля и приступив к следующей. 1 января 1792 г. была закончена четвертая часть «Опыта». На следующий день Елагин уже работал над пятой частью. Шестая была начата им в октябре того же года и доведена, как уже отмечалось, до 1450 г. О дальнейшем говорит приписка неизвестного автора на писарском, правленном Елагиным, списке этой части: «Здесь постигшая болезнь и смерть сочинителя остановили повествование. 12-ю годами не соединился он с первым труда своего началом, т. е. с описанием царствования великого князя Иоанна Васильевича III, проименованного Великим, которое начинается в 1462 г.».[22]

---

[21] ОР ГПБ, F.IV.34/4, с. 2.

[22] Там же, последний лист (без пагинации).

Поскольку текст о «Слове» был внесен красными чернилами, а правка красными чернилами идет по всей седьмой части «Опыта», ясно, что елагинская цитата из поэмы появилась после завершения работы над этой частью, т. е. после января 1788 г. Такова первая крайняя дата вставки о «Слове» в «Опыт». Вторая крайняя дата вставки о «Слове» ограничивается датой смерти Елагина, которая последовала 22 сентября 1793 г.[23]

В своем предварительном сообщении о елагинской цитате из «Слова» мы попытались уточнить датировку вставки. Отправной точкой наших рассуждений являлось то, что ни в описании правления Игоря Ольговича, ни в описании похода Игоря Святославича на половцев в той части «Опыта», которая была закончена Елагиным 1 января 1792 г., упоминания о «Слове» не было. Более того, в начале описания похода 1185 г. на полях в рукописи «Опыта» имеется чья-то запись карандашом: «Поход Игорев, воспетый подражателем Бояну. Зри сию поэму».[24] На основании этого можно было полагать, что к началу 1792 г. Елагин еще не знал о «Слове» и вставка красными чернилами в списке *А* о поэме относится ко времени не ранее 1792 г. Имелась и еще одна немаловажная деталь. В рукописи «Опыта» красными же чернилами сделаны различные вставки, в том числе и ссылки на мусин-пушкинское—болтинское издание «Русской Правды», вышедшее в свет в апреле 1792 г.[25] Отсюда следует заключение, что правка красными чернилами была внесена в «Опыт» после апреля 1792 г.

Кроме того, исходя из предположения, что исправление «Святославича» на «Олговича» в «Опыте» было сделано под влиянием «Родословника», вышедшего до мая 1793 г., мы заключили, что и правильное чтение «Святославича» (вставки списка *А*, а вместе с этим и сама вставка) существовало до мая 1793 г. Таким образом, в нашем предварительном сообщении предположительно датировка елагинской вставки о «Слове» была определена между апрелем 1792 г. и маем 1793 г.[26]

Наша предварительная и предположительная датировка основывалась на одновременности доработки Елагиным своего труда в самые последние годы жизни. Однако повторное знакомство с рукописью «Опыта», содержавшей вставку из «Слова», показало, что не исключена возможность и ее более ранней датировки временем, близким к тому, когда был завершен черновой авторский текст седьмой части «Опыта», т. е. 1788—1789 гг. В пользу

---

[23] См.: Сочинения и переводы, издаваемые Российской академией. СПб., 1808, ч. 3, с. 75.

[24] ОР ГПБ, F.IV.34/3, с. 319. В рукописи Елагин, говоря о времени завершения работы над этой частью, поставил 1791 г., но это явная описка, так как выше имеются записи за 4 июля, 30 августа, 1 сентября 1791 г. Запись за январь, следовательно, относится к 1792 г.

[25] *Моисеева Г. Н.* Древнерусская литература..., с. 111.

[26] *Козлов В. П.* «Слово о полку Игореве» в «Опыте повествования о России» И. П. Елагина, с. 29.

такой датировки говорят три косвенных факта. Во-первых, списки *А* и *Б* написаны на идентичной бумаге, в то время как список *В* и другие части «Опыта» написаны на бумаге с совершенно иными филигранями. Если рассматривать это как показатель относительной одновременности составления списков *А* и *Б*, то следует, что вставка из «Слова» могла быть сделана в 1788—1789 гг., поскольку в списке *Б* она уже органически вошла в текст «Опыта». Во-вторых, в списках *А* и *Б* в отличие от списка *В* имеется еще первоначальная нумерация книг «Опыта». Иначе говоря, то, что явно позже стало у Елагина седьмой частью, в этих списках еще является первой частью. Это также можно рассматривать как косвенный признак того, что вставка из «Слова» была сделана до того, как Елагин приступил к повествованию от библейских времен, т. е. до мая 1790 г. В-третьих, в седьмой части нет каких-либо ссылок на историческую литературу, вышедшую, например, после 1790 г. Таким образом, в качестве второй гипотезы можно выдвинуть и датировку елагинской вставки временем с 1788 до мая 1790 г.

Чем же важно приведенное выше упоминание о «Слове» в «Опыте» Елагина?

Во-первых, в историю открытия и ранних исследований поэмы оно вводит новое, ранее лишь предполагавшееся (в частности, Г. Н. Моисеевой) лицо — Елагина, современника открытия «Слова», человека, входившего в мусин-пушкинский кружок «любителей отечественных древностей». Для истории изучения поэмы представляет интерес попытка Елагина поставить ее в общий контекст развития древнерусской культуры, придать характеристике памятника патриотическое звучание, а также определить ее жанр как похвальное слово, с присущими ему «риторскими красотами». Последнее придает оригинальность оценке «Слова» в «Опыте». Напомним, что самые первые исследователи видели в памятнике преимущественно поэтическое произведение, сравнимое с поэмами Оссиана, «ироическую песнь». Елагин предложил новое определение жанра памятника как исторического похвального слова. Несомненно, что такое определение было навеяно первыми попытками Российской академии стимулировать развитие жанра похвальных слов национальным героям прошлого, которые в определенной мере нашли свое воплощение лишь в начале XIX в., когда ею были организованы конкурсы на лучшие похвальные слова Александру Невскому, Ивану Грозному, Дмитрию Пожарскому, Алексею Михайловичу, Петру I и др.

Во-вторых, не исключено, что упоминание Елагиным «Слова» является по времени самым первым из известных в историографии поэмы и первым определенным свидетельством о «несумненной» древности памятника, уже хранившегося в библиотеке Мусина-Пушкина.

В августе—ноябре 1792 г. чешский славист И. Добровский, находясь в Петербурге, ознакомился с библиотекой графа. А. С. Мыльников предположил, что Мусин-Пушкин показал ему

и «Слово».[27] Однако в своих письмах до 1800 г. чешский славист, рассказывая о «раритетах» собрания графа, ни словом не обмолвился о том, что оно стало ему известно. После того, как поэма была напечатана, Добровский проявил к ней живой интерес. Это можно рассматривать как признак того, что ранее она не была ему известна. Отсюда можно заключить: либо «Слова» в это время в библиотеке Мусина-Пушкина еще не было, либо граф по какой-то причине решил не показывать памятник чешскому ученому.

На наш взгляд, именно последнее обстоятельство сыграло решающую роль в том, что поэма в это время осталась неизвестной Добровскому. Помимо того, что потребовалось определенное время на первичное знакомство и осмысление памятника, Мусин-Пушкин явно не спешил сделать его широко известным. Иначе невозможно объяснить тот факт, что о находке «Слова» граф вплоть до его издания официально не уведомил даже Российскую академию, активным сотрудником которой он являлся в первой половине 90-х гг. XVIII в. Между тем ясно, каким важным подспорьем мог быть памятник в составлении академического словаря. Ведь еще в 1783 г. академия «для достижения сего намерения (подготовка словаря. — *В. К.*), при малых пособиях, каковые отыскать можно в печатных и письменных сего рода собраниях, почла за лучшее средство дополнить оные словами, выбираемыми из всех книг церковных и светских сочинителей, разных летописей, законов, как древних, так и новейших, записок путешественников. . .».[28]

Причина неторопливости графа с обнародованием «Слова» видится в стремлении обеспечить национальный и личный приоритет его открытия и объяснения. Вспомним, как позже Мусин-Пушкин болезненно прореагировал на предложение английского посла Дугласа продать Лаврентьевскую летопись. «Опасаясь, — писал он, — чтобы находившийся у меня список впоследствии времени не имел равного жребия с так именуемым Кенигсбергским, который даже и издан иностранцем, я приемлю дерзновение поднести свой список государю императору. Тогда уже бесполезны останутся все усилия иностранцев, неоднократно покушавшихся о приобретении драгоценного сего источника наших бытописаний. . .».[29] Ясно, почему «Слово» не могло быть показано Добровскому и почему к его изданию впоследствии были привлечены два сотрудника Московского архива Коллегии иностранных дел Н. Н. Бантыш-Каменский и А. Ф. Малиновский и остался в стороне их коллега И. Стриттер.

С другой стороны, понятно и желание графа связать свое имя с выдающимся историческим памятником.

---

[27] *Мыльников А. С.* «Слово о полку Игореве» и славянские изучения конца XVIII—начала XIX в. — Вопросы истории, 1981, № 8, с. 35—48.

[28] Сочинения и переводы, издаваемые Российской академией, ч. 2, с. 10.

[29] *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1900, кн. 14, с. 391—392.

После смерти Болтина и Елагина, к помощи которых можно было обратиться, Мусину-Пушкину пришлось, по его собственному свидетельству, самому «несколько лет» заниматься «разбором и преложением оныя Песни на нынешний язык».[30] Предварительная работа над переводом и комментированием поэмы в течение «нескольких лет» была закончена в 1795 г. 6 сентября 1795 г., препровождая к статс-секретарю Екатерины II В. С. Попову какие-то рукописи императрицы, Мусин-Пушкин сообщал: «Я занимался в прошедшие дни чтением оных с крайним прилежанием и, к удивлению моему, нашел здесь многое, чего ни у Татищева, ни в других летописях, ни в самих Записках нет. Родословие князей удельных выведено с такою точностию, что лучше желать невозможно. Велик поистине труд и для истории отечественной много поведает свету.

Я, посредством сих таблиц, нашел совершенную развязку в разных предметах, доселе неизвестных, и о коих тщетно искал объяснения в других летописях, которые и покажу Вам, если угодно, как скоро перепишут».[31] Поскольку занимавшие в это время графа «предметы» были связаны со «Словом», нельзя не видеть в его словах Попову свидетельства о комментировании памятника и изготовлении с него копии и перевода, ныне известных как екатерининские бумаги по «Слову».

В-третьих, значение использования «Слова» в «Опыте» определяется тем, что оно приоткрывает историю изучения поэмы в первые годы после ее открытия.

Исправление Елагиным «Святославича» на «Олговича» мы вправе рассматривать как один из этапов, может быть, самый ранний, изучения и комментирования «Слова» мусин-пушкинским кружком. И это исправление говорит о том, насколько сложен и труден был процесс познавания поэмы ее первыми читателями, что нельзя не принимать во внимание и при исследовании дальнейшей судьбы памятника вплоть до его первого издания. Учитывая это, а также приведенное выше свидетельство графа в письме к Попову, можно определенно заключить, что генеалогические изыскания императрицы оказали влияние и на комментарии к поэме в екатерининских бумагах по «Слову». Именно следованием за «Родословником» можно объяснить, почему Мусину-Пушкину остались неизвестными князья Борис Вячеславич, Изяслав Василькович; почему Борис Всеславич в комментариях княжил в Полоцке с 1073 по 1128 г.; почему в XII в. граф знает четырех князей Глебов, тринадцать князей Всеволодов, трех князей Рюриков, семь князей Давыдов, восемь князей Романов; почему имя легендарного Гостомысла оказалось прозвищем великого князя Ярослава и т. д.

В-четвертых, самостоятельный интерес для изучения поэмы представляет елагинская цитата из нее, являющаяся по времени

---

[30] *Калайдович К. Ф.* Биографические сведения..., с. 36.

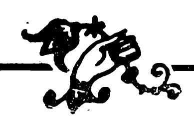
[31] ОР ГПБ, ф. 609, д. 244, письмо 3 (копия).

наиболее ранним воспроизведением фрагмента текста памятника. Цитата не во всем совпадает с соответствующим местом первой публикации поэмы и ее Екатерининского списка. Отличия сводятся к следующему: отсутствует частица «же» после «почнемъ», вместо «своего» поставлено «своим». Есть расхождения и в правописании.

Эти расхождения существуют и в цитате из «Слова» у Елагина во всех трех списках, являясь не результатом сознательной правки автора «Опыта», а следствием отступлений переписчика рукописи *Б* от своего оригинала *А* и писца рукописи *В* от своего оригинала *Б*. Правку Елагиным цитаты из «Слова» в списке *В* (в словах «Владимiра» и «крѣпостiю» он исправляет соответственно «е» на «i» и «е» на «ѣ», а «сердца» пишет через «д») вряд ли можно рассматривать как стремление точнее передать правописание «Слова». Она скорее всего связана с намерением Елагина приблизить правописание писца к тому, которое казалось правильным ему. Подобная правка видна по всей рукописи. В опубликованном выше отрывке такие исправления есть в словах «свидетельствах» и «писатель», где «е» заменено на «ѣ». Соответственно можно объяснить и отличия елагинской цитаты из «Слова» по списку *А* от первого издания и Екатерининской копии поэмы. В цитате мы читаем «старого» вместо «стараго», «нынѣшнего» вместо «нынѣшняго», «крепостiю» вместо «крѣпостiю», «поѡстри» вместо «поостри».

Примечание к упоминанию поэмы особенно в редакции списка *Б*, где помимо указания на древность рукописи Елагин, возможно, хотел написать «ско[рописная]», дает основание для положительного заключения о знакомстве автора «Опыта» с подлинным списком «Слова». Однако в таком случае остается непонятным, почему он был нерешителен относительно определения героя, которому посвящена поэма, — ведь в ее рукописи прямо говорилось об Игоре Святославиче. Поэтому на основании имеющихся фактов мы не можем с твердой определенностью сказать, по подлиннику или по списку, со слов Мусина-Пушкина, других лиц или по памяти приведена Елагиным цитата из «Слова». Ясно только, что ее текст по списку *А* является наиболее близким к тому, что находилось в распоряжении автора «Опыта», и что он в ряде деталей, отмеченных выше, не совпадает с Екатерининской копией, первым изданием поэмы, а также с ее сохранившимися переводами XVIII в.

Не исключено, что рассмотренное выше упоминание «Слова» — не единственное в «Опыте» Елагина. Изучение пространного елагинского сочинения — одного из оригинальных историко-публицистических трудов конца XVIII в. — может дать новые факты, связанные с открытием и первыми исследованиями поэмы. Обнаружение елагинского текста о «Слове» подтверждает возможность новых открытий, которые могут способствовать дальнейшему восстановлению истории утраченной рукописи.



В. В. Колесов

К АКЦЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Публикация акцентной реконструкции текста «Слова о полку Игореве» [1] прежде всего отозвалась на практической работе с памятником, с его изданием и с переводами на современный русский язык.[2] Главным образом поэты, почувствовав необычный для современного слуха и чувства ритм древнего эпического произведения, использовали реконструкцию в своих переложениях — их появилось довольно много. Стали выходить и научные издания, рекомендации которых представляются очень важными в осмыслении предложенной ритмической реконструкции. Напомню, что ее основная задача заключалась в следующем. Прежде всего, нужно было восстановить акцентную схему древнерусского памятника в максимальном приближении к древнерусской просодической структуре речи; это возможно сделать на основе современных исследований по исторической акцентологии. При этом речь идет о таком текстовом материале, который до нас дошел, а не о вторичных, обязанных аналитическим усилиям научной мысли, его реконструкциях — исходной базой описания неизбежно должен стать достоверно описанный текст. Единицей ритмической реконструкции должны стать мельчайшие фрагменты текста: «тактемы», «фразы», «формулы», «колоны» — любой рабочий термин из числа предложенных специалистами тут пока условен, поскольку еще не раскрыта функциональная сущность такой ритмической единицы; мы только подходим к ее познанию. Опасность заключается в поспешном осовременивании древних поэтических размеров, что нежелательно. Пока установлено лишь, что каждая из подобных единиц организуется общностью одного «сильного» ударения и одного—двух второстепенных скользящих. Чтобы проделать эту работу с надежностью, следовало соотнести словесный материал памятника с древнерусскими акцентован-

[1] *Колесов В. В.* Ударение в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 23—76.

[2] См., например: Слово о полку Игореве / Сост. А. Е. Тархов; Науч. ред. В. В. Колесов; коммент. А. Чернова. М., 1981; и др.

ными источниками и с известными к настоящему времени результатами сравнительно-исторической реконструкции древнерусского словесного ударения.

Естественно, что эта проблематика смыкается с вопросами реконструкции акцентной схемы фольклорных текстов, типологически и исторически сходных с ритмикой «Слова о полку Игореве». Так, некоторые исследователи уже приняли идею о ритмическом различии и в народном эпическом стихе ударений основных (ладовых) и факультативных в составе колона (два «лада» на стих).[3] Типологическая и историческая соотнесенность реконструкций того и другого вида несомненно перспективна.

Разумеется, первоначально работа над текстом «Слова о полку Игореве» не могла охватить сразу все аспекты ритмической реконструкции, поэтому мне как ее автору кажутся странными упреки критика и риторические сожаления о том, что одновременно с ритмической реконструкцией не проведена и реконструкция самого текста с учетом всех имеющихся в литературе вопроса конъектур, причем обязательно в фонетически целостном виде.[4] Выражено сожаление, что я использовал только «канонический» текст мусин-пушкинского издания и, вполне доказав поэтический характер «Слова о полку Игореве» (как будто это нужно было доказывать!), тем не менее не «разбил текст на стихи», не выделил строфы и т. д., т. е., другими словами, не выявил наглядным образом всей поэтической структуры памятника, отчего и ритмическая его реконструкция кажется незавершенной. Между тем мне кажется и сейчас, что все эти невольно перечисленные этапы работы над древним текстом представляют собою логически вытекающие одна из другой исследовательские последовательности, и было бы опасно смешивать в одной работе все виды реконструкции текста. Только после акцентной реконструкции текста вполне естественно перейти к реконструкции ритмических основ этого текста.[5]

К сожалению, мой критик невнимательно прочел и исследовательское обоснование статьи, и положенные в основу реконструкции принципы работы над текстом. Между тем это важно. Для Дж. Хани все акценты, представленные в «Слове о полку Игореве», по существу равноценны и одинаковы также и в том смысле, что он не разграничивает различных способов расстановки ударений в тексте и принципов акцентовки в истории языка. Для него весь текст един. Наоборот, только подход к работе над текстом, который был избран с самого начала, не запрограммированный на текстологию, на конъектуры, на пере-

---

[3] *Bailey J.* The Earliest Examples of Russian Folk Meters. — In: Russian Poetics. Columbus—Ohio, 1975, p. 11—24.

[4] *Haney J. V.* Some Prosodic Features in the Discourse on Igor's Campaign. — In: Occasional Papers in Slavic Languages and Literature. Seattle, 1982, p. 3—52.

[5] *Колесов В. В.* Ритмика «Слова о полку Игореве»: (К вопросу о реконструкции). — ТОДРЛ, Л., 1983, т. 37, с. 14—24.

становки текстов и проч., позволяет в конце-концов наглядно выявить «прорывы» ритма, которые очевидно отражают разное отношение автора текста к смыслу высказывания в устном исполнении художественного текста.

«Попевки» Бояна выделяются при этом сразу: они видны невооруженным глазом, поскольку в ритмике афористично-пословичных форм явственно отражены квалитативные вариации слогов. Противопоставление кратких слогов долгим теоретически вероятно для поэзии XI в., но никак не для поэзии конца XII в.[6] Стихово-песенный речитатив основной части повествования ритмически также легко отличить от «деловых» фрагментов текста («несколько суховатым» летописным стилем их называет Б. А. Рыбаков[7]). «Летописные» куски, в свою очередь, неоднородны ритмически. Например, в них может быть включена прямая речь, которая передается в ином ритме, характерном для разговорной речи, что подчеркивает афористический лаконизм высказывания.

Усо́бица кня́земъ на пога́ныѣ погы́бе,
реко́ста‿бо бра́тъ бра́ту:
— Сѐ‿мое, а̀‿то мое́‿же!

Таким образом, «синтетический» подход Хани к исследовательской процедуре лишает возможности впоследствии подойти к выделению генетически различных составляющих текста как реального произведения древнерусской художественной литературы. Между тем эта сторона дела гораздо важнее чисто механического и на современном этапе разработки проблемы условного разбиения текста на «стиховые» строки. Можно понять особый интерес к этому со стороны поэтов — им важны практические последствия подобного разбиения на строки, — но в научной реконструкции задача заключается в восстановлении адекватного исходному типа членений. Сравним для наглядности с новой поэзией, которая отчасти сохраняет ритмические контуры старинной поэзии. А. В. Кольцов, который также слагал и «слышал» свои стихи, а только потом их записывал, делал это уже с некоторым отклонением от древнерусской традиции. В древней поэзии характерным является десятисложник (одиннадцатисложник) с двумя основными (ладовыми) ударениями. У Кольцова же очень часто стиховая (песенная) строка — это фонетическая цельность пятистопника с одним-единственным ударением сильного типа:

Размахни́сь, рука̀, ◡ ◡ ⏊́ ◡ ◡̀
Раззуди́сь, плечо̀! ◡ ◡ ⏊́ ◡ ◡̀
Ты махни́ в лицо̀, ◡ ◡ ⏊́ ◡ ◡̀
Вѐтер с по́лудня! ◡̀ ◡ ⏊́ ◡ ◡

6 См.: *Колесов В. В.* Ударение в «Слове о полку Игореве», с. 32.

7 *Рыбаков Б. А.* «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, с. 43.

Благодаря автономности каждого сильного ударения и постоянству его расположения происходит своеобразное его усиление; этому способствует и ритмическая регулярность побочного ударения на клитичных формах (обозначено знаком второстепенного ударения `). Но принцип распределения акцентов в общем тот же, что и в древней поэзии (если не считать исторически понятного увеличения числа слогов в современном слове), ср.:

а поло́вьци	◡◡—́◡◡
негото́вами	◡◡—́◡◡
доро́гами	◡—́◡◡
побѣ́гоша	◡—́◡◡
къ До̀ну вели́кому	◡◡̀◡◡—́◡◡
Потопта́ша	◡◡—́◡
пога́ные	◡—́◡◡
по́лки	—́◡
полове́цькиѣ	◡◡—́◡◡

Пока не найден принцип деления на строки, характерный для древнерусской поэтической техники, подгонять их под современные нормы версификации было бы неосмотрительным.

Точно так же в будущем станет возможным высказать свои суждения и относительно искажений исходного текста «Слова о полку Игореве». Например, перестановки текста, искусственно возникшие в результате переписывания с испорченных списков, легко устанавливаются перебивкой ритма. Из шести «нелогичностей» в композиции дошедшего до нас текста по крайней мере четыре безусловно подтверждаются сменой ритма и типом акцентовки.[8] Особенно наглядно это видно на «Златом слове» Святослава, в текст которого внесено несколько ритмически разных фраз (приведены у Б. А. Рыбакова, с. 44—45).

Самая первая из обнаруженных еще А. И. Соболевским перестановка в начале «Слова» также различается ритмикой. Вводная часть, «слава», перебита куском из описания похода и сражения русских воинов, и торжественный, раздольный ритм «хвалы» оказался разбитым динамичным и четким ритмом основного повествования:

На̀веде своѣ хра́брыѣ пълкы
на̀ землю Полове́цькую
за̀ землю Ру́ськую. . .
— О Боя́не, соло́вию ста́рого врѐмене!
Абы́ ты сиѣ пълкы ущекота́лъ. . .

но между этими стихами совершенно иной принцип акцентовки:

Тогда̀ Иго́рь възрѣ̀
на свѣтло́е солнцѐ
и ви́дѣ о̀тъ‿него тьмо́ю
всѣ́ [своѣ] воѣ́ прикры́ты

или, если исправить (учесть) ритмическое нарушение местоимением *своѣ—воѣ*, тогда заключительная строка выглядит так:

всѣ воѣ прикры́ты. . .

[8] Там же, с. 35—48.

Другая вставка от слов

Бы́ли вѣци Троя́ни
Мину́ла лѣта Яросла́ва. . .

до слов

а‿си́цеи ра́ти не‿слы́шано. . .

появилась в описании боя, с ясным и четким ритмом его:

Съ зара́нья до вечѐре,
с вечѐра до̀ свѣта
летя́ть стрѣлы кале́ныѣ,
гри́млють са́бли о шело́мы,
трещ́ать‿копья́‿харалу́жные. . .

Таковы лишь два следствия из акцентной и ритмической реконструкции для возможностей полной реконструкции текста.

В отличие от других исследователей ритмики «Слова» Дж. Хани не ограничивается самыми общими замечаниями с аргументами «от интуиции и опыта», а предлагает и ряд новых акцентных прочтений текста. Это особенно важно и интересно, поскольку в сущности указывает на переход к следующему этапу коллективного научного творчества — к обсуждению предложенных принципов акцентной реконструкции и к внесению необходимых для пользы дела поправок. Одновременно оказывается возможным оценить и принципы научной реконструкции текста также и в отношении к просодии, поскольку другие аспекты реконструкции уже обсуждаются по меньшей мере два столетия. «Слово о полку Игореве» произносилось, и потому в своем истолковании памятника — хотим мы того или не хотим — мы просто обязаны «увидеть» за буквами звуки, за сменой слогов и слов — ритм, за строчками сплошного текста — стихи.

К сожалению, сам Дж. Хани ничего принципиально нового в разработку проблемы не вносит, полностью исходя из реконструкции, предложенной мною (но почему-то нигде этого не оговаривая). Он также признает три типа акцентов с выделением организующего колон «сильного» — это новоакутовый тон, давший долготу слога в древнерусском языке (в реконструкции обозначается знаком). Он принимает также и формулы клитических переносов ударения, преимущественно к началу колона, а такие ударения создают в стихе «ладовые переходы». К сожалению, при этом автор не останавливает внимания на «упаковочной лексике» «Слова», т. е. на тех грамматически важных словах, которые не вносили в семантику описания никаких смысловых оттенков, но помогали организовать ритмическую структуру текста (частицы, союзы и т. д. типа *бо*, *же*, *но* и др.). Дж. Хани согласен и с выделением ритмических пауз после каждого законченного высказывания; на основе их он пытается выделять стихотворные строчки, на что я бы с такой категоричностью не решился, хотя два основных ударения на «стих» и кажутся важ-

ным организующим ритмику стиха признаком. Кроме того, Дж. Хани принимает тезис об интонационных единствах (особенно в цитатном материале, ср.: *сѐ‿мое а̀‿то мое́‿же* — законченный колон) и согласен, вводя их в свою реконструкцию, с отдельными словесными акцентами архаического типа, которые на основе древнерусских акцентованных памятников я ввел впервые и в отношении к которым как раз возникает наибольшее число сомнений у лиц, незнакомых с техникой и методикой акцентологического исследования. Приняв основные принципы реконструкции и сделав попытку распространить их на следующие этапы реконструкции текста, Дж. Хани одновременно с тем совершает некоторые ошибки, которые нарушают единство требований к такого рода реконструкциям; так, он вводит поправки, никак и ничем не обоснованные исторически и не подтвержденные материалом, цитатами и примерами из древних источников. Типичные ошибки такого рода я и собираюсь обсудить в этих заметках.

Пытаясь восстановить фонетический («звучащий») уровень древнерусского художественного текста, Дж. Хани не ограничивается введением в реконструкцию написаний типа *шюмить, чясть*, которые никак не отражают древнерусского произношения и вдобавок противоречат известной нам древнерусской же (в ее отличии от церковно-славянской) орфографии: в XII в. писали *шумить* и *часть*.[9] Автор предлагает странные с точки зрения даже современной церковно-книжной орфографии написания типа *тѣлѣгы* вместо *телѣгы, великого* вместо *великаго* (в XII в. только в форме дательного падежа могло быть «русское» написание типа *великому*) и т. д., причем совершенно не учитывает очень сложное состояние с редуцированными гласными (*ъ, ь*) в момент создания «Слова о полку Игореве», т. е. в конце XII в. Не только Дж. Хани, но и вся современная наука еще не готова к научной реконструкции текста в отношении к его произношению, и не следовало бы приступать к такого рода работе, если даже специалисты по исторической фонетике высказываются не очень уверенно как раз по данному вопросу.[10]

Но важнее всего акцентные поправки Дж. Хани, к которым и переходим.

Автор производит конъектурные замены типа *въста́ зби(ся)* на месте *въстазби, паро́бци* на месте *паворо́зи, съду́ то̀къ* на месте *с Дудутокъ, по ло́зию* на месте *полозию̀*, никак не обосновывая акцентологическое предпочтение новых акцентов (в моей реконструкции не все из таких конъектур учтены в акцентологических комментариях к тексту, а другого источника для ознакомления с акцентными соответствиями древнерусских текстов у автора, видимо, нет). Уже графические обозначения в видоизменен-

---

[9] См.: *Зубова Л. В.* Орфографический сдвиг как результат фонемного изменения. — В кн.: Исследования и материалы по русской и древнеславянской языковой истории. Горький, 1975, с. 20—24 (таблицы).

[10] Обсуждение этого важного вопроса см.: *Колесов В. В.* Историческая фонетика русского языка. М., 1980, с. 107—139.

ных автором текстах показывают, что и сам принцип реконструкции автор усвоил чисто механически и, следовательно, не представляет себе звучания исходного текста в системе трех акцентных координат, т. е. в чередовании сильного, слабого и факультативного ударений словоформ в различных грамматических сочетаниях, которые и отражены знаками ударения в средневековых акцентованных рукописях. Правильной, соответствующей принципам реконструкции в приведенных случаях была бы нотация типа *въстà събисѧ̀, пàробци, съдў токъ*, и т. д.

Представление о случайности избранных чтений и предположений об их произношении подтверждается и теми исправлениями, которые автор произвольно вносит в мою реконструкцию. Например, на конечные слоги слова, которые уже в праславянском языке сократили долготы (где они были), в двадцати случаях Дж. Хани неожиданно ставит сильное ударение: *былá* вместо *былà, чагá* вместо *чагà* и др. Противоположной ошибкой является постановка сильного ударения и на начальном слоге с нисходящей интонацией (или на исконно кратком слоге): *грóзы* вместо *грòзы, врéмене* вместо *врèмене* и т. д. Ошибочным является и слабое ударение на новоакутовом слоге, который в истории русского языка (да и всех славянских языков) всегда был абсолютно сильным по ударению слогом, ср. *своèю* вместо *своéю*, что подтверждается и акцентовками древнерусских рукописей (*своéю*, а не *своèю*). Конъектуры, если они принимаются, также требуют акцентных поправок, но и с ними Дж. Хани обходится чисто механически; например, вставляя *а* в сочетание *а сынъ*, он сохраняет акцентовку отдельного имени, не обращая внимания на возникшее преобразование колона: следует давать не *а сы̀нъ*, но *à сынъ*. Ср. еще *и пòтече* на месте *пòтече*: следовало бы дать *ѝ потече*.

Невозможно согласиться и с другими вольностями в акцентной реконструкции «Слова о полку Игореве». Дж. Хани поспешно и неаргументированно старается поставить знак ударения над каждым словом известного нам текста, ставя это себе в особую заслугу. Я отказался от мысли расставить знаки ударения на именах собственных, поскольку не все они известны с древним типом ударения, не обеспечены надежным историческим материалом. Дж. Хани спокойно ставит ударения типа *Хы́нови* (но почему-то *хынóвскыѣ*), *Бýсово, Стýгна* (скорее ожидалось бы ударение *Стугнà*), также *съ могýты, салтáни, у Ри́мъ* и др. Ударение имени *Ярослав* также изменяется в угоду автору: *Я́ро слáвли, Я́ро слáвля, Ярò слáва*, что расходится и с известными по древнерусским источникам ударениями *Ярослáвъ, Ярòслави́чь* и под. Наконец, автор игнорирует и прямые свидетельства древнерусских акцентованных источников относительно ударения *Кыéвский* (трижды в «Слове о полку Игореве»), ему больше нравится современное ударение прилагательного *кы́евский*. Быть может, в подобных предпочтениях и кроется ответ Дж. Хани на

его же утверждение, что «Колесов не всегда правильно избирает альтернативную форму»? Возможно ли вообще говорить о какой-либо альтернативе, если не была установлена достоверная древнерусская форма? Мне кажется, ответ на эти вопросы однозначен, а апелляция к современному ударению никакого отношения к реконструкции не имеет.

Ударение собственных имен в истории языка — вообще очень сложный вопрос. Тут накопилось так много традиционных мнений (в смысле δόξα), которые породили определенные и весьма устойчивые фикции (в смысле «традиции»), что даже на свидетельства исторических источников обычно уже не обращают внимания. Кирилл Туро́вский всегда именуется Ту́ровским, а Авва́кум Петров — Аввaку́мом, что совершенно лишает собственное имя в истории малейшего статуса его исключительности, даже «собственности» в отношении к тем историческим лицам, которые в данном случае именуются. Между тем имена собственные дольше всего сохраняют исконное ударение формы (Туро́вский еще в рукописях XVII в., Авва́кум в автографах самого писателя, и т. д.), и только исключительные обстоятельства, как правило — насильственного характера, приводят к изменениям ударения в них. Если мы настаиваем на том, что имя писателя XI в. следует писать обязательно с одной буквой «л» — *Иларион*, отличая его тем самым от множества более поздних Илларионов, то почему же в устном воспроизведении имени собственного мы не придерживаемся того же справедливого решения? Неудивительно, что и в столь серьезном деле, как акцентная реконструкция «Слова о полку Игореве», покушение на акценты прежде всего распространяется на имена собственные. В этом — навязывание древнерусскому тексту современных представлений об имени собственном, о его значении, смысле и функции. Для древнерусской культуры имя собственное, может быть, и есть самое основное в семантическом смысле явление, которое и в тексте «Слова о полку Игореве» выступает в роли ведущего композиционного элемента.

Было бы, разумеется, желательно, чтобы, внося поправки в уже известные акцентные реконструкции «Слова», автор основывался на реальных примерах древнерусской акцентной вариантности. Дж. Хани в 20 случаях (всего между нашими реконструкциями около 30 разночтений) предпочитает вариант, возможный в древнерусских источниках, но не использованный мною, ср. (второй пример показывает ударение, предпочтенное Дж. Хани): *и краснȍ еси—и кра́сно есѝ, ȍрломъ—орло́мъ, жало́сть—жя́лость, чѐпѝ — чѐпи, тулы̀ — ту́лы, вы̀соко—высокȍ*, т. е. обычно тот вариант, который из двух возможных является наиболее новым (такое предпочтение обозначено и в ударении имперфектных форм, которые в XII в. были уже архаическими: *ковахȕ — кова́ху*). Пожалуй, только в одном случае я согласился бы с поправкой Дж. Хани: теоретически ожидаемое ударение *завтро́ку* предпочтительнее нового *за́втроку*, которое я, после дли-

тельных обсуждений вопроса с В. А. Дыбо и убежденный тогда его доводами, использовал в своей реконструкции.

Тем не менее самой важной стороной реконструкции является та ее часть, которая позволяет восстанавливать ритмическую основу древнерусского поэтического текста. В 22 случаях Дж. Хани своими поправками нарушает ритмическую основу словосочетаний, т. е. дает искаженный облик колона (или его части), не опираясь на надежно установленные исторические соответствия. Приведу все относящиеся сюда примеры с кратким их объяснением. Аргументация и материальное обоснование моих суждений содержатся в «Акцентологическом комментарии».[11]

Чаще всего американский исследователь вносит новое, «лишнее» ударение в сочетание слов (второй пример всюду — из реконструкции Дж. Хани): *да̀ позримъ—да̀ позри́мъ, оба́ полы—о̀ба по̀лы, чьрле́нъ‿стягъ—чьрле́нъ стя́гъ, то жѐ звонъ—то жѐ зво́нъ, тогда̀ врани—тогда̀ вра́ни, сре́дь землѣ—сре́дь зѐмлѣ, Донъ тѝ княже—До́нъ‿ти, кня́же* (ориентация на письменную передачу текста в ущерб звучанию колона), *и зове́ть князи—и зове́ть князи, твою‿княже—твою́, кня̀же* (тот же случай подмены устного произношения письменным текстом), *не бы́с(т)ь ту бра́та—не бы́сть ту́ бра́та, ты проби́лъ еси—ты проби́лъ есѝ* (но сохраняет в своей реконструкции ударение *ты лелѣ́ялъ еси*, поскольку оттяжки ударения через слог ожидать трудно), *его ра́ны—его̀ ра́ны.* Дж. Хани разрушает ритмическое единство сочетания, ставя при этом слабое ударение на месте сильного после клитики (безударного слова): *сре́дь зѐмлѣ.*

На примере со словом *врани* можно показать, к какого рода искажениям могут привести и приводят подобные исправления. *Тогда̀ врани* есть форма и ударение именительного падежа от существительного мужского рода (*во́роны*) в сочетании слов (может быть, следовало бы уточнить характер ударения: сильное *тогда́ врани*). *Тогда̀ вра́ни*, как предпочитает выделить Дж. Хани, — форма мужского, но ударение слова женского рода (*воро́ны*). Изменение акцентной формы влияет на смысл и затрагивает поэтическую атмосферу «Слова», что нежелательно. *Грають* все-таки во́роны, а не суетливые воро́ны. С другой стороны, чем в таком случае следует отличить данное сочетание слов от родственных ему, например от сочетания *съ всѣ́хъ стра́нъ*, в котором имя существительное определенно несет акутовое (сильное) ударение с обязательным ударением на корне? В реконструкции Дж. Хани встречаются и обратные ошибки: *аже‿бо́‿ты‿былъ—аже‿бы‿ты‿бы́лъ, они́‿же са́ми—они‿же са́ми.* Устранение сильного ударения в колоне, видимо, необходимо автору для последующих этапов его реконструкции — число стихов должно определяться количеством сильных акцентов. Подобное «упреждение» последующих этапов реконструкции также нежелательно.

---

[11] *Колесов В. В.* Ударение в «Слове о полку Игореве», с. 23—76.

Изменение ударения способно преобразовать и ритмический контур того самого маленького отрезка поэтического текста, который со временем может стать опорной точкой стиховедческой реконструкции, ср.: *съ морл̇ идуть—съ мо̀ря идуть* (в таком случае правильнее было бы ударение *съ моря йдуть!*); *на кровавѣ травѣ* (с явным выделением ассонанса, который, как это и обычно для поэтики «Слова», органично слит с ритмом произношения, с ударением) — *на кръва́вѣ травѣ* (что разрушает ассонанс и вообще представляется странным, потому что Дж. Хани в другом месте определенно признает подвижное ударение у прилагательного, ср. *кръвавы́ѣ его̀ ра́ны*; следовательно, автору неясна взаимная соотнесенность словесных акцентов в процессе словообразования, он не видит в древнерусской акцентной системе никакой системности); *кромѣ головы̀—кромѣ го̀ловы* (ударение *го̀ловы* никак не аргументировано и совершенно невозможно в древнерусском языке[12]); *Иго́рь‿спить, Иго́рь‿бдить—Игорь спи́ть, Игорь бди́ть* (что при некоторых условиях можно признать верным для древнерусского языка ударением, особенно если произносились редуцированные гласные *ь*, *ъ*), но *Иго́рь‿князь—Иго́рь‿кня̀зь* — поправка вряд ли верная, ее невозможно обосновать исторически, поскольку нисходящее ударение корня в форме именительного падежа для древнеславянского и древнерусского языков безусловно доказано.

Случайный характер носят изменение места ударения (*то̀ было—то бы́ло*), а также непонятные для меня пропуски вполне достоверных акцентов (*а̀ ты—а ты*). В одном случае я согласился бы с поправкой (*по̀дъ о́блакы̀—по̀дъ облакы*), поскольку второе обозначение точнее выражает принцип акцентовки клитических групп, а факультативное ударение основного слова (здесь творит. падеж множ. числа *о̀блакы̀*) мы условились не обозначать специальным знаком ударения.

В целом у Дж. Хани обнаруживается около 3 % всякого рода исправлений и поправок к моей реконструкции, всего 80 на 2121 ударение в тексте «Слова о полку Игореве». Это, конечно, не дает оснований признать поправки существенными, изменяющими реконструкцию. Вдобавок, как выясняется, многие поправки либо не обоснованы, либо выражают предпочтение автора одного из возможных в древнерусских рукописях ударения, которое и было указано как факультативно возможное. Но против чего приходится возражать — это против нарушения принципа цельности реконструкции и против ничем не оправдываемых, не подтвержденных источниками «новых» акцентовок, вводимых в научный оборот. Это даже вредно, поскольку способно дискредитировать идею акцентной и стиховедческой реконструкции «Слова о полку Игореве». Всякое колебание, как и обилие вариантов, наталкивает на мысль о случайности выбора вариантов

[12] См.: *Колесов В. В.* История русского ударения. Л., 1972, с. 66.

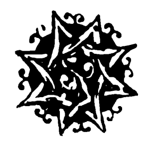
или несостоятельности акцентной реконструкции вообще. Между тем это не так. Многие акцентологи за последнее столетие провели огромную работу по собиранию, приведению в порядок, систематизации и объяснению древнеславянского и древнерусского ударения, и сегодня мы уже во всеоружии можем приступить к столь ответственной работе, как реконструкция ритмической основы выдающегося памятника древнерусской литературы.

В заключение несколько общих слов.

Сравнительно-историческое языкознание занималось — очень напряженно и весьма успешно — реконструкцией языковых единиц, начиная с морфемы (которую оно и «открыло» как объект лингвистического изучения), а затем и глубже и шире, постепенно распространяя свое внимание на слово, потом — на словосочетание, еще позже — на фразу и т. д. Структурное языкознание основное внимание обратило на реконструкцию целостных систем — начиная с фонологической системы как наиболее простой для наблюдения и описания, а затем идя дальше в изучении отдельного древнего текста, который достоин реконструкции благодаря своим выдающимся особенностям.[13] Современное языкознание, как и на прошлых этапах развития науки по-прежнему являясь фундаментальной филологической дисциплиной, нуждается также и в новой постановке все той же, традиционной для научной филологии п р о б л е м ы р е к о н с т р у к ц и и, но уже на новых основаниях: это должна быть не реконструкция единиц и парадигм, а реконструкция текста, т. е. речь идет «всего лишь» о дальнейшем развитии нашей науки. Но когда мы приступаем к реконструкции древнего текста как з в у ч а щ е й реальности, а не только как объекта текстологического изучения письменного памятника, без помощи лингвиста-историка не обойтись. Лингвисты пришли к необходимости изучать т е к с т много позже историков литературы, но их помощь на современном этапе разработки его совершенно необходима. Это я и хотел показать на примере статьи американского коллеги, который, не понимая специфики лингвистической работы над древним текстом, смешивает разнокачественные и пока еще не соединимые в синтезе аспекты реконструкции древнерусского художественного текста. В создавшихся условиях невнимание к языку памятников или легкомысленное игнорирование связанных с этим проблем кажется опасной роскошью.

---

[13] См.: *Матхаузерова С.* Древнерусские теории искусства слова. Прага, 1976, с. 57—106.





Д. С. Лихачев

ПРОТИВ ДИЛЕТАНТИЗМА В ИЗУЧЕНИИ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Памятник литературы, как и всякий памятник культуры и истории, нуждается в охране, в защите его текста. И чем древнее он — тем эта защита необходимее. Всякого рода эксперименты над текстами памятников национального значения должны вестись с величайшей осторожностью и ответственностью. Особенно, конечно, если это «Слово о полку Игореве»...

Одно дело толкования, объяснения при сохранении текста как такового, другое дело — перестановки, отмены кусков текста, безосновательные поправки, исправления, разрушения самого содержания памятника, его ритмики, даже поэтики. С моей точки зрения, это ничуть не лучше безосновательных передатировок памятника. Перенесение «Слова о полку Игореве» из XII в. в какой-то другой, например в XVIII в., разрушает смысл, содержание памятника, но при этом все же сохраняется текст «Слова» как цельного, единого и художественного произведения. Иное дело — объявить «Слово» радикально испорченным осколком чего-то неизвестного, но более совершенного.

В серии очерков писателя А. Никитина, напечатанных в журнале «Новый мир»,[1] «Слово о полку Игореве» подвергается вивисекциям, ампутированию отдельных частей, расслоению. Отдельные места и весь памятник в целом объявляются плохо скроенными из разновременных частей. Этот вывод делается с необычайной легкостью и апломбом. На неосведомленных читателей очерки А. Никитина несомненно могут произвести некоторое впечатление. Особенно мне обидно за многочисленных преподавателей вузов или учителей литературы в средней школе. Что им говорить о «Слове», если они поверят в «ученость» и хотя бы

[1] *Никитин А.* Испытание «Словом...». — Новый мир, 1984, № 5, с. 182—206; № 6, с. 211—226; № 7, с. 176—208. (Далее ссылки на номера журналов и страницы — в тексте).

частичную правоту А. Никитина? А ведь журнал «Новый мир» — один из самых авторитетных и читаемых в нашей стране.

Жанр, в котором написана серия очерков А. Никитина «Испытание „Словом“», не нов, а в последнее время он даже моден: научный детектив. Но так как детективную интригу легче всего построить на сюжете собственных поисков, открытий и якобы преодоленных мнимых заблуждений, то этим, очевидно, можно объяснить своеобразный «автобиографизм» очерков. Однако этот жанр «научного полудетектива» или «детективной полунауки» очень труден для того, чтобы разобраться в авторской аргументации, — в силу смешанности рациональных доказательств и иррациональных, а также эмоциональных мемуарного характера заметок. К тому же избранный автором жанр вынуждает его к многословию и недоговоренностям.

Между тем хорошо известно: краткость и деловитость — вежливость ученого, а доказательность — необходимое условие научной работы. Не писал же Ньютон о том, каким образом и при каких обстоятельствах был им открыт закон земного тяготения. История с яблоком, упавшим на него в саду и подавшим ему тем самым мысль о законе тяготения, — не более, чем позднейшая легенда. Открытия доказываются, а не описываются, к тому же со столь большими автобиографическими отступлениями. Таинственная история с Бояном, вскрытая при особых личных обстоятельствах, являющаяся научным центром очерков А. Никитина, может по первому впечатлению показаться в такой детективной форме занимательной и в силу этой занимательности убедительной, но только малоосведомленному в древней литературе читателю! На самом деле мы имеем дело с имитацией научных аргументов и не более.

Первый же очерк А. Никитин начинает с описания раздражения некоего «академика» против концепции Л. Н. Гумилева. Это раздражение якобы было вызвано резкими выражениями А. Никитина по адресу Л. Н. Гумилева. Тем самым А. Никитин стремится, очевидно, оправдать собственные резкости и в этих своих очерках — дескать, они просто «неакадемичны». Но дело в том, что за резкими выражениями в данном случае скрывается не «неакадемичность», а неуважение почти ко всей предшествующей А. Никитину науке — академической и неакадемической, литературоведческой, филологической и исторической. Все охаивать и в то же время предаваться самодовольным рассказам о том, как он дошел до своих «открытий», начиная от первых признаков «прозрения собственного невежества» (5, 187) и придавая значение и предполагая интерес читателей даже к той погоде, при которой он предавался своим размышлениям, но не развертывая ни доказываемых тезисов, ни доказательств этих тезисов, — это метод сокрытия от читателя точного изложения концепции и подлинной аргументации.

Многословность и непроясненность концепции А. Никитина возникает не только из-за избранного им научно-автобиографиче-

ско-детективного жанра, но и из-за привлечения к очеркам посторонних, не идущих к делу проблем.

Ну вот, в частности, такой вопрос: почему в первом из очерков такое внимание уделяется мусин-пушкинскому изданию «Русской Правды» 1792 г.? А. Никитин пишет: «Можно было бы взять для сравнения печатного текста («Слова о полку Игореве». — *Д. Л.*) с оригиналом „Духовную...“, или, как ее теперь именуют, „Поучение“ (Владимира Мономаха. — *Д. Л.*). Но с „Поучением“ противники графа (А. И. Мусин-Пушкина. — *Д. Л.*) почему-то молчали...» (5, 199). Вот именно — «почему-то»! А. Никитин не заметил, что издание «Поучения» было уже подробно и тщательно сравнено с изданием «Слова» по всем статьям и благодаря этому выявлены многочисленные сходные приемы издания, позволившие объяснить многие особенности печатного текста «Слова» 1800 г. Мое подробное исследование на этот счет дважды печаталось, а в монографии Л. А. Дмитриева о первом издании «Слова», которую А. Никитин называет «великолепною» (5, 199), прямо говорится, что он (Л. А. Дмитриев) сам не производит сличения именно этих двух изданий А. И. Мусина-Пушкина, так как это уже сделано мною.[2]

Но дело еще и в том, что мемуарные жанры служат иногда не только для того, чтобы что-то сообщить, рассказать, но и для того, чтобы что-то скрыть и не договорить. Такова, например, история с нападками А. Никитина на крупнейшего советского источниковеда С. Н. Валка. А дело очень просто. Когда в 1973 г. вышла статья А. Никитина в журнале «Вопросы истории» о «Русской Правде», то С. Н. Валк решительно и справедливо возразил А. Никитину, доказав и показав, во-первых, его незнакомство с литературой вопроса, а во-вторых, его неправильный подход к методике текстологии. Ответ С. Н. Валка, напечатанный в Трудах Отдела древнерусской литературы, т. XXX (1976 г., ответственный редактор Д. Лихачев), А. Никитин не упомянул, но кое-что из него учел, чтобы показать знакомство с литературой вопроса, в незнании которой упрекал его С. Н. Валк. Как бы то ни было, отплатить покойному С. Н. Валку А. Никитину не удалось, а читателя огромный пассаж (более половины печатного листа — 7 страниц петитом) об издании «Русской Правды» 1792 г. несказанно затруднил, так как никакого отношения к вопросу о первом издании «Слова» он не имеет. А. Никитин хотел показать, что приемы издания «Русской Правды» могут что-то объяснить в первом издании «Слова о полку Игореве». Однако «Русская Правда» 1792 г. была изданием совершенно другого типа текста, выполненным другими лицами, не принимавшими участия в издании «Слова» А. И. Мусина-Пушкина (И. Н. Болтиным, ко времени издания «Слова» скончавшимся), и по другим принципам (даже другим алфавитом — церковно-славянским,

---

[2] См.: *Дмитриев Л. А.* История первого издания «Слова о полку Игореве»; Материалы и исследование. М.; Л., 1960. с. 5.

тогда как «Слово» было издано в 1800 г. — гражданским). Прямое отношение к мусин-пушкинскому изданию «Слова», как я уже сказал, имеет только его же, А. И. Мусина-Пушкина, издание «Духовной» (т. е. «Поучения») Владимира Мономаха.

Однако благодаря посторонней вставке наукообразных рассуждений о «Русской Правде» у читателя может создаться представление об учености автора, тем большей, чем меньше читатель понимает текст А. Никитина... А истинная цель — обесславить С. Н. Валка в глазах широкого читателя — тщательно спрятана, и на незнающего скрытого существа полемики выпады против замечательного ученого могут все же произвести некоторое впечатление.

Явно, чтобы заинтересовать и заинтриговать читателя, А. Никитин видит повсюду — и в летописях, и в «Слове» — загадки, непонятности, противоречия, неясности, возможные пропуски, ошибки и пр. Он воскрешает давным-давно оставленные в науке сомнения, вопросы — лишь бы усилить «загадочность» «Слова». Добро бы это способствовало какому-то новому объяснению текста, но происходит обратное: текст еще больше запутывается, сомнения растут, происходит разрушение текста памятника, и у читателя вообще появляется общее недоверие к нему.

Текст «Слова» кажется А. Никитину порой «нагромождением фраз, плохо связанных между собой смыслом» (5, 185). «Слово», по мнению А. Никитина, «растеряло многие свои части» (7, 105), и в нем наличествуют «заимствования, темные места, отступления, пропуски, умолчания, реминисценции», «которые воспринимаются так же, как бесконечные шрамы, заплаты, пристройки чуланов, башенок, сторожек, галерей и притворов, скрывающие от нашего взгляда древний храм и превращающие его в конгломерат загадок» (6, 212).

А вот еще суждения А. Никитина о языке «Слова»: ему (А. Никитину. — *Д. Л.*) «мешала и явственная двуязычность: древний текст, хранивший все признаки благородной патины прошедших столетий, сменялся современной (?) русской речью без каких-либо признаков старины. Право, тут можно было потерять голову» (5, 185). Вот именно!

Чрезвычайная многоречивость автора мешает точному воспроизведению его концепции. Все же попытаюсь изложить концепцию А. Никитина так, как я ее и, смею заверить, большинство читателей понимают. Изложение это необходимо, чтобы стала ясной ее слабость и неаргументированность. Иного способа возражать А. Никитину я не вижу. Постараюсь добросовестно понять запутанное изложение А. Никитина.

Итак, согласно концепции А. Никитина, в «Слове» есть много непонятностей, переходов языковых, переходов сюжетных. Почему-то отсутствуют события предшествующих походу лет — всего XII в., автор «Слова» неоправданно обращается только к событиям и князьям XI в. и предшествующего времени.

Все это некрасиво, нехорошо, нелогично. «Слово» — гениальный памятник, но только какими-то проблесками.

Объяснение всем этим «непоследовательностям» в том, что в «Слове» спрятано другое произведение.

Именно якобы из-за этих «непоследовательностей» и возникли сомнения в подлинности «Слова». В «Слове» же использовано гениальное произведение гениального певца XI в. — Бояна, воспевавшего Святослава Ярославича и его сыновей, сведения о которых вычеркивались из летописей и заменялись в летописи ради заполнения образовавшихся «пустот» своего рода «упаковочным материалом» (который, кстати, так ценят историки культуры древней Руси).

Сам увлекшись созданием развлекательного произведения, А. Никитин даже в работе летописца видит порой ту же цель — «развлекать». Так, он предполагает, что летописец Всеволода Ярославича, изъяв текст о княжении Изяслава и Святослава, заполнил образовавшееся окно «развлекательным (разрядка моя. — *Д. Л.*) материалом: рассказами о чудесных знамениях, о волхвах, их обманах, о „прельщении бесовском", преставлении Феодосия, игумена печерского, а вместе с тем и о черноризцах Киево-печерского монастыря» (7, 181). Любопытное представление о работе летописца и вообще о древнерусской литературе XI—XIII вв., в частности, как известно, не знавшей чистой развлекательности.

Кое-какие отрывки из «стихов» Бояна, скрытые в «Слове», А. Никитин приводит в конце своей третьей статьи.

Итак, «Слово» — не более чем компиляция гениальных (пусть так) отрывков предшествующего времени с добавлением собственных кусков автора. В результате в «Слове» множество непоследовательностей и нелогичностей.

Вот чем мы, оказывается, восхищались!

Далее как обоснование его концепции идут парадоксальные исторические выводы: и не только исторические, но и по истории древней русской литературы, по истории русского языка, по истории изучения «Слова» и т. д.

Оказывается, Владимир Мономах как историческая личность ничего не стоит. Владимир Мономах — это ничтожество на великокняжеском троне. А истинный крупный исторический деятель — Святослав Ярославич. Его и его сыновей воспел Боян. При этом «Боян был не просто сторонником Святославичей, а тьмутороканским или черниговским поэтом именно Святослава Ярославича, оставшимся на службе у его сыновей» (6, 219). Он их воспевал, а фальсификатор истории Владимир Мономах приказывал искажать летописные тексты, вычеркивая все данные о Святославе Ярославиче и о его сыновьях.

Боян пел славу Святославу Ярославичу и святославичам, и вот теперь в «Слове о полку Игореве» скрыты остатки этих произведений Бояна. Один Святослав (Святослав Ярославич) подменен другим (Святославом Всеволодовичем) и пр.

Песни Бояна сами подверглись цензурованию (как это осуществлялось? — *Д. Л.*), и отрывки из них использованы при описании событий 1185 г. «...только так можно объяснить и цитаты из Бояна, и сведения о людях и событиях XI века, и тот ничем не объяснимый разрыв в „Слове...“ между 1078 и 1185 годами, если не принимать в расчет смутное и до конца не понятное упоминание об юноше князе Ростиславе, падающее на 1093 год» (6, 221).

Так кажется А. Никитину. Но разве он не знает принятого в науке о «Слове» объяснения, что обращение к дедам, а не к отцам, т. е. разрыв в исторических упоминаниях, падающий на время отцов, объясняется тем, что именно деды считались родоначальниками политики внуков? Раз речь идет об ольговичах, то естественно, что по законам исторических представлений древней Руси их политика продолжает и объясняется политикой их родоначальника Олега Святославича (Гориславича). А раз речь идет о всеславичах, то, конечно, мысль автора «Слова» обращается к их родоначальнику — Всеславу Полоцкому. Ведь и в летописи постоянно упоминаются родоначальники, деды, а внуки носят даже название по родоначальникам: «ольговичи», «ярославичи», «мономаховичи», «всеславичи», «рогволодовичи» и т. д. Обо всем этом писалось и писалось...

Совершенно ложны представления А. Никитина и об истории изучения «Слова». А. Никитин считает, что первоначально, в XIX в., творчество Бояна оценивалось достаточно высоко и «Слово» якобы считалось произведением народной словесности. А. Никитин пишет: «Настойчивые попытки представить „Слово“ произведением устной народной словесности были отвергнуты совместными усилиями скептиков и защитников древнерусской поэмы» (6, 221). Но когда именно «Слово» считалось произведением устной словесности? Отдельные аналогии, заимствования из фольклора в «Слове» постоянно находились, начиная с исследований М. Максимовича, и находятся сейчас, но никаких «настойчивых попыток» объявить «Слово» целиком фольклорным не существовало. Впрочем, за исключением одного-единственного случая. В Ленинградском педагогическом институте имени А. И. Герцена накануне Великой Отечественной войны А. И. Никифоров, специалист по народной словесности, защищал диссертацию на тему «„Слово о полку Игореве“ — былина XII века». Ему была даже присуждена ученая степень доктора единогласно, но... ни один из оппонентов и ни один из присутствующих в зале заседаний ученого совета с А. И. Никифоровым не согласился, хотя А. И. Никифоров, исчерпав на защите все научные аргументы, громко запел «Слово о полку Игореве» на один из былинных напевов. Докторская степень была присуждена А. И. Никифорову за исключительное трудолюбие и проявленную эрудицию только. Правым он признан не был. Этим и исчерпались все «настойчивые попытки» объявить «Слово» произведением устной народной словесности.

Что же касается до популярности Бояна в начале XIX в., то она объясняется тем, что в Бояне увидели русского Оссиана, а оссианизм был тогда, как известно, в большой моде. Забыт Боян никогда не был.

В пылу своих разоблачений А. Никитин доходит до отрицания вообще древней литературы домонгольского периода.

«Где же она, эта литература? — спрашивает А. Никитин. — Разве не странно, что из всего количества произведений, которые можно возвести ко времени домонгольскому, кроме „Слова о полку Игореве", все так или иначе несет на себе религиозную окраску? Мы читаем летопись — и почти сразу же натыкаемся на цитаты из церковной литературы и благочестивые рассуждения; раскрываем „Слово" Даниила Заточника — и находим там собрание изречений, в том числе из Библии и Псалтири...» (6, 216). Наличие «религиозной окраски» в произведениях литературы домонгольского периода отнюдь не означает, что литературы не было вообще. В этой связи уместно напомнить А. Никитину слова Ф. Энгельса о роли религии в то время. В статье «Крестьянская война в Германии» Ф. Энгельс писал, что в эпоху средневековья «во всех областях умственной деятельности» мы видим «господство богословия», что было «необходимым следствием того положения, которое занимала церковь в качестве наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции существующего феодального строя».[3]

Совершенно фантастически представляет себе А. Никитин мнения ученых о языке «Слова»: «С поразительным согласием, редким для представителей разных и в чем-то соперничающих областей науки, историки и филологи указывали не на XII, а на XI век, куда влекли их определенные признаки, сохранившиеся в тексте „Слова...". Наиболее близкие параллели лексике „Слова..." они опять-таки находили в памятниках не XII, а XI века — в „Правде Русской", в „Поучении" Владимира Мономаха и в договорах Руси с греками. Над этим стоило подумать!» (6, 214). Однако никакого «согласия», тем более «поразительного», между учеными в этом вопросе нет и не было. И историки, и филологи (кстати, почему у А. Никитина такое настойчивое противопоставление одних другим?) гораздо чаще находили соответствия лексике «Слова» именно в XII и XIII вв. — в летописце Петра Бориславича, в Киевской летописи XII в., в Галицко-Волынском летописании, во Владимиро-Суздальской летописи XII—XIII вв., в «Слове о погибели Русской земли» и т. д. и т. п. (ср.: акад. А. С. Орлов, акад. Б. А. Рыбаков, Н. К. Гудзий, В. П. Адрианова-Перетц и пр.). Упомянув некоторых филологов, занимавшихся языком «Слова», А. Никитин пишет: «Главным в наблюдениях филологов было то, что русский язык, которым написано „Слово..." и который неискушенному читателю представляется „новым" (!? — *Д. Л.*) по своей бли-

---

[3] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 7, с. 360—361.

зости к живому русскому языку, оказывался более древним, чем болгаризмы и церковнославянизмы, только производившие впечатление древности. Чистая русская речь лилась со страниц „Слова...“, пробиваясь, словно струйка животворного родничка, сквозь завалы камней велеречивой средневековой учености» (6, 213). Что это означает точно и разве со всем этим можно серьезно спорить? А. Никитин не только неверно излагает научные точки зрения, но имеет совершенно несообразные представления о гуманитарных науках вообще, предполагая в них «соперничающие области», а не области, в которых ученые стремятся к одному — обнаружению единой истины. Он даже не предполагает, что филолог, чтобы быть хорошим филологом, должен быть одновременно и историком, а историк, имеющий дело с письменными документами, — филологом. Иначе — что стоят выводы каждого!

Опираясь на всю эту путаницу представлений и рассуждений, А. Никитин делает поразительное предположение (вернее — утверждение), что не дошедшее до нас произведение Бояна во славу сыновей Святослава Ярославича легло в основу «Слова о полку Игореве»: «Произведение Бояна как нельзя лучше подходило для целей автора „Слова...“. Его герои были тоже Святославичами, к тому же еще и родственниками — дедами — героев „Слова...“. Те и другие были связаны с половцами крепкими союзными и родственными узами, оба — Роман и Игорь — потерпели от них поражение. Поход, бой и поражение были канвой сюжетов обеих поэм. Даже возвращение из плена: ведь Олег Святославич бежал из Царьграда в 1083 году и вновь появился в Тьмуторокане! Это к нему относили „припевку Бояна“, переделанную автором „Слова...“ для Игоря: „Тяжко ти голове кроме плечю, зло ти телу кроме головы“. Но главное, что сыграло решающую роль в выборе, благодаря чему заурядная пограничная вылазка Игоря, окончившаяся к тому же поражением (читатель, оцените это «к тому же». — *Д. Л.*), оказалась сюжетом не только поэмы, но и достаточно обширных летописных рассказов, главным были солнечные затмения, предшествовавшие началу обоих походов. (Вот оно что — следовательно, и летописные рассказы XII в. о походе Игоря также сочинены лишь только поэтому! — *Д. Л.*). Одно из них произошло 1 июля 1079 года, благодаря чему мы знаем время выступления Романа, убитого 2 августа 1079 года, другое — 1 мая 1185 года, что подтверждает летописную дату похода Игоря Северского» (7, 183).[4]

И вот апофеоз гипотезы А. Никитина! Оказывается, в основе обеих поэм — и той, принадлежащей Бояну, которая послужила основой «Слову», и той, что на основе поэмы Бояна, т. е. «Слова о полку Игореве», — лежит воспевание героизма. Героизма и только. Но при этом какого? «Согласно представлениям той эпохи (откуда это А. Никитин знает? — *Д. Л.*) героизм обоих князей

[4] О том, что представляло собой солнечное затмение 1079 г., не зафиксированное русскими летописями, см. на с. 205 наст. изд.

(героя Бояна — Романа, и героя «Слова о полку Игореве» — Игоря. — *Д. Л.*) заключался отнюдь не в опрометчивом выступлении с малыми силами против превосходящего по численности врага..., не в личной даже доблести, но в вызывающем пренебрежении небесным знамением, недвусмысленно предрекавшим предпринятые походы на неудачу» (Разрядка моя. — *Д. С.*) (7, 183). Вот во что превращено идейное содержание «Слова» да и творчество Бояна, послужившее образцом для автора «Слова» тоже!

Нет уж! Если бы довелось мне выбирать между всеми скептиками на свете и А. Никитиным, я бы предпочел всех скептиков одному Никитину! Так уничтожить «Слово» никто еще не пытался! Скептики, хоть и переносили «Слово» в позднейшие эпохи, но по крайней мере не разрушали его текста и в какой-то мере сохраняли героический дух поэмы, не покрывая героизма его героя никакими солнечными затмениями.

Чтобы сгладить впечатление от своих «разоблачений» «Слова», А. Никитин заключает свою статью изъявлением восторгов перед «Словом» и уверениями читателей, что теперь скептики уже окончательно изничтожены и в «Слове» все ясно; раскрыто и взаимоотношение «Слова» с «Задонщиной», которая пользовалась отдельно от «Слова» произведением Бояна.

В конце третьего очерка А. Никитин изображает фрагментарность «Слова» почти как его достоинство, приводя аналогии из области крымского ландшафта. Но природный ландшафт — бессознательное явление природы, и его нельзя сравнивать с творением человека... Прочтите, например, описание природы восточного Крыма в конце третьего очерка. А. Никитин описывает, как из-под позднейших наслоений чернозема поднимаются более древние известняковые холмы. «Не так ли, — пишет А. Никитин, — произошло и со стихами Бояна, хранившимися в тексте „Слова", чтобы, поднявшись из его глубин, прорвав пласты незнания, предвзятости, быть однажды замеченными не в чистоте первозданности, а в заплатах поправок, изъянах толкований и пестрых пятнах догадок!» (7, 207). Вдумаемся в смысл этого сравнения. Стихи Бояна (кто, спросим, окончательно доказал, что в «Слове» есть стихи вообще?) «прорвались», и через что? Через наслоения авторов XII в.? Допустим. Но тогда причем слова о «предвзятости», «заплатах, поправках, изъянах толкований»? Тут явная логическая путаница — смешение открытого будто бы А. Никитиным слоя XII в. и восприятия этого слоя исследователями XIX и XX вв. Но исследователи просто не видели этого слоя, а воспринимали «Слово» в его художественной цельности. Не могу увидеть и я. Слои в «Слове», размывы текста, его разрушения и непоследовательности создает именно сам А. Никитин. По его воле мы должны копаться в «Слове», неясно представляя себе и «покрытые» «красными брызгами лишайников известняковые холмы» над стихами Бояна, и сами эти стихи. Что же нам читать в «Слове», непредвзятым его читателям? Где

точно границы этих особенно ценимых А. Никитиным мертвых известняковых холмов среди малоценных цветущих трав? Единство памятника разрушено, монолитного текста нет, и только потому, что «непредвзятый» автор этих разрушений — А. Никитин просто не понял художественной системы средневековой Руси, объявил ее несуществующей.

Изменять текст «Слова», как и всякий художественный текст, нельзя на том лишь основании, что предлагаемое изменение лучше всех предлагавшихся учеными ранее. Необходимость любой перестановки в «Слове» должна быть доказана. Но в «Слове» есть несколько мест, которые не могут быть объяснены сколько-нибудь точно. Поэтому из переводов и толкований приходится выбирать то, которое наиболее нейтрально по отношению к художественной системе «Слова», изучать которую все еще нужно.

«Слово о полку Игореве» как художественный памятник нельзя рассматривать в свете наших собственных субъективных представлений о последовательности изложения событий, наших собственных представлений о красоте, хотя последние исследования и дают кое-что для понимания красоты памятника. В последнее время я неоднократно писал о художественной культуре и эстетических представлениях XII в. Пользуюсь возможностью, предоставляемой мне очерками А. Никитина, еще раз коротко сказать о художественной природе «Слова», очевидным образом им не учитываемой.

* * *

Очень жаль, что А. Никитин, объявляя себя историком и археологом, с таким пренебрежением относится к литературоведам и филологам. Хороший историк, обращаясь к литературному памятнику, обязан быть литературоведом, как и, имея дело со словесным памятником, — филологом. Так же точно литературовед и филолог во всех случаях обязан быть историком. Наука едина, истина для всех одна.

И если бы А. Никитин обратился к работам литературоведов без всяких предубеждений, то убедился бы, что многие из предполагаемых им «загадок» «Слова» носят мнимый характер и рассеиваются при широком подходе к «Слову» как художественному произведению.

В домонгольский период господствовал в литературе и в других искусствах стиль монументального историзма. Для этого стиля была характерна «эстетика дистанций» — пространственных и исторических. Чтобы быть художественно ценным, любое явление в произведении искусства должно было быть представлено в громадной перспективе, с далекого расстояния — как бы с птичьего полета. Писатели обладали своего рода «ландшафтным зрением». В летописях этого времени сопрягались различные географические точки. Изложение событий перекидывалось из одного

княжества в другое, из города в город, и при этом всегда имелась в виду вся громадная перспектива русской истории: каждая летопись начиналась с «Повести временных лет» или с «Начального летописного свода». Ощущение громадности Русской земли характерно и для автобиографии Владимира Мономаха. Сознание огромных просторов типично даже для церковных слов Кирилла Туровского. Одну из своих проповедей Кирилл Туровский начинает так: «Неизмерьна небесная высота, ни испытана преисподняя глубина...». В широкую историческую перспективу вставляется похвала Ярославу Мудрому в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Летописцы и авторы похвальных слов окружают своих излюбленных героев всесветной славой. Границы, а вместе с тем и слава Русской земли в «Слове о погибели Русской земли» простираются «до угор (венгров. — *Д. Л.*) и до ляхов, до чахов, от чахов до ятвязи (одно из прибалтийских племен. — *Д. Л.*), и от ятвязи до литвы, до немець, от немець до корелы...». И так же широки исторические границы времени создания памятника — от Владимира и до князей нынешних. Можно было бы много перечислять примеров и широты видения, и глубоких исторических перспектив, и исторической памяти народа в этом периоде. Все это мною уже сделано и опубликовано.

«Слово о полку Игореве» при всех своих небольших размерах поражает своею монументальностью и исторической широтой. Героем «Слова» является вся Русская земля, и в повествование «Слова» втянуты огромные географические пространства и исторические эпохи. «Слово» охватывает землю от Тмуторокани на Черном море (нет и не может быть сомнений, что в «Слове» говорится о той Тмуторокани на Черном море, о которой повествует и летопись в XI в.!) до Новгорода на севере, от Волги на востоке до Галича на западе. Десятки городов, княжеств и рек захвачены действием «Слова» и создают его титанический фон: Половецкая степь («страна незнаемая»), «синее море», Дон, Донец, Волга, Дунай, Рось, Сула, Стугна, Немига... Обращаясь к русским князьям, автор имеет в виду не только их личную историю, но и их предшественников.

Согласно неизжитым еще в XII в. языческим представлениям, особая роль принадлежит при этом не столько отцам, сколько дедам, родоначальникам. По дедам характеризуются внуки. Вот почему в «Слове» такую большую роль играют обращения к биографическим фактам деда всеславичей Всеслава Полоцкого (Полоцкого, разумеется, а не нивесть какого «Половецкого») и деда ольговичей, к которым принадлежали главные герои «Слова», — Олега Святославича («Гориславича»). Пережитки древнерусского язычества в княжеской среде XII в., сказывающиеся и на политике князей, достаточно отчетливо выяснены в превосходной работе В. Л. Комаровича «Культ Рода и Земли в княжеской среде XII в.».[5] В применении к «Слову» я неоднократно об этом уже

---

[5] ТОДРЛ, М.; Л., 1960, т. 16, с. 84—104.

писал. Далекое прошлое — это как бы фон, на котором разворачиваются события настоящего и создается «историческая глубина», «историческая перспектива», параллельная глубокому «ландшафтному зрению». Эта «историческая перспектива» необходима, с одной стороны, для осознания исторической значительности происходящего при жизни автора, а с другой — для осознания современности как чего-то эстетически ценного, достойного прославления или порицания, увековечивания. Тем самым достигается своеобразная и очень важная в понимании художественных представлений эпохи «историческая монументальность». Князь существует не сам по себе со своими особенностями характера и своими политическими убеждениями — он прежде всего представитель своего рода, своего «племени», «гнезда», он ольгович или всеславич, мономашич, ярославич — он внук деда.

Князь и сам осознавал себя представителем своего рода и для того, чтобы иметь влияние в современной ему жизни, продолжал политику отцов и дедов. Именно это является тогдашним способом утверждения себя в политической жизни своего времени. Отказ от родовой политики был бы для того времени отказом от политической активности вообще. Князь не мог рассчитывать на признание себя только в качестве себя самого. Он был князем постольку, поскольку принадлежал к определенной линии князей, к определенному княжескому «гнезду» и следовал политике своего деда — родоначальника. Для внесения новых начал в политическую жизнь своего времени надо было быть особого происхождения: таким, например, каким был Владимир Мономах — внук (хотя бы и по матери) византийского императора. Автору «Слова» надо было дать обобщение ольговичей и всеславичей как двух групп князей-крамольников. Автор «Слова» прибег к изображению родоначальников тех князей, обобщенную характеристику которых он собирался давать. Вот почему в «Слове» заняла такое большое место судьба Олега «Гориславича», князя с «горькой» судьбой, — деда Игоря Святославича и Всеслава Полоцкого — деда жены Святослава Киевского Марии, родоначальника другой крупнейшей ветви русских князей. В русской междукняжеской политике боролись представители того или иного «гнезда», «племени» — всеславичи полоцкие с ярославичами, ольговичи с мономаховичами. Против этой вражды и было направлено «Слово» с его призывом объединения. Все совершенно понятно и, главное, — давно понятно, ибо в литературе о «Слове» об этом писалось неоднократно.

Чувство единения со всеми событиями настоящего и прошлого (не исключая и прошлого, не очень далекого — как это ясно из обращения к русским князьям), «ландшафтное зрение» позволяют понять многие детали описаний «Слова» и неоднократное упоминание в нем моря. Движение половцев с юга описывается как движение черных туч, идущих от моря. И эта широта географического и исторического зрения, ощущение одновременности различных эпох в истории и сопряжение далеко отстоящих друг

от друга географических точек художественно согласуются с общей лирической стихией «Слова». Так называемый и характерный для многих лирических произведений, и современных в том числе, «лирический беспорядок», который в «Слове» выражается в том, что автор постоянно обращается от современных событий к воспоминаниям о прошлом, не только знаменует собой лирическую смятенность чувств автора, как бы не владеющего ходом своих мыслей и поэтому вынужденного давать себе передышку в обращениях к прошлому, но свидетельствует о том, что поэтичность современности могла быть достигнута только путем ее сопоставлений с прошлым. А вместе с тем этот «лирический беспорядок» — одна из форм монументализма XII в. — «динамический монументализм».

Наши представления о монументальности связывают эту монументальность с неподвижностью или, по крайней мере, с малой подвижностью. Монументальность XI—XIII вв. требовала другого — силы, выраженной в быстроте, в способности героев преодолевать огромные пространства, за одну ночь, «до кур», т. е. до пения петухов, достигать далекой Тмуторокани, волком скакнуть от Новгорода до Немиги. Герои древнерусской литературы этого периода постоянно находятся в переездах, но в переездах не мирных, а с войском, с «силой великой» («идоша князь в силе великой», «в силе тяжцей»). Это характерно для летописей и для «Поучения» Владимира Мономаха, который, стремясь создать пример для остальных князей, говорит о своих переездах — походах и охотах. «Нестижды» (более ста раз) ездил он из Киева в Чернигов, гнался за Олегом Святославичем, глубоко вторгался в Половецкую степь, ходил до Чешского леса.

Ничего этого не заметил А. Никитин. Его вопросы и недоумения носят надуманный характер. Он не заметил, что художественная система «Слова» типична для своего времени. Нетипично «Слово» только в жанровом отношении, ибо XI—XIII века были периодом выработки в русской литературе новых жанров, и жанровая исключительность характерна не для одного «Слова». Целый ряд произведений этого времени единичен в жанровом отношении — «Моление Даниила Заточника», «Слово о погибели Русской Земли», повести о княжеских преступлениях и др.

Если бы А. Никитин вдумался в эту художественную систему древней Руси, большинство его «недоумений» отпало бы. Ведь перед нами в «Слове» прежде всего художественное, литературное произведение, и такое художественное произведение, которое создано в художественных же представлениях своего времени. Но. . . если бы А. Никитин принял во внимание все эти соображения литературоведов (напрасно он подчеркивает свою нелюбовь к ним и к филологам вообще), не было бы и «концепции» А. Никитина, а от этого ему трудно отказаться. Он во власти одной идеи и правдою и неправдою крайне тенденциозно подбирает нужный ему материал.

В начале третьей статьи А. Никитин походя делает еще одно удивительное предположение: «...может быть, Всеслав — князь не полоцкий, а половецкий..?» (7, 176) — и оставляет читателя в полном недоумении, мотивируя свое предположение так: «Но это, так сказать, к слову...». Но разве словами и ни на чем не основанными предположениями можно так бросаться, особенно, когда дело касается «Слова»? Ведь Всеслав Полоцкий занимает видное место в «Слове». Если его исключить из «Слова», то это значит исключить из «Слова» и те места, где появлялся Всеслав, — Немигу в Белоруссии, Новгород, Тмуторокань и многое другое. Это значит сузить горизонты «Слова», и все это просто так, «к слову». Вот, следовательно, истинная цена слову в очерках А. Никитина... А между тем литературный памятник — тоже памятник культуры, текст которого, повторяю, нуждается в охране, в бережном к себе отношении. Доверие к тексту не должно подрываться сомнениями и безосновательными предположениями; текст не должен размываться произвольными поправками и перестановками. Поправки могут вноситься только в крайних случаях.

А. Никитин утверждает, что скептики своими сомнениями укрепили убежденность ученых в подлинности «Слова». Это правда! Но также правда и то, что скептик, просто лишенный эстетического чутья и активно не понимающий неприкосновенную красоту «Слова», позволяет вновь и вновь оценить «Слово» в поразительной цельности его сложной и вместе с тем простой симфонической композиции с переходами из одного времени в другое, из одного пункта Русской земли к другому, от одного лирического настроения к другому.

Автор «Слова» — это всевидящий и всеслышащий, все охватывающий своим умственным взором творец, парящий мыслию по поднебесью, видящий Русскую землю от южного моря до северного, от Карпат до Волги и русскую историю от XI в. до 1185 г. и как добрый, щедрый волшебник наделяющий теми же качествами — необычайной быстротой, остротой зрения и слуха, ума, памяти и отвагой — своих героев: Святослава Киевского и Всеслава Полоцкого, Всеволода Буй Тура и Осмомысла Галицкого.

Безусловно, самое удачное в серии очерков А. Никитина — это их общее название — «Испытание „Словом“». Название, прямо скажем, смелое и приглашающее. Выдержал ли, однако, сам автор очерков это испытание? На мой взгляд — нет!





М. А. Робинсон, Л. И. Сазонова

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ОТКРЫТИЕ

(«поэмы» Бояна и «Слово о полку Игореве»)

«Слово о полку Игореве», открытое на исходе XVIII столетия и впервые изданное в 1800 г., органически вошло в нашу культуру и духовную жизнь. Несмотря на огромные достижения в его изучении оно не перестает быть объектом серьезного научного исследования со стороны литературоведов-медиевистов, лингвистов, историков. Как выдающееся явление поэтической культуры «Слово» оказывает заметное влияние на современную поэзию, появляются все новые и новые переводы и вдохновленные им стихи. Необычайно возрос интерес к древней поэме у широких кругов читателей.

Существует, однако, особая категория любителей-интерпретаторов «Слова о полку Игореве», к которой относятся справедливые слова академика Д. С. Лихачева: «Нередко болезненное стремление к значительным выводам и „открытиям" без уравновешивающего это стремление чувства научной ответственности приводит к поспешным, хотя и эффектным выводам. Поскольку эффектные выводы легче всего удаются на значительных произведениях, — больше всего различного рода атрибуций было сделано в отношении известнейших памятников».[1] К сожалению, эти слова, сказанные впервые более 20 лет назад еще в первом издании «Текстологии» (1962) Д. С. Лихачева, не утратили своей актуальности. Возрастающее количество дилетантских работ о «Слове» и появление их на страницах массовых изданий и журналов вызывает серьезную тревогу. Об этом свидетельствуют материалы «Круглого стола», проведенного «Литературной газетой» и посвященного теме: «В будущем году отмечается 800-летие „Слова о полку Игореве". Огромен интерес к нему. Но всегда ли плодотворен?»,[2] а также статья О. В. Творогова «Любители и ди-

[1] *Лихачев Д. С.* Текстология: На материале русской литературы X—XVII веков. Л., 1983, с. 306.

[2] Споры у подножия великого памятника. — Лит. газ., 1984, № 28, 11 июля, с. 3.

летанты»,[3] подводящая итоги названной дискуссии. С принципиальным осуждением дилетантизма в гуманитарной науке выступил в журнале «Коммунист» видный советский историк-медиевист, член-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. Необходимость отстаивания принципов «партийности, историзма (в его мировоззренческом и этическом аспектах), — писал он, — вынуждает и к критической оценке недостаточно теоретически зрелых и источниковедчески порочных разного рода дилетантских поделок отечественных любителей создавать своего рода „творимые легенды". Этот исторический романтизм, в свое время популярный в дворянской историографии России, к сожалению, довольно широко распространяется ныне, особенно в быстро растущем „промежуточном жанре", который, помещаясь между художественной и научно-популярной литературами, компрометирует и ту и другую. . .».[4] Сочинения «промежуточного жанра» можно определить также, пользуясь выражением известной современной писательницы Н. Ильиной, как «исторические фантазии».[5] Авторы их не утруждают себя научной аргументацией или создают только видимость ее. К решению проблем «Слова» они подходят как к разгадыванию ребуса, головоломки, поэтому наукообразные эссе пестрят словами «загадка» и «тайна». Претендуя на раскрытие так называемых темных мест «Слова», авторы-дилетанты нередко «затемняют» и вполне ясные. Для их работ характерны произвольное обращение с текстом памятника, отсутствие границ между фактом, догадкой, предположением и вымыслом, откровенная подгонка фактов под заранее сконструированные «теории». «Выпуск в свет того или иного поверхностного исследования не просто бесполезен — он вреден».[6] В отношении «Слова о полку Игореве» это чревато серьезными последствиями, так как неизбежно приводит к дискредитации великого произведения. К такому роду сочинений о «Слове» следует отнести статью А. Никитина «Испытание „Словом. . ."».[7] Суть статьи А. Никитина, который во вступительной заметке от редакции рекомендуется как «историк и писатель», сводится к следующему. «Слово о полку Игореве» в своих основных частях — произведение неоригинальное. Текст его, создававшийся как минимум в три этапа, заимствован из неких «поэм» Бояна, которые были посвящены якобы описанию борьбы детей князя Святослава Ярославича со своими родными дядьями за наследство отца. Безымянный автор «Слова» лишь приспособил «текст» своего предшественника XI в. к сходной, по мнению А. Никитина, исторической ситуации XII в.

---

[3] Лит. газ., 1984, № 47, 21 ноября, с. 5.

[4] *Пашуто В.* Научный историзм и содружество муз. — Коммунист, М., 1984, № 5, с. 86.

[5] *Ильина Н.* Поговорим о жанрах. — Лит. газ., 1984, № 39, 26 сентября, с. 16.

[6] *Лихачев Д. С.* Текстология, с. 99, примеч. 3.

[7] *Никитин А.* Испытание «Словом. . .». — Новый мир, 1984, № 5, с. 182—206; № 6, с. 211—226; № 7, с. 176—208. Далее ссылки даются в тексте в скобках, сначала указывается номер журнала, потом страница.

В целом концепция А. Никитина антинаучна. Она основана на произвольной фантазии, внутренних противоречиях, сочетающихся с неосведомленностью автора в области древнерусской литературы, истории языка, палеографии, текстологии, собственно истории. Чтобы разобрать все концептуальные и фактические ошибки, потребовалось бы сочинение, едва ли не равное по объему работе Никитина, так как почти каждое положение ее вызывает недоуменные вопросы и возражения. В пределах данной статьи представляется возможным привести наиболее характерные примеры, относящиеся к методике работы писателя-историка.

А. Никитин поставил перед собой чрезвычайно ответственную задачу: во-первых, он претендует на открытие «текстов» Бояна, во-вторых, хочет предложить читателям некую разгадку «тайны» «Слова о полку Игореве». Следует сразу отметить, что собственно исследованием «Слова» как памятника литературы XII в. Никитин не занимается. Оно интересует его лишь как подсобный материал, в котором он выискивает фрагменты «поэм» Бояна. Однако сама постановка такой задачи неправомерна, так как она не может быть решена научно, т. е. на основе строгого анализа текстов. Нам не известны никакие другие тексты Бояна, кроме тех двух «припевок», которые приводит автор «Слова о полку Игореве»: «Тяжко ти головы, кромѣ плечю, зло ти тѣлу кромѣ головы» и припевка Всеславу Полоцкому «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути!».[8] Какими-либо другими свидетельствами о поэтическом творчестве Бояна современная наука не располагает. Никитин же пытается убедить читателей, что в «Слове» «не две цитаты из Бояна, а значительно большее число заимствований» (6, 219). С этого момента героем его статьи становится Боян и его «поэмы».

Поскольку научные методы для обоснования представлений А. Никитина о широких «заимствованиях» в тексте «Слова» из «поэм» Бояна отсутствуют, он решил опереться на иные: «Помочь в этом могли только логика и здравый смысл» (6, 221). Итак, научный анализ произведения подменяется «логикой» и «здравым смыслом» автора статьи, уже сконструировавшего в своем воображении сюжет «поэмы» (или «поэм») Бояна. Но самым главным средством познания, которым руководствуется Никитин, являются его впечатления и чувства. «Перечитывая строки о грозных предзнаменованиях, — пишет он, — я ч у в с т в о в а л, что они вылились из-под пера Бояна, а не автора „Слова..“» (7, 183; здесь и далее разрядка наша. — *М. Р.*, *Л. С.*). Никитину «более верным казалось», что автор «Слова» вставлял в свой текст «подлинные строки Бояна», а не подражание им; «иного объяснения, — отмечает он, — найти я не мог. Да и не было его, по-видимому!» (6, 224). В описании битвы Игоря и Всеволода с половцами ему

---

[8] Древнерусский текст «Слова о полку Игореве» цит. по: Памятники литературы Древней Руси: XII век. М., 1980, с. 372—387.

«чувствуется явное звучание голоса Бояна» (7, 186). Никитин «видит», где «проявляется в тексте» «Слова» «строфика Бояна» (6, 224). Стоит ему приглядеться, и он вновь видит «почти не разрушенные строфы Бояна» (7, 188, 199). Никитин прислушивается в тексте «Слова» к словам, которые он хочет приписать Бояну, учится «узнавать его интонации, угадывать возможный поворот его мысли» (7, 201). На основе таких впечатлений он смело пишет о том, что тот или иной отрывок текста «должен» принадлежать одному из «реконструируемых» им героев, что в том или ином месте поэмы «должны были лечь другие стихи Бояна», что один из князей «должен был увидеть перед смертью» (7, 186) сон определенного содержания, а «Боян никак не мог обойти!» (7, 194) это событие, и все это — «единственное, — признается Никитин, — что мне приходит в голову» (7, 194). Чувство уверенности в справедливости своих предположений не покидает историка-писателя даже тогда, когда его мнения противоречат всем историческим свидетельствам. Так, отмечая, что в летописях названы иные даты походов, чем хотелось бы Никитину, он пишет: «И все же меня не покидала уверенность, что их расстановка под разными годами ошибочна» (7, 180). Довольно часто им движет «труднопреодолимый соблазн», опять-таки вопреки всем историческим данным, отождествить попарно четырех князей-братьев (7, 181). Еще один двигатель «исследования» — «подозрительность». Так, Никитин восклицает: «Я устал распутывать клубки противоречий в летописях, подозревать в каждом списке сознательную подтасовку фактов» (7, 190). «Жизнь моя, — пишет Никитин о своих занятиях историей XI в. и поисках Бояна, — освещенная „черным солнцем“ древней поэмы, неожиданно преобразилась. Порою мне начинало казаться, что потоки таинственной энергии, вырывая из повседневности, заносят меня в иные измерения и пространства» (6, 211). И как итог: «Но за эти годы что-то произошло во мне самом, что-то сдвинулось в понимании не только прошлого, но и современности» (7, 201).

Впечатления А. Никитина не могут быть с достаточным основанием отнесены к интуиции, ибо в науке всякая интуитивная догадка нуждается в последующих фактических доказательствах.

Субъективно-методологические искания Никитина разделены на три этапа, он делает три «шага» в глубь «Слова». Во-первых, в размышлениях о том, «каким образом нащупать вход в XI век, — рассуждает Никитин, — я все чаще приходил к мысли, что это возможно сделать, только предварительно определив произведение Бояна, которое послужило своего рода матрицей для автора „Слова о полку Игореве“» (6, 226). Иначе говоря, чтобы доказать, что автор «Слова» воспользовался неким «произведением» Бояна, и обнаружить влияние оного на «Слово», надо сначала это произведение выдумать! И Никитин сочиняет сюжет «поэмы» Бояна. Там «имелось изображение похода, быть может, со зловещими предзнаменованиями, картины битвы с „погаными“

степняками, гибель героев или плен, последовавшее затем горе „земли“ и, возможно, обращение к князьям с просьбой о помощи» (6, 226). Как видим, Никитин не оставляет почти никакой возможности самому автору «Слова» внести в сюжет своего произведения хоть какую-нибудь оригинальную сюжетную линию. Делая второй шаг, писатель-историк разрезает на части реальный текст «Слова», чтобы вычленить из него им же самим «определенные» «тексты» Бояна. Одно из оправданий для подобной операции Никитин видит в том, что текст «Слова», по его мнению, во многом противоречит действительности XII в., а поэтому в неясных местах «могла открыться переработка образов Бояна, тех его героев, которые участвовали в событиях 60—70-х годов XI в.» (7, 187). При этом Никитину, конечно, приходится по своему усмотрению переосмысливать текст «Слова» или произвольно указывать на то, что автор его будто бы «замаскировывал» Бояна. Никитин делает и третий шаг, самый для него важный: «...меня захватила и влекла надежда хоть несколько прояснить загадки XI века, которые, быть может, удастся разгадать с помощью сохранившегося текста поэмы» (7, 189). Имеется в виду никому не известная «поэма» Бояна.

Теперь можно наглядно представить себе все этапы освоения Никитиным текста «Слова». Во-первых, он начинает свое «исследование» с конца. Исходя из событий XI в., Никитин не только предполагает существование «поэм» Бояна, но и придумывает их содержание. Практически это познание предмета через наитие, абсолютно иррациональное. Во-вторых, в соответствии с придуманным заранее сюжетом реальный текст «Слова» расчленяется на кусочки. Те из них, которые не соответствуют провидению Никитина, т. е. воображаемому «тексту» Бояна, вплоть до отдельных фраз, оборотов и даже букв просто устраняются и перетолковываются. Отдельные фразы меняются местами. В результате всех этих операций возникает некая «реконструкция» «поэмы» (или «поэм») Бояна. И, в-третьих, этот созданный Никитиным текст служит основанием для разъяснения и даже исправления исторических событий XI в. Совершенно естественно, что полученная Никитиным таким странным образом «реконструкция», даже несмотря на тщательную подгонку, не может не вступить в противоречия с имеющимися в летописях историческими данными, и тогда он предлагает исправлять другие источники на основе своей же «реконструкции». Круг замкнулся. Начав с XI в., Никитин сюда же возвращается. «Слово» как реально сохранившийся памятник XII в. — фактически только подсобный материал для его операций.

Серьезный методологический просчет Никитина — в подходе к «Слову о полку Игореве» без учета его художественной природы: «Автор „Слова..“ в ряде случаев решительно расходится с летописцами в оценке действующих лиц, в передаче взаимоотношений князей, даже в реальной географии южнорусских земель» (5, 186). Рассуждая так, Никитин забывает, что «Слово» —

поэма, а не летопись и не актовый документ. Естественно, что разные жанры по-разному говорят о своей эпохе. Отсюда несоответствие «историко-поэтической системы» «Слова» реальной ситуации XII в. В литературном произведении всегда существует дистанция между действительностью и ее художественным воплощением. Чрезвычайно ценно с методологической точки зрения положение В. И. Ленина: «Искусство не требует признания его произведений за *действительность*».[9] Ни у кого не возникает желания перетолковывать «Песнь о моем Сиде» только потому, что исторический Руй Диас де Бивар во многом не похож на опоэтизированного легендой Сида. Или — «Песню о Роланде», в которой описание грандиозной битвы с арабами-мусульманами не имеет ничего общего с реальным боем арьергарда франков с христианами-басками, в котором погиб исторический прототип Роланда.

Обратимся теперь к анализу той разрушительной работы над «Словом», которую провел Никитин, выявляя «тексты» Бояна. В системе его рассуждений важнейшее место занимает положение, что автор «Слова» намеренно следовал Бояну. Никитин делает эту проблему не только «краеугольным камнем» своего труда, но и хочет представить ее вообще основной проблемой в истории изучения «Слова» (6, 222), что совершенно неверно. Он стремится доказать, что все исследователи неправильно читали и понимали фразу из зачина произведения: «Начати же ся тъй пѣсни по былинамь сего времени, а не по замышлению Бояню!». Он решительно берется за «исправление» текста, хотя сам признает: «Но ведь в тексте стояло прямо: „. . . а не по замышлению!“» (6, 224). Теперь продолжим начатую цитату, чтобы показать, как легко Никитин избавляется от неустраивающей его частицы «не»: «. . . в том, что списки „Слова. . .“, послужившие образцом „Задонщины“, имели отрицательную частицу „не“, я очень сомневался. Пожалуй, был даже прямо уверен в обратном. И уж совсем был уверен в том, что эта частица не могла возникнуть под пером автора „Слова. . .“! Она могла возникнуть под пером переписчика только в конце XV или в XVI веке, когда соединительное значение союза „а“ стало забываться и на первое место выдвинулось его противительное значение, так что первоначальный смысл фразы „и по замышлению Бояна“ был понят наоборот и, естественно, усилен частицей „не“» (6, 224). Достоин внимания самый ход рассуждения, превращающий грамматически и семантически ясное место в сложную загадку с многовековой историей. Никитин стремится «подкрепить свою догадку филологическими аргументами» (6, 224). «И они нашлись», — убежденно заявляет он. Но представляет отнюдь не доказательства, а только видимость оных. Весьма эмоционально, подчеркивая кропотливость своих изысканий, автор описывает, как нашел «сгоревшую (?) от времени брошюрку», изданную в годы войны, — «ту самую работу, которую тщетно до этого искал»

---

[9] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 29, с. 53.

(6, 224), — о значении и функции союза «а» в древнерусском языке. Из нее он уяснил, что союз «а» имел не только противительное, но и соединительное значение. Никитин полагает, что совершил открытие. Между тем науке давно известно, что союз «а» еще в праславянскую эпоху употреблялся в этих двух значениях. Этот факт отмечен не только в целом ряде специальных работ, но и в учебниках по исторической грамматике восточнославянских языков. Поэтому поиски «брошюрки» были напрасны. Но главное даже не в этом. Никитин считает свое предположение блестяще доказанным и резюмирует: «Если перевести мысль ее автора на современный язык, то выходило примерно так: „Начнем же эту поэму о событиях нашего времени, используя стихи и, кроме того, еще и замысел Бояна“» (6, 225). Откуда вдруг взялось утверждение, что автор «Слова» писал, «используя стихи» Бояна? Столь вольный перевод понадобился для того, чтобы скрыть от читателей, что ничего историк-писатель не доказал, а получил лишь фразу вместо «а не по замышлению» — «и не по замышлению». Вот и все. Как видим, это совершенно не меняет смысла фразы. Никитин искал филологические аргументы для доказательства того, что частица «не» не могла возникнуть под пером автора, а обнаружил всего-навсего, что союз «а» мог иметь значение «и».

В поисках «поэм» Бояна А. Никитин выдвигает положение об особой «строфике», якобы им присущей и присутствующей почти на протяжении всего текста «Слова»: «Я находил ее и в описании похода, и в картинах отдыха после первой стычки, и в сценах битвы 1078 года на Нежатиной Ниве, что прямо заставляло отнести такие строки к наследству Бояна, звучала в центральной части поэмы, связанной с образом Святослава, прорывалась в „золотом слове“, но — и это тоже было важно! — отсутствовала в описании бегства Игоря из плена» (6, 224). Интересно, какими признаками обладает строфа Бояна? Строфа — элемент системы стихосложения. Обнаружить ее можно только в тексте стихотворном. «Слово» же, как известно, по своей ритмической природе не стихотворно, это ритмизованная проза. Ни одна из многочисленных попыток обнаружить в нем какую-либо систему стихосложения не увенчалась успехом. «Выделение стиха, — пишет современный стиховед М. Л. Гаспаров, — как особой системы художественной речи совершается в русской литературе в XVII—начале XVIII в.», «ни появление ритма, ни появление рифмы в древнерусских текстах не означало для читателя, что перед ним „стих“», и далее: «появление и исчезновение ритма и рифмы непредсказуемо, поэтому они остаются орнаментом прозы, а не становятся структурой стиха».[10] Этот тезис подтверждается примером из «Слова о полку Игореве»: «. . . А мои ти куряне / сведоми къмети: / под трубами повити, / под шеломы

---

[10] *Гаспаров М. Л.* Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Строфика. М., 1984, с. 19—20.

възлелеяни, / конецъ копия въскърмлени, / пути имь ведоми, / яругы имь знаеми...». У Никитина же именно данный отрывок произвольно относится к «строфам» Бояна. Если рифма и ритм не являются в древнерусском тексте стихообразующим фактором, то тем более нет никаких оснований видеть в нем какую бы то ни было «строфику», не говоря уже о Бояновой, ибо строфа — сложное образование, предполагающее участие нескольких компонентов, подчиняющихся определенным правилам чередования и регулярности. Использование термина «строфика» применительно к «Слову» неправомерно. По-видимому, под «строфикой» Никитин понимает спорадически возникающую в тексте «Слова» ритмическую организацию текста. Если это так, то почему Никитин отрицает это явление в описании бегства Игоря из плена? Разве фраза: «Игорь спитъ, Игорь бдитъ, Игорь мыслию поля мѣритъ...» менее ритмична, чем все перечисленные Никитиным фрагменты, в которых якобы просматривается «строфика» Бояна?

Составленные на основе «Слова о полку Игореве» несуществующие «тексты» Бояна А. Никитин называет «реконструкцией», что, однако, в научном понимании таковой не является. Вообще вопрос реконструкции текста — один из сложнейших в текстологии. К реконструированному тексту предъявляется несколько требований, в том числе и такое: «При всей гипотетичности таких реконструкций они по крайней мере пытаются представить если не реально дошедший до нас текст, то тот текст, который мог реально существовать».[11] Сравним мнение А. Никитина: «Подобная реконструкция, конечно, несовершенна. Она может иметь лишь отдаленное сходство с когда-то написанными строками Бояна, а потому и не претендует на то, чтобы стать литературным или историческим документом» (7, 200). Что же получил в таком случае А. Никитин, если его текст имеет «лишь отдаленное сходство» с никому не известными «строками» Бояна, и почему он называется реконструкцией произведения? Но это, так сказать, теория вопроса.

Перейдем к самой «реконструкции». Объективно она, во-первых, приводит к искажению текста «Слова», а во-вторых, открывает Никитину легкий путь для ничем не обоснованного «исправления» самой русской истории XI в. Восходящими к «поэме» Бояна Никитин считает не только все фрагменты «Слова», в которых упоминаются события XI в., но и те описания, которые непосредственно относятся к походу князя Игоря. Изображение похода 1185 г., по мнению Никитина, в основе своей заимствовано автором «Слова» у Бояна и частично переработано. В результате герои «Слова» Игорь и Всеволод как бы раздваиваются. Описание их действий по «реконструкции» не является отражением действительности, а приписывается разным князьям XI в. А. Никитин считает, что «центральной фигурой поэмы» Бояна

---

[11] *Лихачев Д. С.* Текстология, с. 469.

«был, безусловно, Роман» (6, 182), т. е. Роман Святославич (двоюродный дед князя Игоря), а «поход, бой и поражение были канвой сюжетов обеих поэм» (6, 183), т. е. неизвестной «поэмы» Бояна и «Слова о полку Игореве». Никитин выдвигает Романа в главные герои «поэмы» Бояна лишь на том основании, что перед его походом (1079 г.) произошло солнечное затмение. В связи с тем, что Никитин отводит этому астрономическому явлению важнейшую роль в своей концепции, необходимо сделать следующие разъяснения. Согласно астрономическим таблицам полоса полного солнечного затмения 1079 г. проходила вне пределов Восточной Европы. На территории Киевской Руси фаза затмения была столь незначительна, что оно могло быть замечено только при специальном наблюдении и соответствующих погодных условиях. Не удивительно поэтому, что затмение 1079 г. не было зафиксировано в русских летописях, ведь его течение никак не отразилось на природе (при ярком солнечном свете оно не могло быть замечено невооруженным глазом). Данное затмение в принципе не может быть соотнесено с большим солнечным затмением 1185 г., когда «солнце стояще яко мѣсяць» (Ипатьевская летопись. — ПСРЛ. СПб., 1908, т. 2, стб. 638). Поэтому абсолютно беспредметным представляется заявление Никитина о том, что «все грозные предзнаменования в „Слове..." первоначально были связаны с выступлением Романа Святославича» (7, 185), ибо таковых просто не было.[12] Однако кандидатура Романа не до конца устраивает Никитина. Ничего похожего в походе Романа на события «Слова» не было, дело обошлось без битвы, а Романа убили его же союзники-половцы после их совместного похода в «Русскую землю». Далее все, что связано в «Слове» с описанием боя 1185 г., Никитин вновь проецирует в XI в., но уже на другой военный поход — братьев Романа: Олега Святославича и Бориса Вячеславича. Теперь им, героям битвы при Нежатиной Ниве (1078 г.), приписывается то, что в «Слове» относится к Игорю и Всеволоду. Брат Игоря Всеволод Святославич, оказывается, заменяет кроме того Всеволода Ярославича, также участника этой битвы 1078 г., но в действительности при Нежатиной Ниве Всеволод Ярославич боролся против Олега и Бориса. Таким образом, герои «Слова» — и Игорь, и Всеволод — каждый соотносится не с одним, а сразу с двумя историческими лицами предшествующего столетия. По «реконструкции» получается, что автор «Слова», изображая Всеволода Буй-Тура, не смог сделать это самостоятельно и даже соединил в его характеристике черты, свойственные разным князьям XI в., находившимся друг с другом в непримиримой вражде. Более того, описание личного геройства в бою Всеволода (брата Игоря) — «стоиши на борони, прыщеши на вои стрелами, гремлеши о шеломы мечи харалужными» — Никитин произвольно связывает со

[12] Благодарим за консультацию по вопросу о солнечном затмении 1079 г. научного сотрудника Московского планетария Л. А. Панину.

Всеволодом Ярославичем (XI в.), противореча самому себе. Ведь в другом месте статьи он пишет, что Боян не складывал песен «Всеволоду и его сыновьям, ярым противникам Святославичей» (6, 219).

А. Никитин проделывает такую же операцию по отождествлению разных, разделенных столетием лиц, за которую в этой же статье критикует другого автора: «Здесь все было поставлено с ног на голову... под каждым князем XII века, названным в тексте „Слова...“, подразумевался совсем другой князь, живший в середине XIII века. Что за маскарад? Дальше — больше» (5, 184). Сам Никитин делает то же самое, с той лишь разницей, что переодевает князей 1185 г. в маски не XIII, а XI в.

Составляя текст, «который мог читаться у Бояна» (7, 186), Никитин не сопровождает его теми фрагментами «Слова», откуда он извлечен. В итоге он запутывается сам и обвиняет автора «Слова» в несуществующих у того ошибках. Рассмотрим следующий пассаж в «реконструкции» Никитина:

ту ся брата разлучиста...
ту кровавого вина не доста,
ту пир докончаста:
сваты попоиша, а сами полегоста
на землю Рускую (7, 186).

Сравним эту фразу с соответствующим текстом «Слова»: «Ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрой Каялы; ту кроваваго вина не доста, ту пиръ докончаша храбрии русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую». Никитин произвольно изымает из текста «Слова» «на брезѣ быстрой Каялы», «храбрии русичи»; переделывает «за землю Рускую» в «на землю Рускую». Глаголы «докончаша», «полегоша» (аорист, множественное число) переводит в другую форму — двойственного числа («докончаста», «полегоста»), считая, что фраза восходит к «тексту» Бояна, где речь шла в данном месте не о войске Игоря («русичах»), а о двух князьях — Олеге и Борисе. Он убеждает читателей, что рассказ о событии 1078 г. позволил «автору „Слова...“ в почти неизменном виде отнести действие на счет Игоря и Всеволода. Правда, он не заметил другое: герои в измененном тексте оказываются убиты («...а сами полегоша»). Для Игоря и Всеволода такая ситуация невозможна, поскольку оба остались живы» (7, 186). Однако никакой ошибки в «Слове о полку Игореве» нет. В нем ясно сказано, что Игорь и Всеволод разлучились на берегу Каялы, а полегли «за землю Рускую» их воины-дружинники. Никитин приписывает автору «Слова» ошибку, которой у него нет, а сам в этом же тексте делает действительную грамматическую ошибку, объясняющуюся недостаточным знанием древнерусского языка. Относя содержание фрагмента на счет двух князей XI в. (Олега и Бориса), он применяет вместо необходимой формы глагола в двойственном числе

«попоиста» глагол во множественном числе «попоиша», заимствуя его из «Слова», где речь идет о «русичах».

Только недостаточным знанием древнерусского языка Никитиным можно объяснить его толкование следующей фразы: «Уже соколома крильца припѣшали поганыхъ саблями, а самаю опуташа въ путины желѣзны». Вот как он ее понимает: «Но почему „два сокола“? Впрочем, если опять внимательно вглядеться в текст, то уже в следующей фразе оказывается, что соколов не два, а три, как и должно быть, поскольку двое («соколома» — двойственное число) убиты (их «припешали»), а третий, определенный загадочным словом „самаю“, связан железными путами» (7, 196). В данном толковании две языковые ошибки. Глагол «припешали» Никитин неправильно переводит как «убиты». В действительности глагол «припѣшати» имел значение «подрезать, подсечь крылья, сделав пешим, неспособным летать», ср. в «Пчеле» по списку XV в.: «аки она припѣшена птица, не может борзо възлѣтити».[13] Слово «самою» («самаю»), которое автор объявляет «загадочным» и видит в нем обозначение князя, является нормальной формой родительного падежа (в функции винительного) двойственного числа местоимения «сам». Где же третий князь? Рушится придуманное Никитиным соотнесение соколов-князей из «мутного сна» Святослава не с Игорем и Всеволодом, а с тремя князьями XI в. — Романом, Борисом и Олегом. Фраза, о которой рассуждает Никитин, без затруднений и загадок переводится так: «Уже соколам крылья подрезали саблями поганых, а самих опутали в путы железные».

Следующее разыскание Никитина в области древнерусского языка относится к фразе, которая в «Слове» выглядит так: «...кають князя Игоря, иже погрузи жиръ во днѣ Каялы, рѣкы половецкия, рускаго злата насыпаша». Он заявляет, что «грамматически невероятным был оборот „в дне Каялы“, поскольку речное дно требует совсем иного предлога не только в современном, но и в древнем русском языке; столь же грамматически невероятна была конструкция фразы „во дне Каялы, реки половецкыя“» (7, 199). Оба утверждения ни на чем не основаны и неверны. В обороте «во дне Каялы» ничего невероятного нет (ср.: «иде же человек той и погрязе во дно рѣкы и невидим бысть»[14]), так же, как и в синтаксической конструкции «во дне Каялы, рѣкы половецкия». В ней приложение находится на своем месте, после определяемого слова. Можно привести аналогичный пример из народной песни: «Волга, Волга, мать родная! Волга, русская река!». Содержание рассматриваемой фразы Никитин соотносит не с Игорем, как в «Слове», а со Всеволодом Ярославичем (XI в.), усматривая в ней намек на его злокозненную деятельность про-

---

[13] Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» / Сост. В. Л. Виноградова. Л., 1973, вып. 4, с. 206.

[14] Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1977, вып. 4, с. 252 (см. также: «во днѣ кладезя» — там же).

тив своих племянников, сыновей его брата Святослава. «Догадку требовалось подтвердить, — пишет Никитин, — грамматикой и палеографией» (7, 199). Итак, каковы же его аргументы? Первое: в тексте Бояна стояло будто бы слово «мир», а не «жир» (как в «Слове»); в «полууставе» буква «м» была перепутана с «ж». Второе: «во днѣ Каялы» истолковывается как «день Каялы» и уподобляется «дню Икс современных военных детективов» (7, 200), «оборот „во дне Каялы", — замечает Никитин, — остался без изменений, потому что означал „в день Каялы", то есть в день битвы на Каяле» (7, 199). Третье: «рѣкы» он произвольно переделывает в «руки», полагая, что автор «Слова» «замаскировал» фразу из «поэмы» Бояна «изменением всего лишь одной буквы» (7, 199). Четвертое: оборот «рускаго злата насыпаша» Никитин без всяких пояснений и оговорок видоизменяет — «русским златом осыпаша». В итоге он создает следующий «текст» Бояна, в котором кают Всеволода Ярославича, «иже погрузи миръ во дне Каялы, руки половецкие русским златом осыпаша» (7, 200). Обильная правка, которую вносит Никитин в текст «Слова», «реконструируя» данную фразу из Бояна, является следствием ложного истолкования обстоятельства места («во днѣ Каялы») как обстоятельства времени. Здесь Никитин допускает грубую ошибку. Если бы рассматриваемое сочетание существительного с предлогом соответствовало «догадкам» Никитина, то по правилам древнерусского языка оно имело бы в винительном падеже форму «въ дьнь (день)» — как в другом месте «Слова»: «Темно бо бѣ въ 3 день». Данным примером грамматические ошибки Никитина не исчерпываются. В той части фразы, где им изменен падеж в словосочетании «русским златом» (вместо «рускаго злата»), он предлагает взамен имеющегося в «Слове» глагола — другой, к тому же в форме, которая противоречит реконструированному «тексту» Бояна: при подлежащем, выраженным местоимением в форме единственного числа «иже» (т. е. Всеволод), оказывается сказуемое во множественном числе «осыпаша» (т. е. «осыпали»!) вместо ожидаемой при таком чтении формы единственного числа «осыпа». После того, как обнаружилась несостоятельность тезиса о «дне Каялы» как дне битвы, не имеет смысла рассматривать надуманные Никитиным проблемы с «мир» — «жир», «руки» — «рѣкы». «Реконструкция» данной фразы — нагромождение фантастических предположений и грамматических ошибок. Вся эта казуистика раскрывает нам представления писателя Никитина о творческом методе поэта XII в., создающего свою поэму путем перетасовки букв в тексте своего предшественника. Уместно напомнить Никитину его же слова: «Литературное, тем более поэтическое произведение никогда не может быть составлено из разновеликих кусочков мозаики, дробной до отдельных слов, которые автору предстоит выискивать в самых различных книгах» (5, 198); а также следующее его положение: «...нельзя приравнивать поэта к писцу-компилятору, подобно пчеле собирающему по слову, по фразе из разных текстов, чтобы создать „свое"

произведение» (7, 207). Эти здравые мысли высказаны Никитиным в качестве критики по отношению к работам ученых-скептиков, считавших «Слово» подделкой XVIII в. Но по сути его взгляд на творческий метод автора «Слова» — такого же типа. Разница лишь в том, что, по Никитину, автор «Слова» заимствует не из нескольких реально существующих источников (как думали «скептики»), а из одного, им самим придуманного «текста» Бояна.

Одним из приемов работы Никитина является создание загадок и их разгадывание. Например, хорошо известно, что в «Слове» изображен вещий сон великого князя киевского Святослава Всеволодовича. Ссылаясь на то, что реальный облик этого князя далек от того героического образа, который создан «Словом», Никитин изобретает «пресловутую загадку Святослава» (7, 187) и возводит поэтому данный фрагмент к «поэме» Бояна, где был описан якобы вещий сон прадеда этого героя — Святослава Ярославича (ум. 1076 г.). Перенося сон Святослава Всеволодовича на сто лет назад и подгоняя его к реалиям XI в., Никитин тем самым создает своеобразную «загадку». Глубокое заблуждение писателя-историка — в отождествлении художественного образа с историческим прототипом. Не будем вдаваться в детальный разбор образа Святослава Всеволодовича Никитиным. Отметим присущее ему непонимание поэтической природы произведения, которое выдает, например, вопрос: «Как, скажем, понять образ „синего“ вина, к тому же еще почему-то смешанного с „горем“? С горечью — понятно, но с горем?» (7, 189). Вспомним широко известное современное стихотворение-песню М. В. Исаковского «Враги сожгли родную хату», где есть такие возвышенные и суровые строки: «И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам».

Следующая «разгадка» Никитина связана с трактовкой образа Дива. Мифическое существо Див известно литературе и фольклору ираноязычных и тюркоязычных народов.[15] Никитин уверяет читателей, что Див непременно должен быть птицей, и подбирает слово, по его мнению, похожее на «дива», — «зивь», взятое из «Азбуковника» XVI в., где оно означает «аист» или «журавль». Его «разгадка» такова: слово «зивь» будто бы употреблялось в домонгольский период, к концу XIV в. было забыто. «Именно тогда при возникновении одного из промежуточных списков „Слова...“ начальное „з“ легко могло быть прочитано как „д“» (7, 184), что проясняло незнакомое для переписчиков слово. Следовательно, именно данный список с вдруг возникшим «дивом» должен был лечь в основу «Задонщины». Эти бездоказательные рассуждения вызывают возражения. Непонятно, и Никитиным никак не объяснено, почему слово «зивь», забытое, по его мнению, к концу XIV в., вошло в «Азбуковник» XVI в.

[15] *Менгес К. Г.* Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979, с. 192—193.

Кроме того, аист и журавль — птицы с благоприятной символикой, функция же Дива в «Слове» — зловещая. Он действует против героев похода 1185 г. Далее. Никитин не утруждает себя объяснением, что же значило слово «див», по его мнению, столь хорошо знакомое в конце XIV в., но, как свидетельствует «Задонщина», трудное и непонятное. В ней Див превратился в Диво: «А уже Диво кличеть под саблями татарскыми, а тѣм рускымъ богатырем под ранами».

«Разгадку» «див—зивь» Никитин считает шагом на пути к раскрытию следующей «тайны» «Слова» — выражения «тмутороканский болван». Он заменяет слово «блъванъ» словом «балабан», которое означает вид степного сокола. «Тмутороканский сокол», по Никитину, — образ Романа Святославича: «Сокол! Тмутороканский сокол! — только так мог обратиться аист («див») к Роману, приравнивая его этим к остальным князьям-соколам» (7, 185). Попробуем подставить данное толкование в реальный текст «Слова». И что же? Некий аист «велитъ послушати земли незнаемѣ, Влъзѣ, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебѣ, Тьмутороканьскый блъванъ» (сокол — по Никитину). Во-первых, нарушен единый ряд понятий — в перечень географических названий вторгается образ сокола-князя из Тмуторокани. Во-вторых, образ «тмутороканского сокола» выбивается из системы символики «Слова», где животные описываются с применением постоянных эпитетов (качественных прилагательных): сизый орел, серый волк, черный ворон, лютый зверь. Ни реальным, ни символическим птицам и животным «Слова» не даются определения, выраженные относительными прилагательными по географическому признаку. Ведь об Игоре не говорится «новгород-северский сокол», а о Всеволоде — «курский и трубчевский сокол». И наконец, самое главное: если в тексте «Слова» выражение «тмутороканский болван» имеет то же значение, что и в «поэме» Бояна («тмутороканский сокол»), то, по Никитину, получается, что автор «Слова» в очередной раз не понимал того, о чем писал, ибо в конце XII в. русского тмутороканского княжества не существовало, а обращение просто к некоему соколу (птице) выглядело бы нелепо. В тексте «Слова» «блъванъ» не имеет и не может иметь значений «сокол», «сокол-князь». Разгадка придуманной в «Слове» «загадки» не состоялась.

Можно было бы избежать гадательных решений относительно слов «болван»—«балабан». Достаточно обратиться к книге К. Г. Менгеса о восточных элементах в «Слове о полку Игореве», где в статье, посвященной этимологии слова «болван», подробно разбирается многозначный тюркизм «балабан». Похожесть слов «болван», «балабан» объясняется их общим иранским корнем. В древнерусском языке «балабан» — прямое заимствование из тюркских языков в одном из значений (охотничий сокол), оно существует здесь независимо и параллельно с древнерусским словом «болван», имеющим собственную семантику. «Блъванъ „Слова“, сопровождаемый эпитетом Тьмутороканьскыи, персони-

фицирован и является, несомненно, каменной бабой, стоящей поблизости от древней Тьмутороканиъ.[16]

Как видим, главный недостаток труда Никитина даже не в том, что все его предположения сами по себе не имеют никаких научных оснований. Порок в том, что он вполне сознательно вводит читателя в заблуждение, утверждая: «Прояснились еще два темных места в „Слове..." и, что очень важно, прояснились без напряжения, без исправления букв, без разрушения печатного текста 1800 года» (7, 186). Так ли? В первом издании: «дивъ»; у Никитина — «зивь», заменены две буквы (половина слова); и соответственно: «блъванъ»—«бълъбанъ», не только заменено «в» на «б», но и добавлена буква («ъ»).

Вот показательный пример, который концентрирует разные типы ошибок, характерные для всей работы Никитина. К «творчеству» Бояна он относит следующий фрагмент: «Прысну море полунощи, идуть сморци мьглами». По его мнению, «заимствование текста Бояна и переработка второй части строфы привели автора „Слова..." к фактической ошибке, которую не смогли объяснить натуралисты. Суть ее в том, что при традиционном толковании текста „идут смерчи в туманах" или „в облаках" приходится выбирать одно из двух: или „мьгла" — не туман, или „сморци" — не смерчи, поскольку подобного сочетания в природе быть не может» (7, 203—204). Путем нагромождения предположений Никитин наделяет данный отрывок тем смыслом, который соответствовал бы сюжету придуманной им «поэмы» Бояна. Он решает, что «мгла» — туман, следовательно, «сморци» — не смерчи. Первое предположение Никитина: если «сморци» — множественное число существительного, то исходная форма слова в единственном числе будет не «сморкь»(смерчь), а «смречь» (кедр). Второе: из кедра строили морские суда. Третье: по аналогии с судном, именуемым «дубок», лодка из кедра должна была носить название по той древесине, из которой была сделана: «сморци» или «смерци». Четвертое: Олег Святославич возвращался из византийского плена на отечественном судне, а не на греческом. И пятое: данное судно было именно такого типа, о котором пишет Никитин.

С методологической точки зрения неправомерно при осмыслении художественного, поэтического текста руководствоваться только критериями его документального соответствия явлениям природы, объяснениями их «натуралистами». Абсурдно выглядел бы подобный натуралистический подход к прекрасной поэме А. М. Горького «Буревестник», где в одном поэтическом пространстве уживаются животные из разных полушарий: пингвины из южного, а гагары — из северного. Но все-таки проверим, соответствует ли картина, нарисованная в «Слове», реальным природным явлениям или нет, как утверждает Никитин. Достаточно обратиться к словарям древнерусского языка, чтобы обнаружить,

[16] Там же, с. 88.

что слово «мьгла» имеет несколько значений, в том числе «облака», «тучи». Именно в этих значениях оно употребляется в «Слове»: «...и полетѣ соколомъ подъ мьглами, избивая гуси и лебеди...». «Облако», «туча» — эти значения не только вполне соответствуют рассматриваемому фрагменту со «сморками», но и реальному природному явлению: «Смерчь, атм. вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде темного облачного рукава или хобота... Существует недолго, перемещаясь вместе с облаком...».[17] Можно также вспомнить описание грозы и смерча, пронесшегося в июне 1984 г. не так далеко от Москвы. Трудно представить, чтобы ученые-натуралисты не знали столь элементарных вещей. Никитину же вновь не удалась попытка приписать автору «Слова» очередную «ошибку».

Уже на первом этапе «обоснования» своей догадки Никитин допускает лингвистическую ошибку. Он заменяет исходное для «сморци» слово «сморкъ» существительным «смрѣчь», опираясь лишь на кажущуюся похожесть слов. Однако слова эти разные, и отождествлять их нельзя. Кстати, следует отметить, что старославянское по происхождению существительное «смрѣчь» (кедр) сохранялось по традиции только в старославянских памятниках и как редко употребимое оставалось часто непонятным переписчикам, допускавшим путаницу в роде и склонении этого слова. В Древней Руси пользовались словом «кедр» (см.: Срезневский, I, 1204). Проведем грамматическое сравнение слов «сморкъ» и «смрѣчь». Множественное число от «сморкъ» — «сморци» (как в «Слове»); множественное число от «смрѣчь» — «смрѣчие» или «смрѣче» (м. р.). Если следовать предлагаемой Никитиным аналогии «дуб—дубок», то название судна из кедра должно выглядеть так: «смрѣчькъ» или «смрѣчьць» — ед. ч.: «смрѣчьци» — мн. ч. Эти слова не зафиксированы в славянской письменности, и такие формы не имеют ничего общего со «сморци» (в «Слове») или «смерпи» (по Никитину). Самый простой способ проверить чтение Никитина «Разыгралось к полуночи море, идут во тьме (в тумане) суда» (7, 204) — подставить его в текст «Слова о полку Игореве», где далее следует фраза: «Игореви князю богъ путь кажетъ изъ земли Половецкой на землю Рускую». Какое отношение могут иметь некие корабли к бегству Игоря из плена? Никитин сам создает некую «загадку» в «Слове». Кроме того, из его перевода следует, что автор «Слова» или плохо понимал русский язык, или механически копировал «текст» Бояна. Странно звучит утверждение Никитина о том, что ему собственное толкование избранного отрывка «представляется правдоподобным», потому что «в тексте не надо ни заменять буквы, ни менять что-либо местами» (7, 204). Действительно, в данном случае Никитин не меняет букв в слове «сморци», но он произвольно

---

[17] Советский энциклопедический словарь. М., 1981, с. 1238.

наделяет это слово тем значением, которое необходимо для его «реконструкции», что непозволительно ни с каких точек зрения.

Мы не можем принять в расчет и оговорки автора: «Я не настаиваю на безусловности предлагаемого мной толкования» (7, 204), так как через полтора десятка строк именно на основании рассмотренных догадок Никитин делает вывод о содержании последней части «поэмы» Бояна и времени ее завершения: «Наиболее достоверными строками Бояна, указывающими на заключительную часть его поэмы, мне представлялись строки о „сморцах", идущих по морю на Русь» (7, 204). Кстати, Никитин неграмотно употребляет слово «сморци»; «ц» в нем — результат второй палатализации, т. е. перехода «к» перед «и», «ѣ», см.: «сморци» (им. п.), «сморцѣхъ» (местный п.), но «сморкомъ» (дат. п.), «сморкы» (вин. п.). Современным нормам соответствует форма (о) «сморках». Во фрагменте, который разбирает Никитин, всего шесть слов, но сколько разного рода ошибок и нелепых предположений!

Отбор фактов для «реконструкции» характеризуется субъективной избирательностью материала. Так, один из самых поэтических эпизодов «Слова» о гибели юного князя Ростислава в реке Стугне Никитин трактует как «маловразумительное упоминание» (6, 219), как «смутное и до конца не понятное упоминание» (6, 221). Этому рассказу, который, кстати, вдохновил А. К. Толстого на создание замечательной баллады «Князь Ростислав», Никитин дает столь пренебрежительную оценку только потому, что он не укладывается в его «реконструкцию»; эпизод нельзя приписать творчеству Бояна по хронологическим причинам: согласно подробному сообщению летописи Ростислав погиб в 1093 г., Боян же, по мнению Никитина, жил и творил до середины 80-х гг. XI в. Вместе с тем рассказ об «уноше» Ростиславе отстоит слишком далеко от событий «Слова», и для Никитина остается неясным вопрос, из какого текста мог «позаимствовать» его автор.

Построения и заключения Никитина страдают внутренней фактической противоречивостью. В «Слове» сказано, что певцы после поражения Игоря кают его, прославляют же великого князя киевского Святослава Всеволодовича за победу над половцами. Текст абсолютно ясен. Никитин пытается приурочить его к XI в. и представить дело так, будто певцы поют славу Святославу Ярославичу, кают не Игоря, а Всеволода Ярославича. Это хронологически невозможно, потому что Святослав Ярославич умер в 1076 г., а Всеволода якобы осуждали за его междоусобные действия после битвы при Нежатиной Ниве в 1078 г. «Славу» никогда не пели умершему князю.

Другое недоразумение: каждый из трех родных братьев из рода Святославичей почему-то считается младшим среди них: «„красный Роман Святославич", самый молодой из братьев» (7, 182); затем «Олег Святославич, самый молодой из действующих лиц» (7, 197); и, наконец, «Ярослав Святославич, самый младший брат» (7, 198).

Отметим еще несколько весьма существенных деталей, содержащих фактические ошибки.

Достижением своей работы Никитин считает ряд «мелких находок вроде толкований отдельных мест и выражений в „Слове“» (6, 211). Действительно, в «Слове о полку Игореве» есть так называемые темные места. К ним относится, например, выражение «стрикусы» во фразе, где говорится о военных походах князя Всеслава Полоцкого: «Скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плъночи изъ Бѣла-града, обѣсися синѣ мьглѣ, утръже вазни с три кусы: отвори врата Нову-граду..». Никитин пишет, что «стрикусы» (написание в первом издании. — *М. Р., Л. С.*) «могли восходить к сочетанию „стрыя хусы“, то есть „походы дяди“ (по отцу)» (6, 211). Рассмотрим это толкование. «Стрый» означает на древнерусском языке дядю по отцу, но вставим предложенную расшифровку в текст «Слова»: «...утръже вазни стрыя хусы отвори врата Нову-граду». Эта фраза порождает новые вопросы. Кто этот легендарный дядя по отцу? Русские летописи не знают никаких братьев отца Всеслава — Брячислава и тем более их походов на Новгород.

Вообще Всеславу Полоцкому у Никитина не везет. Этого князя Никитин превращает, «так сказать, к слову» (7, 176), в некоего «Всеслава Половецкого» только на том основании, что ему «непонятна вражда Всеслава к сыновьям Ярослава» (7, 176) и то, зачем киевлянам понадобилось освобождать Всеслава из заключения. Подобными рассуждениями Никитин вводит читателя в заблуждение. В русских летописях подробно описаны названные события. Вспомним хотя бы знаменитую битву на Немиге (1067 г.), отраженную также в прекрасных поэтических образах в «Слове о полку Игореве». Здесь же следует заметить, что для Никитина-историка собственная, научно не обоснованная «реконструкция» весомее, чем свидетельства всех исторических источников, так как она, например, подтверждает его догадки о том, что «битва на Нежатиной Ниве и поход Романа произошли в один год» (7, 200). Напомним, что согласно всем летописям события Нежатиной Нивы произошли в 1078 г., а поход Романа — в 1079 г.

Большинство фактических ошибок «реконструкции» Никитина является следствием его концептуально-методологических просчетов и объясняется стремлением писателя-историка приспособить или даже создать разного рода формы языка, факты истории и литературы с тем, чтобы оправдать выдуманную им версию сильнейшей зависимости автора «Слова о полку Игореве» от несуществующих «текстов поэм» Бояна.

Разыскания Никитина приводят его к следующей характеристике реально существующего текста «Слова»: «...текст по большей части был изменен, разрушен, „замаскирован“ переменой имен и деталей, нарушением ритмики и самой лексики» (6, 225). «Слово» предстает перед читателями «в заплатах поправок, изъянах толкований, в пестрых пятнах догадок» (7, 207). Оно постоянно вызывает у Никитина вопросы типа «Переделки?», «Пу-

таница?» (7, 196), а также желание «приподнять покров тайны, чтобы услышать чистый, не искаженный временем голос» (7, 204).

Приведенные оценки не относятся к действительно существующим в тексте «Слова» «темным местам». Таковыми они кажутся только Никитину. По его мнению, автор меняет местами «половины фразы Бояна» (7, 196), разрывает вставками «фразы» (7, 197), при переработке «текста» Бояна он неоднократно «ошибается», в результате чего возникают, по Никитину, труднообъяснимые места. Но вся эта работа над «творческим наследием» Бояна не идет ни в какое сравнение с тем, к чему привела его неумелая «перелицовка» образа одного из действующих в «Слове» князей, которая «ставила автора в глупейшее положение и обрекала на провал весь его благородный замысел» (7, 187). Никитин делает вывод, что «Слово о полку Игореве» является «итогом предшествующего развития культуры, быть может, даже не лучшим ее образцом» (6, 217), так как «не исключена была возможность искажений уже на первом этапе — этапе создания „Слова“» (6, 225). В результате таких разысканий автор «Слова» выглядит как малосведущий в истории и неумелый компилятор, к тому же плохо владеющий древнерусским языком. Заслуга его, оказывается, в том, что он «спасает от забвения имя и творение своего предшественника» (7, 207).

Следует признать, что Никитин произвел над текстом «Слова» еще более «грандиозную вивисекцию», чем та, в которой он упрекает исследователя XIX в. В его изображении шедевр русской и мировой средневековой поэзии предстает как сочинение неоригинальное, в большей части компилятивное, причем в заимствованиях своих якобы допустившее разного рода ошибки, недоразумения, т. е. как произведение, лишенное исторической и художественной цельности и ценности.

В мировой литературе нельзя назвать ни одного выдающегося поэтического произведения, которое было бы составлено из кусочков таким путем, каким рисует Никитин создание «Слова о полку Игореве». Подражательное сочинение ни при каких условиях не может быть гениально. Ближайший и убедительный пример — «Задонщина», которая является всего лишь стилизацией «Слова о полку Игореве» и, безусловно, поэтически ниже его.

Таким образом, каковы бы ни были субъективные намерения А. Никитина, следует признать, что объективно его работа вводит в заблуждение большинство читателей-неспециалистов и вызывает ошибочные представления о «Слове», возбуждает поверхностные его толкования и даже скептическое отношение к нему как к памятнику невысокой ценности.

А. Никитин отказывает в оригинальности и творческом начале не только автору «Слова», но древнерусской литературе вообще. Он категорично утверждает изобретенную им идею, что «из текста в текст — только так шел литературный процесс

средневековья» (6, 221). «Теорию неоригинальности» Никитин стремится распространить на все мировое средневековье и подкрепляет ее анекдотом о неком восточном поэте, который за каждую новую рифму лишался одного зуба. Рассуждения Никитина не могут не вызвать недоумения, ибо всякому культурному читателю известна прекрасная поэзия Фирдоуси, Низами, Навои, Бабура и других поэтов Востока. Что же касается средневековой Европы с ее скальдами, трубадурами, труверами, миннезингерами, менестрелями, шпильманами, то утверждение Никитина, что «самобытность и новизна не поощрялись» (6, 221), выглядит анекдотично. Специальное внимание он уделил доказательству неоригинальности и отсутствию творческого начала именно древнерусской литературы. При этом Никитин ссылается на авторитет крупнейших литературоведов-медиевистов, академиков А. С. Орлова, В. М. Истрина, Д. С. Лихачева, которых он числит своими «предшественниками по вопросу традиции и новаторства в средневековой литературе» (6, 221).

В приведенных Никитиным цитатах из трудов названных ученых действительно отмечается определенная традиционность, этикетность поэтики в произведениях древнерусской литературы, но при этом отнюдь не исключается и авторская оригинальность. А. С. Орлов, Д. С. Лихачев и другие ученые посвятили немало работ изучению «Слова о полку Игореве» как оригинального явления русской литературы XII в.

Нигилистическое отношение к культурному наследию Древней Руси проявилось и в оценке Никитиным таких замечательных произведений, как «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона и «Моление» Даниила Заточника. Отрицая национальную оригинальность заключительной части «Слова» Илариона — похвалы князю Владимиру, Никитин возводит ее к иностранным источникам. Беспомощность таких предположений очевидна хотя бы из того, что сам Никитин не знает, каким источникам отдать предпочтение — греческим или болгарским. Сочинение Даниила Заточника он оценивает на основании «принципа неоднократного использования текста в древней Руси» (6, 222) лишь как собрание «афоризмов, библейских цитат и цитат из сочинений отцов церкви» (6, 222). Эти утверждения свидетельствуют о том, что Никитин весьма поверхностно знаком с историей древнерусской литературы.

В сочинении его обнаруживается парадокс: уводя истоки древнерусской литературы в неведомые глубины веков, автор вместе с тем с небрежением относится к тем немногим дошедшим до нас выдающимся произведениям Киевской Руси, которые составляют гордость нашей культуры.

Возникает закономерный и недоуменный вопрос: у кого же заимствовал свои «поэмы» Боян? Или только ему Никитин предоставляет право на оригинальное творчество?

На поставленный вопрос мы не находим ответа в разбираемом сочинении Никитина. Здесь мы вынуждены обратиться к другой

его статье, опубликованной в болгарском журнале.[18] Излагая в самой сжатой форме уже проанализированные нами «открытия», автор дополняет их целым рядом безответственных утверждений. Они являются дальнейшим развитием мысли Никитина о неоригинальности древнерусской литературы вообще. Так, вызывает удивление его мнение, что «Повесть временных лет» вобрала «в себя рассказы о событиях не только русской, но в первую очередь болгарской истории, как, например, легенду о хождении апостола Андрея..., поход Олега на Царьград, историю княжения Ольги и ее сына Святослава...» (85). Стоит открыть «Повесть временных лет», чтобы убедиться, что к «болгарской истории» никакого отношения не имеет ни описание легендарного путешествия апостола Андрея из Крыма по Днепру и далее в северные славянские земли, ни знаменитый поход киевского князя Олега, прибившего свой щит на ворота столицы Византии Константинополя.

Эти приведенные без попыток какой-либо аргументации положения об отражении болгарских «сюжетов» в русском летописании, очевидно, необходимы Никитину для обоснования таковых и в «Слове о полку Игореве». В самом же Бояне, — заявляет он, — «с достаточным основанием можно видеть прямого потомка царя Симеона» (84) (имеется в виду болгарский царь начала X в. — Симеон. — *М. Р., Л. С.*). Полагая доказанным «значение Бояна в создании текста „Слова о полку Игореве“» (85), Никитин безапелляционно утверждает, что «наличие явных болгаризмов в его текстах, упоминание Траяна, Дуная, Тмутаракани... позволяет с уверенностью связать происхождение Бояна и его творчество именно с культурой Первого болгарского царства» (86). С такой легкостью писатель-историк решает вопрос о характере не дошедшего до нас творчества Бояна, вновь уводя его истоки в глубины веков, но уже не русской истории, а за границу. Гипотетические «поэмы» Бояна, а следуя «теориям» Никитина о возникновении текста «Слова», и оно само возводятся к несохранившейся светской поэзии Первого болгарского царства.

Концептуальные и фактические ошибки в работе Никитина тесно связаны с его откровенно пренебрежительным отношением к науке, которую он определяет как «канцелярски-академическую» (5, 184). В изображении Никитина ученый мир только и занят сведением счетов, расчетами, «где и как подпустить шпильку поострее» (6, 211), «подтягиванием доказательств и аргументов, требующих собственной защиты, всегда весьма ненадежной» (7, 207), и все это покрыто «асфальтовой корой академической благопристойности» (6, 211), «заседания ученых комиссий» протекают «в академическом благочинии» (6, 211). Никитину, по его словам, приходится прорываться через «пласты незнания и предвзятости» (7, 207), потому что более чем вековая традиция

---

[18] *Никитин А.* Обнаружен новый архаический пласт в «Слове о полку Игореве». — Обзор, София, 1984, № 67, с. 84—86 (далее страницы указываются в тексте).

изучения «Слова» создала вокруг него «барьер, исключавший возможность появления сколько-нибудь новых точек зрения» (7, 208). Оценивая достижения советской науки в изучении «Слова о полку Игореве», Никитин усматривает в фундаментальных трудах наших крупнейших ученых — историков и филологов стремление «сгладить, примирить противоречия, содержащиеся в тексте „Слова“» (5, 196). Подчеркнем — противоречия эти выдуманы самим Никитиным. О работах академика В. Н. Перетца и члена-корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц он замечает: «Но мне это ничего не давало» (6, 226). Вообще Никитин испытывает особую нелюбовь к филологии, считая, что исследования филологов основаны «не на фактах, а по большей части на остроумных предположениях» (6, 212). Филологии он противопоставляет историю: «Историк и археолог, я, честно говоря, в анализе „Слова“ больше доверял своим коллегам, чем филологам» (6, 212). Вред такого противопоставления Никитин доказал собственной работой. Литературовед-медиевист не может обойтись без занятий историей, а историк, исследующий средневековое литературное произведение, должен владеть филологическим инструментарием.

В рассыпанных по всей работе замечаниях чувствуется недовольство Никитина академической наукой и учеными, «облаченными в научные звания» (5, 184). В связи с этим стоит напомнить автору, что наука не разделяется на «академическую» и «журнальную». Наука одна. Она предполагает профессионализм: глубокое знание источников, всех материалов, владение научными методами познания и строгую систему доказательств — независимо от того, в какой форме преподносятся читателям итоги исследования — академической или научно-популярной.

О себе Никитин пишет не без гордости: «...путь, которым я шел в науке, всякий раз оказывался „восхождением к человеку“» (7, 207). По Никитину, в научном исследовании совершенно не обязательны ни система доказательств, ни точное следование фактам, могут допускаться вымыслы, ошибки и невероятные выводы. Ценность такого «исторического» труда в другом — суметь показать «восторг научного исследования, трагедии и фарсы прошедших времен, кипение страстей и судьбы давно умерших людей» (5, 184). Идеальная историческая работа должна быть «больше явлением искусства, чем науки» (5, 184). Стремясь к осуществлению своего идеала, Никитин берет в проводники Бояна, «который, — пишет он, — стал моим Вергилием на кругах нашей древней истории» (7, 207). Если продолжить предложенную ассоциацию, то в самом Никитине читатель должен увидеть Данте? Мистические «священные завесы», «тайное тайных», «кипение страстей» и т. п. — все эти красоты слога следует отнести к жанру риторической словесности. А как историк Никитин допускает целый ряд методологических ошибок, и одна из них — грубейшая. По его убеждению, история должна относиться скорее к искусству, чем к науке. Напомним писателю-историку, что данный тезис не нов. Положение, что история «ближе к по-

эзии, искусству, а из наук ближе всего к описательной психологии» и «что историческое произведение ближе к роману, чем к научному труду естественника», было выдвинуто в конце прошлого века немецким неокантианством.[19] Методологические искания теоретиков этого философского идеалистического направления вели их к полному отрицанию истории как науки. В их теории «история — не наука, а только особый процесс познания», «исторический метод есть исключительно метод психологического толкования по аналогии».[20] Все эти серьезные методологические просчеты не могли не привести к печальному итогу. Из-под пера Никитина вышло произведение, вполне соответствующее его же собственному идеалу.

А. Никитин призывает ученых специалистов не двигаться «в русле традиционного потока исследований», а «выбраться на бережок, посидеть и подумать, рассматривая поток и его окрестности извне» (6, 223—224). Если воспользоваться этим же сравнением, то можно сказать, что с идеалами, присущими Никитину, он как сидел, так и останется сидеть на «бережке», невнимательно наблюдая за тем, как мимо течет река науки. Оценивая начало своих занятий над «Словом», Никитин самокритически назвал его — «прозрение собственного невежества» (5, 187). Имея теперь результаты его изысканий, следует констатировать, что «прозрение» писателя-историка так и не состоялось. Сочетание в его работе научной некомпетенции с фантастическими представлениями создает видимость широких обобщений, что в итоге приводит к дискредитации в глазах широких кругов читателей и самого «Слова о полку Игореве», и сложившейся вокруг него серьезной и разносторонней науки.

---

[19] *Вайнштейн О. Л.* Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX—XX веках. Л., 1979, с. 31.

[20] Там же, с. 17, 18.





Л. А. Дмитриев

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И. П. ЕРЕМИН

10 июня 1943 г. в Саратове, где в это время находился в эвакуации Ленинградский государственный университет, на заседании Ассоциации филологов ЛГУ, Саратовского государственного университета и Саратовского педагогического института Игорь Петрович Еремин прочитал доклад «„Слово о полку Игореве" (К вопросу о его жанровой природе)», который в 1944 г. с некоторыми дополнениями был издан в Ученых записках ЛГУ.[1]

Это первая печатная работа И. П. Еремина, специально посвященная «Слову». Общее количество работ И. П. Еремина о «Слове о полку Игореве» невелико, но значение ученого в науке определяется не количеством и величиной его печатных трудов, а их научным значением в той области, в которой этот ученый работает. И имя Еремина совершенно справедливо стоит в ряду самых известных русских исследователей «Слова о полку Игореве». Его вклад в изучение «Слова» очень значителен.

Дальнейшим продолжением и развитием статьи 1944 г. явилась статья «„Слово о полку Игореве" как памятник политического красноречия Киевской Руси», опубликованная в 1950 г. в сборнике исследований и статей, посвященном 150-летию первого издания «Слова».[2] Кратким дополнением к этим двум работам является статья «К вопросу о жанровой природе „Слова о полку Игореве"», напечатанная в 1956 г.[3] Статья эта была ответом Еремина на статью А. А. Назаревского, опубликованную в 1955 г. в Киеве, в которой критиковалась точка зрения И. П. Ере-

---

[1] Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та, 1944 (на обложке 1945 г.), № 72. Сер. филол. наук, вып. 9, с. 3—18. Под названием «Жанровая природа „Слова о полку Игореве"» издано в кн.: *Еремин И. П.* Литература Древней Руси. М.; Л., 1966, с. 144—163.

[2] Слово о полку Игореве: Сборник исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 93—129.

[3] ТОДРЛ, М.; Л., 1956, т. 12, с. 28—34.

мина на жанровую природу «Слова».[4] Гипотеза Игоря Петровича о том, что «Слово о полку Игореве» в жанровом отношении является произведением ораторского искусства, не возобладала в науке о «Слове». Однако теперь, после его работ, даже те исследователи, которые не принимают концепции И. П. Еремина, признают бесспорное наличие в художественной структуре «Слова» ярко выраженного ораторского начала. В статье «„Слово о полку Игореве" и эстетические представления его времени» Д. С. Лихачев, стоящий на иной точке зрения о жанровой природе «Слова», пишет: «Несомненно, что „Слово" должно было для чего-то предназначаться, не исключена возможность, что это было ораторское произведение, предназначенное для какого-то светского церемониала, как это думал И. П. Еремин, но вероятнее, как об этом мы уже говорили, это были плач и слава, также имевшие точное обрядовое назначение».[5]

В своих работах о жанре «Слова» И. П. Еремин, рассматривая «Слово о полку Игореве» в единстве всех элементов его художественной структуры и анализируя его в ряду произведений античного, византийского и древнерусского художественного красноречия, показывает, что одновременное наличие всех художественных особенностей, всех формальных признаков, присущих жанру художественного красноречия, присуще «Слову о полку Игореве». Именно этот принцип как основополагающий в своей концепции подчеркивает И. П. Еремин в ответе на возражения А. А. Назаревского: «Почему я считаю указанные мною художественные Особенности „Слова о полку Игореве" признаками его ораторской природы? Только потому, что в такой комбинации, в таком сочетании, в аналогичном идейно-художественном контексте они действительно встречаются только в памятниках старинного художественного красноречия, древнерусского в частности, и нигде больше не встречаются. Фактов, которые бы опровергали это наблюдение, мне пока никто не указал. И это, полагаю, дает мне право отстаивать с прежним „упорством" то положение о жанровой природе „Слова о полку Игореве", которое я впервые печатно сформулировал еще в 1944 году: пока не вижу достаточных оснований от него отказываться».[6]

Необходимо отметить, что Игорь Петрович здесь же подчеркивает свое недоумение тем, что, по мнению его критика, его гипотеза о жанровой природе «Слова о полку Игореве» обедняет «Слово» «и в его идейном значении и в значении художественном». «Для меня, — пишет он, — является загадкой, как вообще жанр может определять художественную и идейную ценность про-

---

[4] *Назаревский А. А.* О жанровой природе «Слова о полку Игореве». — Наукові записки Київ. держ. ун-ту, 1955, т. 14, вып. 1 (Філологічний збірник, № 7), с. 113—114.

[5] *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978, с. 59.

[6] *Еремин И. П.* К вопросу о жанровой природе «Слова о полку Игореве», с. 32.

изведения... В рамках того или иного жанра могут быть написаны произведения плохие и хорошие, рядовые и гениальные. Ценность произведения определяет не жанр, а талант художника».[7]

Гипотеза И. П. Еремина о жанровой природе «Слова о полку Игореве» основана на скрупулезном анализе идейного и художественного содержания произведения, его формальных особенностей. В этом отношении его научная разработка поставленной задачи может служить образцом методики научного исследования филологической проблемы.

Теперь уже никто из исследователей, обращающихся к рассмотрению вопросов художественной структуры «Слова о полку Игореве», не может пройти мимо трех перечисленных выше его работ о жанре «Слова». В этих небольших, но насыщенных свежими мыслями, новыми идеями статьях Игоря Петровича очень много принципиально важных и ценных наблюдений над поэтикой памятника. И в этом отношении данные статьи И. П. Еремина имеют значение гораздо более широких и глубоких исследований по «Слову о полку Игореве», чем исследования только по проблеме жанра произведения.

И. П. Еремин останавливается на вопросах композиции «Слова», особенностях изображения в нем героев, на проблеме соотношения текста «Слова о полку Игореве» с устным народным творчеством, на стилистическом строе произведения, много внимания уделяется им проблеме личности автора и соотношения образа автора с текстом произведения.

Центральная часть «Слова» — «повесть» об Игоре, отличается не только от летописного повествования, но и от нашего понимания термина «повесть». Задача автора «Слова» заключалась не в том, чтобы рассказать об обстоятельствах похода Игоря, а в том только, чтобы напомнить читателям и слушателям о них и в связи с ними обратить внимание на те ассоциации с событиями прошлого, которые возникали у автора и должны были, следовательно, заинтересовать и читателя. Эта черта «Слова» объясняется его публицистичностью, злободневностью, что обусловило и присущее «Слову» соотношение образа автора с текстом его произведения. Автор «Слова о полку Игореве», — пишет И. П. Еремин, — «заполняет собою все произведение от начала до конца. Голос его отчетливо слышен везде: в каждом эпизоде, едва ли не в каждой фразе. Именно он, „автор“, вносит в „Слово“ и ту лирическую стихию, и тот горячий общественно-политический пафос, которые так характерны для этого произведения. В „Слово о полку Игореве“ нет и следа характерного для летописи внешнего „объективизма“ в изложении событий, в летописном рассказе закономерного, ибо иначе рассказ этот утратил бы именно то, чем летописец не мог не дорожить прежде всего, — свою документальность. Приглушенному, только в отдельных случаях прорываю-

[7] Там же.

щемуся прямо голосу „автора“ в летописи в „Слове“ противостоит ничем не сдерживаемая, часто прямая, в полный голос сказанная речь автора, непосредственно обращенная к читателю. Проявляется она в „Слове“ многообразно, часто даже там, где читатель мог бы ее и не встретить, — в чисто повествовательных эпизодах „Слова“».[8]

Эту сторону «Слова о полку Игореве», на которую И. П. Еремин обращал особо пристальное внимание, необходимо все время иметь в виду современному читателю. Принципиально важное значение имеет эта особенность «Слова о полку Игореве», когда мы решаем вопрос о современных изданиях «Слова». Естественно, что для современного читателя без подробного историко-литературного комментария многое останется в «Слове» непонятным с точки зрения исторических соотношений. Но возникает вопрос: всегда ли нужно давать в издании, рассчитанном на широкого читателя, подробный комментарий? Не отвлекают ли такие комментарии читателя от самого памятника, не создают ли неверного представления о его художественной природе?

В определенной степени подробный историко-филологический комментарий создает впечатление о «Слове» как о произведении прежде всего историческом. Не в этом ли кроется причина того, что все чаще появляется стремление у самых различных читателей «Слова» по-своему прокомментировать и истолковать то или иное место в произведении?

Следует обратить внимание на то, что сам Игорь Петрович сопроводил свое издание текста и перевода «Слова» очень скромным по объему комментарием. Он занимает всего 5 страниц (0,3 листа) в книге «Художественная проза Киевской Руси XI—XIII веков».[9] Это не значит, разумеется, что Игорь Петрович был против или не признавал необходимости обширного научного комментария к «Слову», но, видимо, он был против такого комментария в издании, рассчитанном на широкого читателя. О том, что Игорь Петрович считал принципиально важным отличать научное, специальное издание «Слова о полку Игореве» от изданий, адресованных широкому кругу читателей, свидетельствует его внутренняя рецензия на издание «Слова» в «Библиотеке поэта» в 1952 г. В этом отзыве он, в частности, писал: «Книга рассчитана на широкого читателя; она должна всемерно облегчить ему ознакомление с древнерусским оригиналом. В этих целях я бы предложил печатать текст без буквы ѣ, буквы і, а также ъ в конце слов. В настоящем издании в этом нет никакой необходимости... Исходя из тех же соображений, я считал бы возможным напечатать

---

[8] *Еремин И. П.* «Слово о полку Игореве» как памятник политического красноречия Киевской Руси, с. 111.

[9] Художественная проза Киевской Руси XI—XIII веков / Сост., пер. и примеч. И. П. Еремина и Д. С. Лихачева; Вступит. статья Д. С. Лихачева. М., 1957, с. 338—343. См. также: Слово о полку Игореве / Вступит. статья Д. С. Лихачева; Ред. текста и прозаический пер. И. П. Еремина. М., 1964 (Сер. «Народная б-ка»).

текст „Слова“ без критического аппарата (в нем также нет никакой необходимости в настоящем издании, если учесть, что разночтения — по первому изданию и Екатерининской копии — носят преимущественно орфографический характер)».[10] Отмечу, что в своем издании текста и перевода «Слова» в издательстве «Художественная литература» сам Игорь Петрович провел именно этот принцип.

Из работ, специально посвященных «Слову о полку Игореве», следует назвать еще две статьи И. П. Еремина. Обе они датируются 1948 г.: 1) «Слово о полку Игоревом» в русской, украинской и белорусской поэзии;[11] 2) «Слово о полку Игореве» в советском литературоведении.[12]

Первая статья безусловно может быть названа одним из лучших обзоров поэтической истории «Слова о полку Игореве» в поэзии трех братских народов с 1800 по 1946 г. Исследователь анализирует все наиболее известные поэтические переводы и переложения «Слова» как с точки зрения их самодовлеющей поэтической ценности, так и с точки зрения соотношения текста перевода с древнерусским текстом «Слова о полку Игореве». Принципиальное значение имеют характеристики отдельных переводов «Слова», незаслуженно пользовавшихся популярностью у современников и авторитетом в исследовательской литературе по «Слову». Так, например, о переводе Н. Гербеля И. П. Еремин писал следующее: «Перевод Н. Гербеля, в свое время довольно радушно принятый критикой, даже академической, выдержавший пять изданий, никаких новых горизонтов перед переводчиками „Слова“, однако, не раскрыл и раскрыть не мог: на всем переводе с первой строки до последней лежит печать глубокого, неисправимого эклектизма. Подбирая стихотворные размеры, соответствующие тональности той или иной песни, Н. Гербель поступал так, точно собирался составлять хрестоматию из всех существующих переводов „Слова“. Скачущий хорей, напоминающий „русский стих“ первых переводчиков „Слова“, сменяется у него „балладным“ амфибрахием, а этот последний — торжественным гекзаметром, чтобы затем снова уступить место хорею или ямбу или даже „народному сказочному размеру“ Л. Мея».[13] И. П. Еремин на целом ряде ярких примеров показал несостоятельность и непродуктивность переводов «Слова» в стихотворной манере известных русских поэтов или же в духе народной поэзии. Переводы «Слова о полку Игореве» советских поэтов, вышедшие в свет ко времени написания статьи, И. П. Еремин подразделяет на 4 группы: 1 — переводы «в плане той или иной поэтической системы XIX–

[10] Архив Л. А. Дмитриева.

[11] Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1948, № 90. Сер. филол. наук, вып. 13, с. 35—59.

[12] ТОДРЛ, М.; Л., 1948, т. 6, с. 15—23.

[13] *Еремин И. П.* «Слово о полку Игоревом» в русской, украинской и белорусской поэзии, с. 44—45. (После процитированной фразы в статье приводятся примеры из перевода Гербеля).

XX вв., под того или иного поэта, обычно „любимого“»; 2 — представители этой группы, «следуя примеру Л. Мея и его эпигонов, считают своим долгом придать „Слову“ недостающий ему „народный“ колорит и соответственно этому переводят его в народно-песенном ладе»; 3 — авторы этой группы «создают свои собственные вольные композиции на текст „Слова“»; 4 — переводчики этой группы «ищут путей к такому переводу „Слова“, который наиболее адекватно оригиналу передавал бы не только его текст, но и его своеобразный, в силу своей архаичности, нелегкий для нашего современного понимания поэтический стиль».[14] К переводам последней группы И. П. Еремин относит переводы «Слова» Г. Шторма, С. Шервинского, И. Новикова, А. Югова. Едва ли можно согласиться с тем, что И. П. Еремин относит к третьей группе переводов переложение «Слова» Н. Заболоцкого, а в четвертую включает перевод А. Югова. Правда, по-видимому, он и сам ощущал определенную условность такого подразделения, так как особо отметил высокие поэтические достоинства труда Н. Заболоцкого и упрекнул в гиперкритике древнерусского текста «Слова» А. Югова. Безусловный интерес представляет характеристика в статье украинских переводов «Слова» (М. А. Максимовича, Ст. Руданского, Панаса Мирного, В. А. Кендзерского, Н. Черпявского, В. Щурата, М. Рыльского) и отрывков из «Слова», переведенных Тарасом Шевченко. Останавливается И. П. Еремин и на переводе «Слова» на белорусский язык Янки Купалы.

Во второй статье, которая представляет собой переработку доклада И. П. Еремина, прочитанного им на юбилейной сессии Института русской литературы АН СССР 15 октября 1947 г., автор остановился на основных достижениях советского литературоведения в изучении «Слова о полку Игореве» за 30 лет советской власти и наметил основные перспективные задачи дальнейшего изучения памятника.

Не потеряли своей актуальности и научного значения отдельные высказывания И. П. Еремина по проблемам «Слово»ведения в вышедших посмертно его лекциях по истории древнерусской литературы.[15]

Останавливаясь на вопросе о древнерусском тексте «Слова о полку Игореве», И. П. Еремин обращает особое внимание на необходимость бережного отношения к тексту первого издания, которое заменило собой погибшую рукопись «Слова о полку Игореве». Исследователь подчеркивает, что «все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы понять этот текст в том виде, в каком он лежит перед нами... Следует положить конец конъектурным поправкам там, где это не вызывается необходимостью, т. е. где текст первого издания понятен и сам по себе, без какого-либо вмешательства с нашей стороны. Обилие поправок, часто ненужных, недостаточно обоснованных, — серьезная угроза „Слову

[14] Там же, с. 50.
[15] *Еремин И. П.* Лекции по древней русской литературе. Л., 1968.

о полку Игореве". Мы должны выработать и у издателей „Слова", и у переводчиков максимально бережное отношение к его тексту».[16] Актуальность этого высказывания ученого не только не потеряла своего значения, но в последнее время возросла еще больше.

Если в серьезных научных трудах по «Слову» все отчетливее проявляется тенденция бережного отношения к древнерусскому тексту «Слова» в том виде его, в каком он дошел до нас в первом издании и в Екатерининской копии, то в научно-популярных работах по «Слову о полку Игореве» и в многочисленных опытах исследования памятника его любителями (часто издаваемых вполне солидными издательствами) - явно преобладает стремление выдвигать самые невероятные гипотезы и толкования текста «Слова», и необходимо принимать какие-то более действенные меры в борьбе с такого рода тенденцией. В конечном счете все это действительно становится серьезной угрозой «Слову о полку Игореве».

Много самых разных (в том числе и явно фантастических) догадок появляется в последнее время об авторе «Слова о полку Игореве». По отношению к подавляющему большинству такого рода догадок по-прежнему вполне злободневным остается высказывание на этот счет И. П. Еремина: «По поводу всех предположений могу сказать только одно: жаль времени, потраченного на их обоснование, ибо для решения вопроса об авторе „Слова" у нас нет никаких данных, — пока что, во всяком случае».[17]

В непосредственной связи с отношением к тексту «Слова о полку Игореве», с разработкой вопросов о жанровой природе «Слова», о ритмической структуре произведения стоит и вопрос о переводе «Слова о полку Игореве» на современный язык. Все это нашло отражение в переводе «Слова» самого И. П. Еремина. И. П. Еремин перевел «Слово» на современный русский язык прозой, разделив текст только на абзацы. Перевод И. П. Еремина очень близок к тексту оригинала, но это не буквализм, а близость, за которой чувствуется огромная работа по осмыслению и толкованию древнерусского текста. Я бы охарактеризовал этот перевод как особенно ясный, прозрачный и очень четкий.

Игорь Петрович, как уже отмечалось, с особым пиететом относится к древнерусскому тексту «Слова», представленному первым изданием 1800 г. Поэтому он все время стремится следовать в переводе за текстом оригинала, не изменяя в оригинальном тексте ничего, если этот текст XII в. понятен современному читателю и восприятие лексики оригинала, в контексте всей фразы в целом, не допускает произвольного или искаженного понимания исходного смысла текста. Вместе с тем, пользуясь при этом самыми минимальными добавлениями и стремясь передать при переводе того или иного слова на современный язык наиболее точное значение

---

[16] Там же, с. 101.
[17] Там же, с. 114.

его и, там, где это возможно, найти слово, близкое фонетически, И. П. Еремин, в отличие от многих переводчиков, в целом значительно дальше, чем он, отступающих от первоначального текста «Слова», стремится не оставлять в тексте перевода неизвестных современному читателю терминов. Слово «шереширы» он передает словом «копья», «бремены» — «клади», «насады» — «челны» и т. д. Как отмечает сам И. П. Еремин в краткой заметке к переводу, «в редких случаях в перевод внесены слова, в оригинале отсутствующие, — для прояснения тех мест текста, которые в дословном переводе остались бы для читателя не вполне понятными».[18] Очень осторожное и тонкое пользование этим приемом помогает при максимально близком следовании древнерусскому тексту «Слова» раскрыть внутреннее значение, смысл того или иного оборота, образа, которые для современного читателя неясны.

«Шизым орлом под облакы» — «сизым орлом кружил под облаками»; «ущекотал» — «щекотом своим воспел»; «рища в тропу Трояню» — «волком рыща по тропе Трояновой»; «О Русская земле, уже за шеломянем еси» — «О Русская земля, а ты уже скрылась за холмом»; «печаль жирна тече средь земли Рускыи» — «печаль многая рекою протекла среди земли Русской» и т. п.

Как уже было отмечено выше, И. П. Еремин стремился в своем переводе не менять порядка слов оригинала, но иногда он это делает из соображений стилистически-смысловых, однако чаще для того, чтобы сильнее подчеркнуть ритмичность прозаического текста «Слова». Примечательно, что переводчик «Слова» В. И. Стеллецкий в статье, посвященной переводам и переложениям «Слова о полку Игореве» (1961 г.), счел нужным сказать несколько слов о переводе Игоря Петровича, хотя в статье своей он рассматривал только стихотворные переводы и переложения. Стеллецкий пишет: «Следует отметить вышедший в 1957 году перевод „Слова о полку Игореве“ И. П. Еремина... Перевод напечатан без разделения на какие-либо строки, ритмические единицы и т. п. Тем не менее перевод И. П. Еремина ритмичен».[19]

Перевод И. П. Еремина очень близок к тексту оригинала, он сделан прозой, он, в лучшем смысле этого слова, носит научный характер. И тем не менее, а может быть, именно поэтому, этот перевод с полным на то основанием может быть поставлен в один ряд с самыми лучшими художественными переводами «Слова о полку Игореве» на современный русский язык.

Изданные работы И. П. Еремина по «Слову о полку Игореве» могут создать впечатление, что он не занимался подробным комментированием памятника. К сожалению, действительно, мы не имеем такого издания, где были бы подробно рассмотрены и оценены им имеющиеся в литературе по «Слову» комментарии

---

[18] Художественная проза Киевской Руси XI—XIII веков, с. 338.

[19] *Стеллецкий В. И.* «Слово о полку Игореве» в художественных переводах и переложениях. — В кн.: Слово о полку Игореве: Поэтические переводы и переложения / Под общей ред. В. Ржиги, В. Кузьминой, В. Стеллецкого. М., 1961, с. 309.

к тексту произведения. Не имеем мы и подробного обоснования И. П. Ереминым его собственных прочтений и толкований текста «Слова». Но по всей видимости, он задумывал создать такой сводный комментарий к «Слову» с подробным анализом всех существующих точек зрения по комментированию «Слова» и обоснованием своих собственных соображений на этот счет. В конце 40—начале 50-х гг. И. П. Еремин читал спецкурс по «Слову о полку Игореве» на филологическом факультете ЛГУ. Этот спецкурс как раз и заключался в медленном чтении текста «Слова о полку Игореве» с комментированием этого текста. Еремин рассматривал все существующие по поводу прочтения каждой фразы толкования в литературе, давал критический обзор всех предположений и гипотез и, если не соглашался с имеющимися в литературе толкованиями, приводил свое собственное, обосновывая его филологическими, лингвистическими, историческими данными.





Г. И. Чугунов

ГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ М. В. ДОБУЖИНСКОГО К «СЛОВУ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Творчество Мстислава Валериановича Добужинского (1875—1957) издавна пользуется популярностью и любовью. Особенно известны его графические произведения, и это естественно: книги с его рисунками, хотя и были изданы в первые десятилетия нашего века, сохранились во многих библиотеках и частных собраниях и вполне доступны. Отдельные иллюстрации к сочинениям А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова и других русских и зарубежных писателей можно видеть в различных современных советских изданиях, посвященных истории отечественной культуры, а некоторые книги, иллюстрированные художником, например «Белые ночи» Ф. М. Достоевского, переиздавались неоднократно.[1] Единственный период художественной деятельности Добужинского, недостаточно освещенный в нашей литературе, — это время жизни художника в Америке (1939—1952) и в Западной Европе (1952—1957).[2]

В эти годы активность графического творчества Добужинского резко упала, но это вовсе не являлось следствием охлаждения художника к книге; причина заключалась в чрезвычайной сложности получения заказа. Более того, ряд полностью подготовленных иллюстративных серий для различных издательств по разным причинам не был напечатан. Так, не увидели света цветные иллюстрации к поэмам и стихотворениям М. Ю. Лер-

---

[1] «Белые ночи» были переизданы дважды (Л., 1963; Л., 1982). Кроме того, иллюстрациям была посвящена специальная статья: *Филаретова Т.* Переиздание «Белых ночей» в оформлении М. В. Добужинского. — Искусство, 1965, № 7, с. 68—69.

[2] Краткие сведения о книжной графике Добужинского этого времени см.: *Чугунов Г.* 1) Книжная графика М. В. Добужинского (зарубежный период. 1925—1957). — В кн.: Книга. М., 1972, сб. 24, с. 59—65; 2) Книжная и журнальная графика М. В. Добужинского. — В кн.: Советская графика. М., 1984, вып. 8, с. 219—272.

монтова (1941) и рисунки к поэме А. С. Пушкина «Граф Нулин» (1942). Среди опубликованных графических работ следует назвать цветные и черно-белые иллюстрации к «Левше» Н. С. Лескова (1943),[3] рисунки тушью к «Речному трактиру» И. А. Бунина (1945) и, наконец, графический цикл к «Слову о полку Игореве». Особенно внимательного отношения заслуживает последняя работа.

«Слово о полку Игореве» вышло в стихотворном переводе Георгия Голохвастова в издании нью-йоркского «Нового журнала» в 1950 г. С руководителями этого журнала Добужинский находился в деловых отношениях с 1941 г., печатая там свои воспоминания и статьи, однако получил ли художник заказ или исполнил рисунки по собственному почину, сказать трудно. Все же существуют соображения, несколько проясняющие этот вопрос. В Дневнике работ Добужинского, который он вел всю жизнь буквально по дням,[4] о заказе не упомянуто, хотя обычно такие события художник обязательно отмечал. Кроме того, основной иллюстрационный материал был выполнен в 1947 г., на три года раньше выхода книги, что совершенно не характерно ни для художника, ни для американских издательств.[5] Учитывая постоянную и неутоленную любовь Добужинского к книжной графике, а также весьма частые случаи создания им графических серий без определенного издательского адреса,[6] надо думать, что художник исполнил рисунки к «Слову» по собственной инициативе.

Он начал работать 27 сентября 1947 г., будучи в Лондоне.[7] Периодически возвращаясь к рисункам на протяжении немногим более месяца, он закончил их 2 ноября, однако, возможно, то были лишь эскизы.[8] Более точных сведений о времени создания графического цикла к «Слову» не сохранилось.

Принцип художественного решения книги необычен для Добужинского. Изобразительная интерпретация текста построена

---

[3] Книга была издана на английском языке под названием «Стальная блоха».

[4] Дневник работ Добужинского хранится в собрании наследников художника в Париже, ксерокопия — в собрании автора статьи.

[5] Для примера можно привести некоторые сведения о времени исполнения рисунков к «Левше», почерпнутые из Дневника работ: 26 февраля 1943 г. Добужинский получил заказ на иллюстрации, в сентябре автор закончил рисунки, а 3 ноября того же года книга вышла из печати.

[6] Так, по собственной инициативе Добужинский выполнил иллюстрации к «Разбойникам» Ф. Шиллера (1919), «Колоколам» Ч. Диккенса (1930), два варианта рисунков к «Евгению Онегину» А. С. Пушкина (1936, 1937) и ряду других произведений.

[7] 25 июня 1947 г. Добужинский покинул Америку, чтобы свидеться со старшим сыном Р. М. Добужинским, приемным сыном В. И. Добужинским и их семьями. Кроме Парижа он был в Копенгагене и два раза в Лондоне. В конце декабря вернулся в Нью-Йорк.

[8] Нужно допустить такую возможность, но это мало вероятно: художник работал очень быстро (за один день он мог исполнить полтора десятка эскизов театральных костюмов), а кроме того, один из рисунков (заставка книги) датирован 1947 г.

исключительно элементами оформительской графики: буквицами, концовками, виньетками. Иллюстраций в обычном, традиционном их понятии в книге нет. Даже заставку книги и ее концовку, несмотря на то что они как будто содержат некоторые признаки иллюстраций (главным образом, формат), следует решительно отнести к оформительской графике.

Художник и раньше весьма охотно прибегал к заставкам, виньеткам, концовкам, но они всегда выполняли второстепенные функции в графическом ансамбле, часто представляя собою некое промежуточное звено между иллюстрациями и шрифтом. Как правило, они находились в явной зависимости от иллюстраций, обязательной задачей которых является не только создание изобразительного варианта образной структуры литературного произведения, но и конкретная передача его фабулы.

В рисунках к «Слову» художник сделал все наоборот. Он включил, так или иначе, в свои графические построения конкретные события, о которых говорится в тексте, но подчинил их системе оформительской графики. Так сделаны шесть крупных по размеру концовок, все буквицы, заставка и концовка книги и одна полузаставка-полувиньетка (князь Всеслав в образе волка).

И червлеными щитами
К утру
Русичи
Преградили поперек
Поля великие,
Князю славы, а себе лишь чести
Ищучи.[9]

На эти стихи художник исполнил концовку, где, казалось бы, есть все признаки иллюстрационного подхода: длинный ряд щитов, из-за которых выступают шлемы воинов, копья и стяг. Больше того, в концовке есть отклик на стихи, расположенные на предыдущей странице:

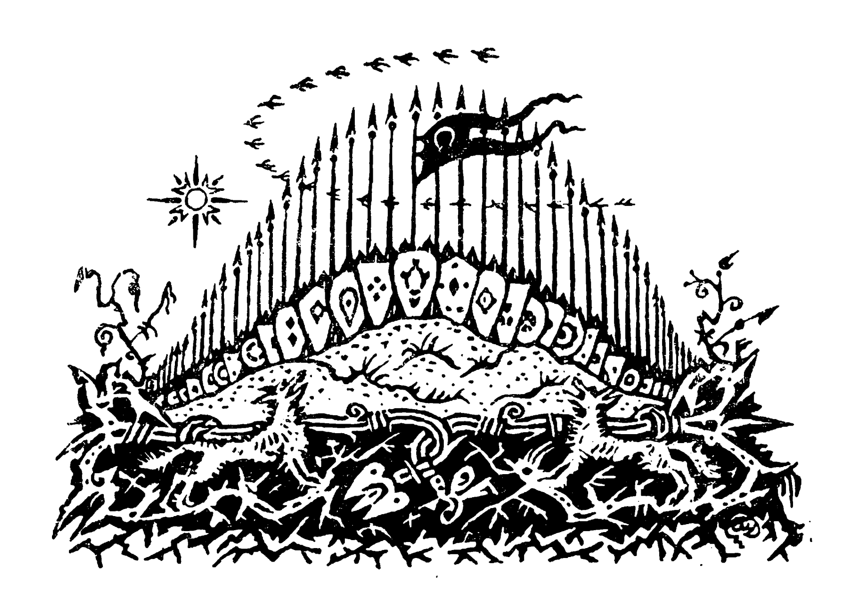
А беда его
Уж птиц пасет...
И чудится,
Что трубят в оврагах волки
С грозным вызовом...
На щиты лисицы брешут,
На червленые.

И вместе с тем все эти детали, иллюстрирующие текст, полностью подчинены художественному строю рисунка. Следуя орнаментальному принципу, Добужинский чаще всего ограничивается лишь обозначением реальной формы, ни в коем случае не стремясь к ее воссозданию, понимая, что при таком характере рисунка это было бы откровенной фальшью.

[9] Здесь и далее «Слово» цитируется в переводе Г. Голохвастова, с которым соотносится графический цикл Добужинского. См.: Слово о полку Игореве. Нью-Йорк, 1950.

Свѣтъ-заря зажглась,
Прикрыта степь туманами;
Соловей умолкъ,
Проснулся говоръ галочій.

И черлеными щитами
Къ утру
Русичи
Преградили поперекъ
Поля великія,
Князю славы, а себѣ лишь чести
Ищучи.



Разворот с концовкой и буквицей «П» («Русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша. . .»).



РИВЕЛОСЬ имъ спозаранокъ
Утромъ въ пятницу
Потоптать въ степи
Полки поганыхъ половцевъ.

И они, какъ стрѣлы,
По-полю разсыпавшись,
Въ станъ помчали
Половецкихъ красныхъ дѣвушекъ,
Съ ними-жъ золото,
И шелкъ,
И бархатъ рѣдкостный.

А мосты мостить
Въ болотныхъ топяхъ начали
Кожухами,
Епанчицами
И юртами,
Застилали, не скупясь,
Мѣста грязливыя
Половецкими
Узорочьями
Всякими.



Концовка («Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось»).

И все же в пределах определенной художником графической системы, за которые он ни разу не позволил себе выйти, этого оказалось вполне достаточно и для отражения конкретных событий «Слова», и для интерпретации его поэтических образов. В этом отношении особенно привлекает концовка на стихи:

Никнет во поле
Ковыль-трава
От жалости,
И к земле сырой
В тоске
Припало
Дерево.

Орнаментальное начало в этом рисунке выявилось, пожалуй, еще более последовательно, чем в предыдущем, а эмоциональное состояние образа — неизбывная печаль природы по погибшим русским воинам — выражено с резкой, всепроникающей силой.

Даже изображая героев «Слова», художник решительно не допускает какой-либо конкретизации образа, кроме самых общих намеков, которые достигаются введением необходимых атрибутов (например, лира в руках Бояна в буквице «Н») или обозначением места действия (Ярославна на крепостной стене Путивля в буквице «Р»).

Таким образом, вся графика книги строго подчинена единому оформительскому принципу, в котором нет места ни индивидуализации, ни психологии образов. Решение Добужинского достаточно обосновано прежде всего самим литературным произведением, а также — в очень большой мере — особенностями



АНЬЮ раннею,
Задолго
Передъ зорями,
По Дунаю
Ярославны голосъ
Слышится.
За рѣкой она
Кукушкой,
Неопознана,
Въ тишинѣ
Кукуя,
Стонетъ, плачетъ
Жалобно.

По Дунаю
Полечу
Кукушкой
Вѣщею,
Прилечу
На ту Каялу,
На далекую,
Окуну рукавъ
Бобровый
Въ воды
Быстрыя.

Буквица «Р» («На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышитъ, зегзицею незнаема рано кычеть. . .»).

изобразительного искусства на Руси эпохи «Слова о полку Игореве».[10]

Интересно отметить, что В. А. Фаворский, создавая свой известный иллюстративный цикл к «Слову», также использовал принцип оформительской и орнаментальной графики, хотя и не с той последовательностью, как Добужинский. Он выполнил сюжетные буквицы, рисунки на полях, виньетки и орнаментальные обрамления сюжетных иллюстраций. В итоге он совместил в одной книге и иллюстрации, решенные на основе строго натурной формы, и орнаментальные графические элементы. Не мешая друг другу, оба изобразительных начала все же едва ли образуют новую художественную ценность, воспринимаясь скорее раздельно, чем вместе. Впрочем, сейчас важно подчеркнуть, что такой мастер книги, как В. А. Фаворский, почувствовал необходимость ввести в иллюстративную серию к «Слову» и оформительскую графику, и акцент орнаментальности.

Чрезвычайно значительным является умение Добужинского оставаться реалистом, т. е. доносить до человека изобразительным языком образный смысл текста, как будто начисто выйдя из сферы строго реалистической передачи натурной формы. Надо полагать, такое впечатление возникает оттого, что легко узнаваемые предметные формы, являясь органичной частью орнаментального в своем построении рисунка, проникаются эмоционально-образной его структурой. В этом сложном процессе, вероятно, важную роль играет сам читатель, его чувство, возникающее при восприятии рисунка, которое распространяется на все составные части изображения, независимо от того, насколько они участвуют в рождении этого чувства.

Говоря об отечественном искусстве домонгольской эпохи как одном из источников рисунков Добужинского, нет нужды сколько-нибудь характеризовать это искусство, но об одной его черте следует упомянуть. Речь идет о зверином стиле, бытовавшем на Руси главным образом в прикладном искусстве и особенно в народном творчестве, в котором отголоски этого стиля существовали еще долгое время.[11]

Обращение художника к народному творчеству оказалось не только уместным, но и закономерным, ибо поэтическая система

---

[10] С самого начала своего графического творчества Добужинский стремился (когда позволял текст) к внутреннему единению стилистики иллюстраций с изобразительным искусством времени создания данного литературного произведения. Это можно заметить уже в его работе к «Станционному смотрителю» А. С. Пушкина (1905), когда художник оставил перовой рисунок, обычный для мирискусников, и обратился к карандашной иллюстрации, близкой по своему характеру тоновому рисунку начала XIX в.

[11] Добужинский хорошо знал собрания древнерусского прикладного искусства в Киеве, Москве и петербургском Эрмитаже. Ряд виньеток и отдельные формы более крупных рисунков очень близки произведениям из этих собраний. См.: *Василенко В. М.* Русское прикладное искусство. Истоки и становление. I век до нашей эры—XIII век нашей эры. М., 1977.

«Слова о полку Игореве» тесно связана с русской народной поэзией, с русским народным творчеством.[12]

Стилизация звериного стиля стала для Добужинского, наряду с искусством древнерусской книги, важнейшим источником конкретных графических решений буквально всех рисунков — от полосной заставки книги до виньеток. Драконы, ящеры, хищные птицы, какие-то зубастые змеи, наконец, просто некие чудовища изображены со свирепыми мордами, но они не вызывают ощущения омерзения или страха; это происходит потому, что все они решены на основе орнаментального принципа и часто сами представляют собой хитросплетенный орнамент (например, буквица «А» или концовка книги), и потому, находясь целиком в условном графическом мире, рисунки заставляют зрителя воспользоваться соответствующей сферой его восприятия, которая не может «включиться» при общении с произведениями, построенными на основе натурных форм реального мира. Необыкновенно остроумно, с большой и, кажется, беспредельной художественной выдумкой нарисованы виньетки — стилизованные звери, птицы или орнаментальные композиции. Последние превосходно уравновешены по графическому весу, хотя строгой симметрии в них почти не встречается. Некоторые из них исполнены целиком на основе древнерусского плетеного орнамента.[13]

Обращение к звериному стилю было чрезвычайно удачной находкой Добужинского, но не столь уж неожиданной: поэтика «Слова» буквально изобилует природными «звериными» образами (туры, волки, пардусы, лисицы, соколы, соловьи, вороны и т. д.).

Необходимо отметить, что эта особенность рисунков сыграла весьма большую роль и в достижении стилистического единства всего графического цикла. Однако основой создания эмоционально-образного смысла рисунков и замечательной цельности графического ансамбля стал изобразительный язык в теснейшей взаимосвязи его элементов.

Сама манера рисунка с его «певучей» линией, с его сочным, как бы отрывистым штрихом, остротой форм, полных движения, выразительными заливками, часто процарапанными иглой,[14] в большой мере образует единство графического цикла. Говорить о всех элементах изобразительного языка едва ли необходимо; для его характеристики достаточно коснуться особенностей композиционно-ритмического построения рисунков и всего ансамбля.

В творчестве Добужинского композиция обычно играла определяющую роль в изобразительном решении произведения. Это

---

[12] См.: *Лихачев Д. С.* Золотое слово русской литературы. — В кн.: Слово о полку Игореве. М.; Л., 1952, с. 32—34.

[13] В. А. Фаворский тоже использовал черты звериного стиля в маленьких виньетках и частью буквицах, хотя и очень сдержанно. В той же мере он применил и принцип древнерусского плетеного орнамента.

[14] В рисунках к «Слову» Добужинский изредка применял изобретенную им в начале 1920-х гг. технику граттографии. Впервые в этой технике им были исполнены иллюстрации к собственной книге «Воспоминания об Италии» (Пг., 1923).

качество было как бы врожденное: он довольно долго не мог освоить возможности цвета, но композицией превосходно владел уже в самом начале своего художественного поприща. Нестандартность и острота организации форм в пространстве были всегда присущи его композиционному дару. Эти черты проявились и в рисунках к «Слову», причем ту или иную художественную находку неизменно диктовал поэтический образ, который Добужинский хотел выразить.

В концовке со щитами нужно было создать образ стойкости, неколебимости русского воинства, и потому художник выстраивает из щитов и копий статичную в своей основе композицию. Он применяет прием симметрии, органичный в орнаментальных построениях, однако далеко не во всем ее соблюдая (что легко заметить) и тем самым внося в рисунок движение, т. е. жизнь, и ощущение внутреннего напряжения, чрезвычайно важного для создания образного начала этой концовки.

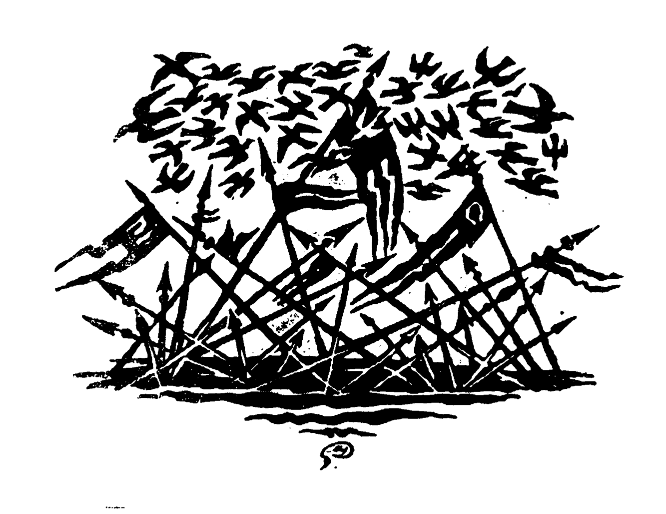
Интересной чертой композиций Добужинского является их изобразительная замкнутость. Их внутренняя направленность, надо полагать, заключается в стремлении сконцентрировать напряженность образного наполнения рисунка. В графическом плане эта замкнутость более понятна: она активно помогает композиционно организовать рисунок и убедительно «уложить» его на полосе.

В концовке со склоненным деревом, где художник, следуя за автором «Слова», как бы очеловечивает природу, сильное движение, образуемое стволом дерева, нейтрализуется встречным движением туч, а также черным пятном сидящего ворона. Таким образом, движение не выходит за пределы рисунка, а циркулирует внутри его, создавая ощущение замкнутости. В рисунке на слова:

Полыхает
Каждый стяг
В иную сторону,
Копья русские
Поют разноголосицу

при всей видимости как будто случайного расположения копий и стягов левая часть рисунка по своей графической наполненности равна его правой части, и это равновесие вкупе с орнаментальным решением птичьей стаи делает композицию замкнутой.

Как можно заметить, изобразительная замкнутость композиций достигается в каждом рисунке по-своему. С тем же разнообразием решен ритм — от простого, почти метрического (концовка со щитами) до сложного, криволинейного (концовка со склоненным деревом). Определяя ритмически-композиционную основу отдельных рисунков, Добужинский не выпускает из поля своего внутреннего зрения весь графически-шрифтовой организм книги. Его создание было одной из главных задач художника и стало одним из наиболее значительных творческих свершений. Рисунки и шрифт образовали изобразительное и композиционное един-



Концовка («. . .розно ся имъ хоботы пашутъ. Копиа поютъ!»).

ство, достигнутое, главным образом, пронизывающим всю книгу ритмом. Этот ритм отличается продуманностью и точно выдержан на протяжении всей книги, хотя строй его далеко не прост.

Все оформление решено в ритме повторяющихся вспышек и угасаний графического аккомпанемента. В начале каждой главы (допустим такое условное название тех частей текста, которые начинаются с рисованной буквицы) помещена довольно тяжелая по изобразительному наполнению буквица (вспышка), затем в тексте всей главы почти на каждой полосе расположены виньетки (угасание). В конце главы — большая в сравнении с виньетками концовка, на развороте с которой — буквица следующей главы (новая вспышка), после чего опять идет ряд виньеток (новое угасание). Таким образом получается своеобразный ритм дыхания (вдох—выдох). Однако в этом построении существуют свои нюансы. В начале первой главы есть буквица, но нет концовки (на развороте с буквицей расположена небольшая виньетка), и потому художник помещает перед виньеткой полосную заставку книги. В конце последней главы художник делает полосную концовку всей книги. И в том, и в другом случае наблюдается композиционно-ритмическая тонкость, обусловленная стремлением к графическому равновесию. Заставка книги исполнена полосной потому, что она расположена не на развороте с буквицей, а через страницу от нее. Концовку же книги необходимо было исполнить полосной для того, чтобы достигнуть графического веса буквицы.

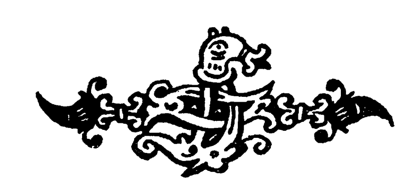
Кроме того, заставка предваряет, а концовка заключает весь внутрикнижный графический ряд, замыкая между собою его рит-

Жаждой жаркою —
Изведать Дона синяго:

Преломить копье хочу я,
Съ вами,
Русичи,
О конецъ, — сказалъ онъ, —
Поля половецкаго,
Приложить готовъ
Свою, будь надо, голову,
А шеломомъ любо
Дона пить
Великаго!

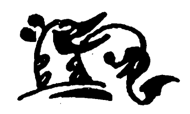


Разворот с виньетками.



О, Боянъ! О, соловей,
Былого времени!
Эту рать тебѣ-бы
Пѣсней ущекотывать!

Соловьемъ, какъ ты, порхая
Въ древѣ мысленномъ,
Ввысь умомъ, какъ ты,
Взлетая вровень съ облакомъ,
Воедино вновь свивая
Въ славословіи
Обѣ славы двухъ сторонъ
Потока времени,
Въ глубину сѣдыхъ вѣковъ
Тропой Трояновой
Чрезъ поля на горы рыща,
Такъ бы надобно
Пѣть намъ пѣснь того Трояна внуку —
Игорю.



То не буря чрезъ поля,
Поля широкія,



Заставка книги.



Концовка книги.

мику, его дыхание. Связанные с рисунками в тексте, и заставка книги, и ее концовка обладают вместе с тем некоторой долей самостоятельности как крайние элементы внутрикнижной графики, которые одновременно входят и в графически-шрифтовое пространство произведения, и в пространство, окружающее его, где господствует уже не автор «Слова», а люди, подготовившие памятник к изданию. Может быть, именно поэтому Добужинский только в заставку и концовку книги позволил себе включить гораздо большую долю иллюстративности, нежели во внутритекстовые рисунки.

Таким образом, оформление книги построено на удивительно строго продуманном ритме графических масс и объемов, отличающемся поразительной тонкостью отношений. Такое решение изобразительного ансамбля обусловлено самим произведением, оно оказалось неразрывно связанным с текстом «Слова», его поэтическими особенностями и образами.[15]

Добужинский — очень внимательный читатель (что не раз отмечалось в литературе), его интересует не только развитие сюжета, но и само построение литературного произведения, его стилистика, поэтика, образная система. В графическом цикле к «Слову» отчетливо сказались любовь и величайшее уважение художника к памятнику. Он усиливает графический аккомпанемент тексту лишь в тех его местах, где восприятие читателя естественным образом ослабляется, т. е. в конце одной главы и в начале следующей. Он предоставляет восприятию читателя некий отдых, но не выключает его из круга графических образов, помещая в тексте виньетки. Он ни разу не выходит за пределы такого отношения, точно определяя меру графического оснащения текста и соотнося с нею задачи образного характера.

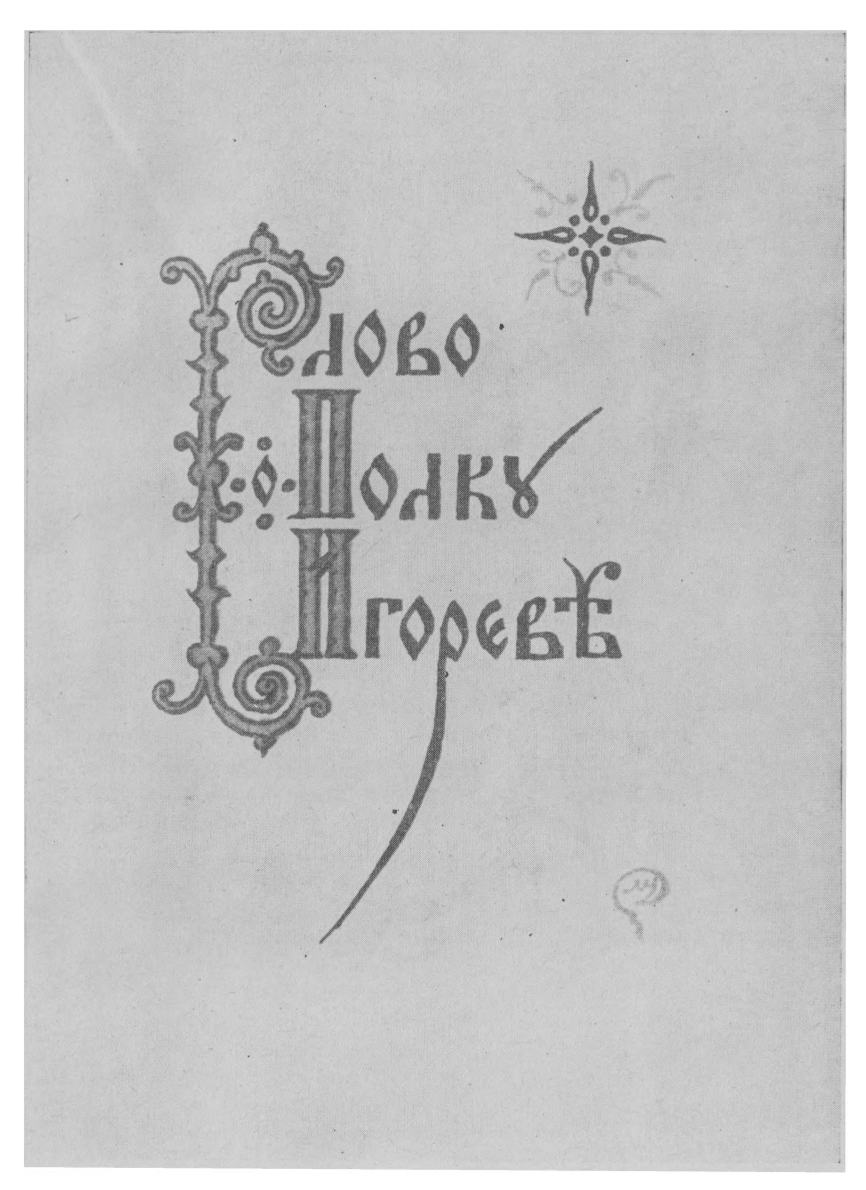
Весь цикл исполнен тушью, кроме обложки, в которую сдержанно введен цвет: на светло-палевом фоне темной бронзой нарисованы начальные буквы слов заглавия, часть орнаментального изображения солнца и монограмма. Теми же цветами сделана и оборотная сторона обложки.[16]

Решение обложки стилистически тесно связано со всей графикой книги, однако в обложке наблюдаются и черты автономности, что объясняется задачами, стоящими перед этим элементом оформления. Графическая мелодия книги начинается достаточно мощным аккордом, но он приглушен большим полем цветного листа. Такой же спокойной и значительно звучащей нотой заканчивается книга (оборотная сторона обложки), причем прием тот же: больший, нежели необходимо, графический аккорд смягчается ровного тона полем листа — рисунок как бы утопает в нем.

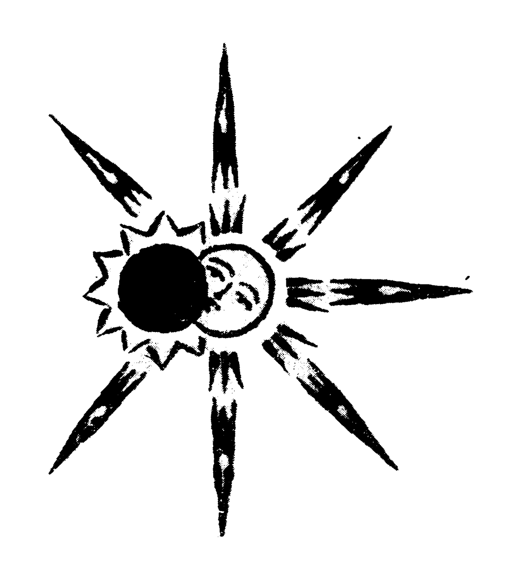
---

[15] О ритмике «Слова» см.: *Лихачев Д. С.* Золотое слово.., с. 34—37.

[16] В Дневнике работ Добужинский записал, что, будучи в Риме, 22—25 и 31 мая 1954 г. он раскрасил акварелью три экземпляра «Слова». Местонахождение их неизвестно.



Первая страница обложки.



Четвертая страница обложки.

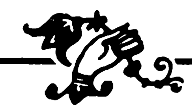
Отсюда, как и в обложке, — ощущение сдержанности при внутреннем напряжении.

Нельзя сказать, что графический ансамбль Добужинского к «Слову» является откровением для русской книги. Основополагающий его принцип существовал чуть ли не со времени зарождения книжного искусства. Но такая завершенность в воплощении этого принципа, логическая продуманность всего графического организма книги и — на что нужно обратить особое внимание — необычайный такт, проявленный по отношению к тексту, ясное понимание второстепенности своей роли как помощника — все это в русском, да и не только в русском, искусстве можно встретить не часто.

Произведение Добужинского занимает важное место в истории русской книжной графики своими образно-изобразительными достижениями. Однако значение его этим не ограничивается; оно играет немалую роль в самом процессе движения книжного искусства, его саморазвитии. Трудно найти другую книгу, в которой столь ярко и убедительно были бы доказаны смысл, назначение и возможности оформительской графики. В этом отношении графический цикл Добужинского, безусловно, является открытием. Другое дело, что сфера применения оформительской графики в таком объеме не так уж велика: едва ли найдется много литературных произведений, которым будет близок этот графический принцип.

Что же касается исторической жизни «Слова о полку Игореве», то в ней рисунки Добужинского должны занять подобающее им место, ибо они представляют собою совершенно новое явление в графической интерпретации великого памятника русской литературы.





О. В. Творогов

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

(краткая тематическая библиография)

Обилие исследовательской литературы о «Слове о полку Игореве» общеизвестно. С каждым годом все труднее становится ориентироваться в сотнях статей, десятках монографий и изданий памятника. Сложность состоит еще и в том, что полная библиография «Слова» доведена лишь до 1954 г.

Но и существующие библиографии, к сожалению, лишены предметных или тематических указателей, и поэтому читатель сталкивается с необходимостью всякий раз перечитывать весь перечень исследовательских работ, выбирая те из них, которые содержат интересующий его материал. Причем это можно сделать лишь в тех случаях, если на наличие такого материала указывают либо заглавие работы, либо аннотация к ней.

Предлагаемый тематический обзор исследований о «Слове о полку Игореве» содержит сведения о наиболее важных работах по каждой из основных проблем изучения памятника, опубликованных в нашей стране на русском, украинском и белорусском языках, по преимуществу после 1940 г.* Хронологическое ограничение имеет свое оправдание. Именно в этот период вышли в свет наиболее значительные исследования памятника, без знания которых сейчас невозможно продолжать его изучение. Кроме того, эти работы, как правило, доступны даже читателям, лишенным возможности работать в крупнейших научных библиотеках.

Особенностью данной краткой библиографии является то, что все вошедшие в нее работы сгруппированы в соответствии с направлениями основных исследований о «Слове». В обзоре не отражена лишь одна из тем «Слово»ведения — изучение восприятия «Слова» в литературе нового времени, прежде всего

---

* В указатель включены и работы зарубежных ученых, опубликованные в нашей стране.

в русской, украинской и белорусской, а также в славянских литературах и литературах других стран мира. Этот материал целесообразно рассматривать совместно с библиографией переводов и переложений «Слова», что не входило в задачу нашей работы.

В каждом тематическом разделе исследования располагаются в хронологическом порядке (в пределах одного года — по алфавиту). Если какая-либо работа является обобщением предыдущих разысканий того же автора, именно она вносится в библиографию. Если исследование в равной мере содержит материал по нескольким проблемам, оно может включаться в несколько тематических разделов; при этом возможно указание на те именно страницы работы, которые непосредственно относятся к данной теме. Следует учесть, что раздел «Лингвистический комментарий и толкование „темных мест“ „Слова о полку Игореве“» по существу содержит дополнительный материал к разделам «Язык „Слова о полку Игореве“» и «„Слово о полку Игореве“ и Русь XI—XII вв.», так как в названных там исследованиях мы, естественно, также найдем лингвистический и реальный комментарий к тексту.

Библиография не имеет рекомендательного характера. Поэтому наряду с работами, развивающими традиционные точки зрения, в нее включены и публикации, содержащие разного рода гипотезы, если только они, при всей своей спорности, не носят откровенно дилетантского характера.

В заключение необходимо подчеркнуть, что данный библиографический обзор далеко не полон и отнюдь не ставит своей целью заменить полную библиографию «Слова». Создание библиографии, включающей все издания, переводы и исследования «Слова» со времени открытия памятника и до наших дней, попрежнему остается первоочередной научной задачей. Можно пожелать при этом, чтобы эта будущая библиография содержала тематические указатели, которые бы помогли ориентации в обширной литературе по «Слову». Предложенная в нашей библиографии тематическая рубрикация может рассматриваться как один из возможных вариантов структуры таких указателей.

I. БИБЛИОГРАФИИ И ОБЗОРЫ

Слово о полку Игореве: Библиография изданий, переводов и исследований / Сост. В. П. Адрианова-Перетц. М.; Л., 1940. 110 с.

Слово о полку Игореве: Библиографический указатель / Сост. О. В. Данилова, Е. Д. Поплавская, И. С. Романченко; Под ред. и со вступ. ст. С. К. Шамбинаго. М., 1940. 139 с.

Головенченко Ф. М. Слово о полку Игореве: Историко-литературный и библиографический очерк. М., 1955. 486 с. (Учен. зап. Моск. пед. ин-та им. В. И. Ленина, т. 82. Кафедра рус. лит., вып. 6).

Слово о полку Игореве: Библиография изданий, переводов и исследований. 1938—1954 / Сост. Л. А. Дмитриев. М.; Л., 1955. 90 с.

Попов П. Н. Дополнения к библиографии работ о «Слове о полку Игореве» за 1938—1954 гг. — ТОДРЛ, М.; Л., 1957, т. 13, с. 569—573.

«Слово о полку Игореве» в иллюстрациях и документах / Сост. О. А. Пини; Под ред. и со вступ. ст. Д. С. Лихачева. Л., 1958. 216 с.

Головенченко Ф. М. Слово о полку Игореве: Библиографический очерк. Перевод. Пояснения к тексту и переводу / Под ред. А. В. Позднеева. М., 1963 (Учен. зап. Моск. пед. ин-та, № 198). 358 с.

Бегунов Ю. К. «Слово о полку Игореве» в зарубежном литературоведении: (Краткий обзор). — В кн.: От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона»: Сб. статей к 90-летию Н. К. Пиксанова. Л., 1969, с. 236—249.

Бегунов Ю. К. «Слово о полку Игореве» в зарубежном литературоведении. — Рус. литература, 1974, № 2, с. 226—232.

Творогов О. В. «Слово о полку Игореве» в советской филологической науке (1968—1977). — Рус. литература, 1978, № 4, с. 177—185.

II. ОБОБЩАЮЩИЕ РАБОТЫ О «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Орлов А. С. Слово о полку Игореве. 2-е изд., доп. М.; Л., 1946. 215 с.

Кузьмина В. Д. «Слово о полку Игореве» как памятник мировой литературы. — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. статей под ред. И. Г. Клабуновского и В. Д. Кузьминой. М., 1947, с. 7—42.

Лихачев Д. С. Слово о полку Игореве: Историко-литературный очерк / Отв. ред. В. П. Адрианова-Перетц. М.; Л., 1950. 164 с. (2-е изд., доп. М.; Л., 1955. 152 с.).

Гудзий Н. К., Дылевский Н. М., Дмитриев Л. А., Назаревский А. А., Позднеев А. В., Альшиц Д. Н., Робинсон А. Н. Какие возникают задачи дальнейшего изучения «Слова о полку Игореве»? Вопрос № 7. — В кн.: Сб. ответов на вопросы по литературоведению. М., 1958, с. 25—45.

Дмитриев Л. А. Важнейшие проблемы исследования «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1964, т. 20, с. 120—138.

Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» — героический пролог русской литературы. Л., 1967. 120 с.

Пинчук С. П. Слово о полку Ігоревім: Критичний нарис. Київ, 1973. 130 с.

Лихачев Д. С. Слово о полку Игореве. — В кн.: *Лихачев Д. С.* Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975, с. 132—205 (2-е изд., доп. М., 1979, с. 163—240).

Сулейменов О. Аз и я. Книга благонамеренного читателя. Алма-Ата, 1975. 304 с.

Творогов О. В. О некоторых задачах изучения «Слова о полку Игореве». — ИОЛЯ, 1975, т. 34, вып. 4, с. 299—303.

Дмитриев Л. А. 175-летие первого издания «Слова о полку Игореве»: (Некоторые итоги и задачи изучения «Слова»). — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 3—13.

Лихачев Д. С. Слово о полку Игореве: Историко-литературный очерк. М., 1976. 175 с. (2-е изд., испр. и доп. М., 1982. 176 с.).

Творогов О. В. Некоторые принципиальные вопросы изучения «Слова о полку Игореве». — Рус. литература, 1977, № 4, с. 88—102.

Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978. 359 с. (2-е изд. Л., 1985. 351 с.).

Демкова Н. С. Проблемы изучения «Слова о полку Игореве». — В кн.: Чтения по древнерусской литературе. Ереван, 1980, с. 58—107.

Осетров Е. Мир Игоревой песни: Этюды. 2-е изд. М., 1981. 253 с.

Карпунин Г. Жемчуг «Слова», или возвращение Игоря. Новосибирск, 1983. 384 с.

Никитин А. Испытание «Словом...». — Новый мир, 1984, № 5, с. 182—206; № 6, с. 211—226; № 7, с. 176—208.

III. КОММЕНТИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Слово о полку Игореве / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950. 484 с. (Сер. «Лит. памятники»).

Слово о полку Игореве / Вступ. ст. Л. А. Дмитриева и В. Л. Виноградовой; Подгот. текста и коммент. Л. А. Дмитриева. Л., 1952. 302 с. (Б-ка поэта. Больш. сер.).

Слово о полку Игореве: Поэтические переводы и переложения / Под общ. ред. В. Ржиги, В. Кузьминой, В. Стеллецкого. М., 1961. 368 с.

Слово о полку Игореве: Древнерусский текст и переводы / Вступ. ст., ред. текстов, прозаический и поэтический пер., примеч. к древнерусскому тексту и словарь В. И. Стеллецкого; Стихотворное переложение и пояснения к нему Л. И. Тимофеева. М., 1965. 264 с.

Слово о полку Игореве / Вступ. ст. Д. С. Лихачева; Сост. и подгот. текстов Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева; Примеч. О. В. Творогова и Л. А. Дмитриева. 2-е изд. Л., 1967. 540 с. (Б-ка поэта. Больш. сер.).

Слово о полку Игореве / Пер., коммент. и ст. А. Югова. М., 1970. 272 с.

Слово о полку Игореве: Древнерусский текст и переводы / Сост., вступ. ст., подгот. древнерусского текста и коммент. В. И. Стеллецкого. М., 1981. 288 с.

Слово о полку Игореве / Подгот. текста, пер. и коммент. О. В. Творогова. — В кн.: Памятники литературы древней Руси: XII век. М., 1980, с. 372—387, 679—688.

Слово о полку Игореве / Сост. А. Е. Тархов; Науч. ред. В. В. Колесов. М., 1981. 207 с.

IV. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Лукьянов В. В. Первый владелец рукописи «Слова о полку Игореве» — Иоиль Быковский. — ТОДРЛ, М.; Л., 1956, т. 12, с. 42—45.

Дмитриев Л. А. История открытия рукописи «Слова о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.; Л., 1962, с. 406—429.

Лихачев Д. С. Изучение «Слова о полку Игореве» и вопрос о его подлинности. — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.; Л., 1962. с. 5—78.

Крестова Л. В., Кузьмина В. Д. Иоиль Быковский — проповедник, издатель «Истинны» и первый владелец рукописи «Слова о полку Игореве». — В кн.: Исследования и материалы по древнерусской литературе: Древнерусская литература и ее связи с новым временем. М., 1967, с. 25—48.

Моисеева Г. Н. Спасо-Ярославский хронограф и «Слово о полку Игореве»: К истории сборника А. И. Мусина-Пушкина со «Словом». Л., 1976. 96 с. (2-е изд., доп. Л., 1984. 149 с.).

Прийма Ф. Я. «Слово о полку Игореве» в русском историко-литературном процессе первой трети XIX в. Л., 1980, с. 16—45.

Дмитриев Л. А. К вопросу об истории открытия рукописи «Слова о полку Игореве». — Рус. литература, 1981, № 3, с. 69—75.

Прийма Ф. Я. Нужна ли здесь поспешность? — Рус. литература, 1982, № 1, с. 115—121.

Козлов В. П. Об одном хронографе из собрания А. И. Мусина-Пушкина. — В кн.: Летописи и хроники. 1984 г. М., 1984, с. 113—120.

Козлов В. П. «Слово о полку Игореве» в «Опыте повествования о России» И. П. Елагина. — Вопр. истории, 1984, № 8, с. 23—31.

V. МУСИН-ПУШКИНСКИЙ СБОРНИК. ТЕКСТ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Лихачев Д. С. О русской летописи, находившейся в одном сборнике со «Словом о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1947, т. 5, с. 139—141.

Щепкина М. В. К вопросу о сгоревшей рукописи «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1955, т. 11, с. 39—47.

Щепкина М. В. К вопросу о правописании рукописи «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1957, т. 13, с. 90—101.

Творогов О. В. К вопросу о датировке Мусин-Пушкинского сборника со «Словом о полку Игореве». — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 137—140, 159—164.

Милов Л. В. О «Слове о полку Игореве»: (Палеография и археография рукописи; чтение «русичи»). — История СССР, 1983, № 5, с. 82—106.

VI. ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Гудзий Н. К. Судьбы печатного текста «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1951, т. 8, с. 31—52.

Лихачев Д. С. История подготовки к печати текста «Слова о полку Игореве» в конце XVIII в. — ТОДРЛ, М.; Л., 1957, т. 13, с. 66—89 (то же с доп. в кн.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978, с. 237—277).

Щепкина М. В. К вопросу о разночтениях Екатерининской копии и первого издания «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 14, с. 71—76.

Дмитриев Л. А. История первого издания «Слова о полку Игореве»: Материалы и исследования / Отв. ред. Д. С. Лихачев. М.; Л., 1960. 380 с.

Творогов О. В. К вопросу о датировке Мусин-Пушкинского сборника со «Словом о полку Игореве». — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 141—158.

Милов Л. В. О «Слове о полку Игореве»: (Палеография и археография рукописи; чтение «русичи»). — История СССР, 1983, № 5, с. 82—106.

а) Экземпляры первого издания

Дмитриев Л. А. История первого издания «Слова о полку Игореве»: Материалы и исследования / Отв. ред. Д. С. Лихачев. М.; Л., 1960, с. 17—56.

Дмитриев Л. А. 175-летие первого издания «Слова о полку Игореве»: (Некоторые итоги и задачи изучения «Слова»). — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 12.

Гребенюк В. П., Гончарова Т. Б. Неизвестный экземпляр первого издания «Слова о полку Игореве». — В кн.: Исследования и материалы по древнерусской литературе: «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI—XVII веков. М., 1978, с. 176—185.

Демкова Н. С. Неучтенный экземпляр первого издания «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, Л., 1979, т. 33, с. 441—443.

VII. ПОХОД ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА В 1185 г.

Сібільов М. В. Археологічні пам'ятки на Дінці в зв'зку з походами Володимира Мономаха та Ігора Сіверського. — Археологія, Київ, 1950, № 4, с. 99—112.

Глухов В. М. К вопросу о пути князя Игоря в Половецкую степь. — ТОДРЛ, М.; Л., 1955, т. 11, с. 22—38.

Федоров В. Г. Кто был автором «Слова о полку Игореве» и где расположена река Каяла. М., 1956. 175 с.

Кудряшев К. В. Про Игоря Северского, про землю Русскую: Историко-географический очерк о походе Игоря Северского на половцев в 1185 году. М., 1959. 95 с.
Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, с. 218—278.
Пядышев Г. Е. Поход Игоря в 1185 году: Место битвы. — История СССР, 1980, № 4, с. 42—65.
Гетманец М. Ф. Тайна реки Каялы: («Слово о полку Игореве»). Харьков, 1982. 144 с.

VIII. ПОХОД ИГОРЯ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ И «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Позднеев А. В. «Слово о полку Игореве» и летописи. — В кн.: Сб. статей по русской и зарубежной литературе. М., 1961. Вып. 1. Проблемы истории литературы, с. 5—32 (Тр. Моск. заоч. пед. ин-та).
Зимин А. А. Ипатьевская летопись и «Слово о полку Игореве». — История СССР, 1968, № 6, с. 43—64.
Кузьмин А. Г. Ипатьевская летопись и «Слово о полку Игореве». — История СССР, 1968, № 6, с. 64—87.
Рыбаков Б. А. Киевская летописная повесть о походе Игоря в 1185 г. — ТОДРЛ, М.; Л., 1969, т. 24, с. 58—63.
Сазонова Л. И. Летописный рассказ о походе Игоря Святославича на половцев в 1185 г. в обработке В. Н. Татищева. — ТОДРЛ, М.; Л., 1970, т. 25, с. 29—46.
Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, с. 226—278.
Лихачев Д. С. «Текстологический треугольник»: «Слово о полку Игореве», рассказ Ипатьевской летописи о походе князя Игоря в 1185 г. и «Задонщина»: (К текстологическим замечаниям проф. Дж. Феннела). — В кн.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978, с. 296—309.

IX. ПРИРОДА В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Шарлемань Н. В. Из реального комментария к «Слову о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1949, т. 6, с. 111—124.
Шарлемань Н. В. Природа в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 212—217.
Шарлемань Н. В. Заметки натуралиста к «Слову о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1951, т. 8, с. 53—67.
Шарлемань Н. В. Заметки к «Слову о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1955, т. 11, с. 7—12.
Сумаруков Г. В. Кто есть кто в «Слове о полку Игореве». М., 1983. 144 с.

X. «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И РУСЬ XI—XII вв.

Соловьев А. В. Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве». — Ист. зап., 1948, т. 25, с. 71—103.
Лихачев Д. С. Исторический и политический кругозор автора «Слова о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 5—25 (доп. вариант статьи — «Исторические и политические представления автора

„Слова о полку Игореве“» в кн.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. М., 1978, с. 75—149).
Котляр М. Ф. До питання про втечу візантійського імператора в Галич у 1204 р. — Укр. іст. журн., Київ, 1966, № 3, с. 112—117.
Рыбаков Б. А. Отрицательный герой «Слова о полку Игореве». — В кн.: Культура Древней Руси. М., 1966, с. 238—242.
Котляр М. Ф. Загадка Святослава Всеволодовича Київського. — Укр. іст. журн., Київ, 1967, № 6, с. 104—109.
Кузьмин А. Г. Мнимая загадка Святослава Всеволодовича. — Рус. литература, 1969, № 3, с. 104—109.
Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971. 296 с.
Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972. 520 с.
Робинсон А. Н. «Русская земля» в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 123—136.
Яценко Б. И. Кто такой Борис Вячеславич «Слова о полку Игореве»? — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 296—304.
Яценко Б. Северские князья в «Слове о полку Игореве». — Рус. литература, 1981, № 3, с. 106—110.
Яценко Б. І. Князь Ігор у «Слові о полку Ігоревім». — В кн.: Київська Русь: Культура, традиції. Київ, 1982, с. 51—58.
Лихачев Д. С. Новгородские черты в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, Л., 1985, т. 38, с. 509—513.

XI. «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

а) «Слово» и литература XI—XIII вв.

Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и особенности русской средневековой литературы. — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.; Л., 1962, с. 300—320 (то же с доп. в кн.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978, с. 7—39).
Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. Л., 1968. 202 с.
Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и эстетические представления его времени. — В кн.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978, с. 40—74.
Кусков В. В. Связь поэтической образности «Слова о полку Игореве» с памятниками церковной и дидактической письменности XI—XII вв. — В кн.: Исследования и материалы по древнерусской литературе: «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI—XVII веков. М., 1978, с. 69—86.

б) «Слово» и литература XIV—XVI вв.

Альшиц Д. Н. Легенда о Всеволоде — полемический отклик XVI в. на «Слово о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 16, с. 64—70.
Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.; Л., 1962, с. 131—168.
Лихачев Д. С. Черты подражательности «Задонщины»: (К вопросу об отношении «Задонщины» к «Слову о полку Игореве»). — Рус. литература, 1964, № 3, с. 84—107.
Назаревський А. А. Следы «Слова о полку Игореве» в древнерусской литературе. — Вісн. Київ. ун-ту, 1965, № 7. Сер. філології та журналістики, с. 47—55.

Творогов О. В. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла: К вопросу о времени написания «Слова». М.; Л., 1966, с. 292—343.

Дмитриева Р., Дмитриев Л., Творогов О. По поводу статьи А. А. Зимина «Спорные вопросы текстологии „Задонщины“». — Рус. литература, 1967, № 1, с. 105—121.

Зимин А. Спорные вопросы текстологии «Задонщины». — Рус. литература, 1967, № 1, с. 84—104.

Адрианова-Перетц В. П. Было ли известно «Слово о полку Игореве» в начале XIV века. — Рус. литература, 1965, № 2, с. 149—153.

Зимин А. Приписка к псковскому Апостолу 1307 года и «Слово о полку Игореве». — Рус. литература, 1966, № 2, с. 60—74.

Творогов О. В. «Сокол трех мытей» в повести об Акире Премудром. — В кн.: Вопросы теории и истории языка. Л., 1969, с. 111—114.

Дмитриев Л. А. Реминисценции «Слова о полку Игореве» в памятнике новгородской литературы. — В кн.: Культурное наследие древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., 1970, с. 50—54.

Моисеева Г. Н. Новые материалы по истории Апостола 1307 года с цитатой из «Слова о полку Игореве». — Рус. литература, 1983, № 4, с. 128—132.

XII. ПОЭТИКА «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Лихачев Д. С. Устные истоки художественной системы «Слова о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 53—92 (то же с доп. в кн.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978, с. 150—198).

Еремин И. П. «Слово о полку Игореве» как памятник политического красноречия Киевской Руси. — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 93—129.

Двинянинов Б. Н. Принцип трехчленности в плане и композиции «Слова о полку Игореве». — Учен. зап. Тамбов. пед. ин-та. Воронеж, 1958, вып. 12, с. 137—198.

Дмитриев Л. А. Принцип трехчленности в композиционном построении «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1960, т. 16, с. 606—610.

Якобсон Р. Композиция и космология плача Ярославны. — ТОДРЛ, Л., 1969, т. 24, с. 32—34.

Клейн И. «Слово о полку Игореве» и апокалиптическая литература: (К постановке вопроса о топике древнерусской литературы). — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 104—115.

Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и эстетические представления его времени. — В кн.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978, с. 40—74.

Лихачев Д. С. Представления о времени в «Слове». — В кн.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978, с. 199—205.

Лихачев Д. С. Катарсис в «Слове о полку Игореве». — В кн.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978, с. 206—210.

Робинсон А. Н. Солнечная символика в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Исследования и материалы по древнерусской литературе: «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI—XVII веков. М., 1978, с. 7—58.

Демкова Н. С. Повторы в «Слове о полку Игореве»: (К изучению композиции памятника). — В кн.: Русская и грузинская средневековые литературы. Л., 1979, с. 59—73.

Демкова Н. С. Проблемы изучения «Слова о полку Игореве». — В кн.: Чтения по древнерусской литературе. Ереван, 1980, с. 82—107.

Николаева Т. М. Некоторые приемы лингвистики текста в «Слове о полку Игореве» и их функциональная нагрузка. — В кн.: Структура текста — 81. М., 1981, с. 143—147.

Лихачев Д. С. Поэтика повторяемости в «Слове о полку Игореве». — Рус. литература, 1983, № 4, с. 9—21.

Робинсон А. Н. Литература Киевской Руси в мировом контексте. — В кн.: Славянские литературы: IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1983, с. 3—25.

Лихачев Д. С. Предположение о диалогическом строении «Слова о полку Игореве». — Рус. литература, 1984, № 3, с. 130—144.

а) О перестановке в тексте «Слова о полку Игореве»

Гудзий Н. К. О перестановке в начале текста «Слова о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 249—254.

Стеллецкий В. И. К вопросу о перестановке в начале текста «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1955, т. 11, с. 48—58.

Гудзий Н. К. Еще раз о перестановке в начале текста «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1956, т. 12, с. 35—41.

Яценко Б. И. Солнечное затмение в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 116—122.

XIII. «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И ЭПОС

а) «Слово о полку Игореве»
и восточнославянский фольклор

Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и устная народная поэзия. — В кн.: Слово о полку Игореве. М.; Л., 1950, с. 291—319 (сер. «Лит. памятники»); (то же в кн.: *Адрианова-Перетц В. П.* Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974, с. 99—119).

Мочульский В. Ф. «Слово о полку Игореве» и белорусское устно-поэтическое творчество. — Вестн. Моск. ун-та, 1962, сер. 7. Филология, журналистика, № 2, с. 17—33; Там же, 1965, сер. 7. Филология, журналистика, № 1, с. 74—84; Там же, 1969, сер. 7. Филология, журналистика, № 1, с. 69—75.

Пінчук С. П. «Слово о полку Игореве» і усна народна поезия. — В кн.: Народна творчість та етнографія. Київ, 1963, кн. 4, с. 27—37.

Дмитриев Л. А. Слово о полку Игореве. — В кн.: Русская литература и фольклор: (XI—XVIII вв.). Л., 1970, с. 36—54.

Никифоров А. И. О фольклорном репертуаре XII—XVIII вв.: На материале «Слова о полку Игореве», «Задонщины», «Повести о разорении Рязани», Псковской летописи, Азовских повестей и других памятников. — В кн.: Из истории русской советской фольклористики. Л., 1981, с. 143—204.

Азбелев С. Н. Народный эпос и история: (К изучению национального своеобразия). — Рус. литература, 1983, № 2, с. 113—117.

Мещерский Н. А. Об отражении в русском героическом эпосе исторического прошлого в жизни народа. — Рус. литература, 1984, № 2, с. 122—123.

б) «Слово о полку Игореве» и южнославянский эпос

Прийма Ф. Я. Южнославянские параллели к «Слову о полку Игореве». — В кн.: Русский фольклор. М.; Л., 1968, т. 11, с. 225—239.

Прийма Ф. Я. Сербско-хорватские параллели к «Слову о полку Игореве». — Рус. литература, 1973, № 3, с. 73—81.

Прийма Ф. Я. «Слово о полку Игореве» и славянский героический эпос. — В кн.: Славянские литературы: VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973, с. 263—294.

Прийма Ф. Я. Болгарские параллели к «Слову о полку Игореве». — В кн.: Русско-болгарские фольклорные и литературные связи. Л., 1976, т. 1, с. 45—72.

в) «Слово о полку Игореве» и западноевропейский эпос

Дынник В. «Слово о полку Игореве» и «Песнь о Роланде». — В кн.: Старинная русская повесть: Ст. и исслед. М.; Л., 1941, с. 48—64.
Робинсон А. Н. О закономерностях развития восточнославянского и европейского эпоса в раннефеодальный период. — В кн.: Славянские литературы: VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973, с. 178—224.
Робинсон А. Н. «Слово о полку Игореве» и героический эпос средневековья. — Вестн. АН СССР, 1976, № 4, с. 104—112.
Шарыпкин Д. М. Боян в «Слове о полку Игореве» и поэзия скальдов. — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 14—22.
Робинсон А. Н. Закономерности развития средневекового героического эпоса и символика «Слова о полку Игореве». — В кн.: Славянские литературы: VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978, с. 150—165.

г) «Слово о полку Игореве» и тюркский эпос

Ржига В. Ф. Восток в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. статей / Под ред. И. Г. Клабуновского и В. Д. Кузьминой. М., 1947, с. 169—189.
Робинсон А. Н. О задачах сближения славистической и тюркологической традиций в изучении «Слова о полку Игореве». — В кн.: Исследования и материалы по древнерусской литературе: «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI—XVII веков. М., 1978, с. 191—206.
Робинсон А. Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья XI—XIII вв.: Очерки литературно-исторической типологии. М., 1980, с. 269—313.

XIV. РИТМИКА «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Никифоров А. И. Проблема ритмики «Слова о полку Игореве». — Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та им. М. Н. Покровского, 1940, т. 14. Фак. языка и лит., вып. 2, с. 214—250.
Штокмар М. П. Ритмика «Слова о полку Игореве» в свете исследований XIX—XX вв. — В кн.: Старинная русская повесть: Статьи и исследования / Под ред. Н. К. Гудзия. М.; Л., 1941, с. 65—82.
Тимофеев Л. Ритмика «Слова о полку Игореве». — Рус. литература, 1963, № 1, с. 88—104.
Стеллецкий В. К вопросу о ритмическом строе «Слова о полку Игореве». — Рус. литература, 1964, № 4, с. 27—40.
Кулаковский Л. Песнь о полку Игореве: Опыт воссоздания модели древнего мелоса. М., 1977. 175 с.
Жигунов В. Четыре солнца: (в «Слове о полку Игореве»). — Октябрь, 1983, № 11, с. 195—202.
Колесов В. В. Ритмика «Слова о полку Игореве»: (К вопросу о реконструкции). — ТОДРЛ, Л., 1983, т. 37, с. 14—24.

XV. ЖАНР «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Еремин И. П. Слово о полку Игореве: (К вопросу о его жанровой природе). — Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1944 (на обложке 1945), № 72. Сер. филол. наук, вып. 9, с. 3—18; под названием «Жанровая природа

„Слова о полку Игореве“» опубликована в кн.: *Еремин И. П.* Литература древней Руси: (Этюды и характеристики). М.; Л., 1966, с. 144—163.

Еремин И. П. «Слово о полку Игореве» как памятник политического красноречия Киевской Руси. — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 93—129.

Назаревский А. А. О жанровой природе «Слова о полку Игореве». — Наук. зап. Київськ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, 1955, т. 14, вип. 1. Філол. зб., № 7, с. 113—144.

Еремин И. П. К вопросу о жанровой природе «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1955, т. 12, с. 28—34.

Назаревский А. А. Еще о жанровой природе «Слова о полку Игореве». — Вісн. Київськ. ун-ту, 1958, № 1. Сер. філол. та журналістики, вип. 2, с. 68—71.

Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и процесс жанрообразования XI—XIII вв. — ТОДРЛ, Л., 1972, т. 27, с. 69—75.

Робинсон А. Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья XI—XIII вв.: Очерки литературно-исторической типологии. М., 1980, с. 314—331.

XVI. ЯЗЫК «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.; Л., 1946, с. 132—198.

Булаховский Л. А. «Слово о полку Игореве» как памятник древнерусского языка. — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 130—163.

Булаховский Л. А. О первоначальном тексте «Слова о полку Игореве». — ИОЛЯ, 1952, т. 11, вып. 5, с. 439—449.

Булаховский Л. А. Функции чисел в «Слове о полку Игореве». — Наук. зап. Ін-ту мовознавства АН УРСР, 1952. Т. 10. Мовознавство, с. 120—124.

Мещерский Н. А. К вопросу о территориальном приурочении первоначального текста «Слова о полку Игореве» по данным лексики. — Учен. зап. Карельск. пед. ин-та, 1956, т. 3. Сер. ист.-филол. наук, вып. 1, с. 64—88.

Дылевский Н. М. Лексические и грамматические свидетельства подлинности «Слова о полку Игореве» по старым и новым данным. — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.; Л., 1962, с. 169—254.

Виноградова В. Л. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина» по некоторым данным морфологии. — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.; Л., 1962, с. 255—275.

Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» / Сост. В. Л. Виноградова. Вып. 1. А—Г. М.; Л., 1965, 199 с.; Вып. 2. Д — Копье. Л., 1967, 214 с.; Вып. 3. Корабль—Нынешний. Л., 1969, 182 с.; Вып. 4. О—П. Л., 1973, 234 с.; Вып. 5. Р—С. Л., 1978, 264 с.; Вып. 6. Т—Я и Дополнения. Л., 1984, 278 с.

Котляренко А. Н. Сравнительный анализ некоторых особенностей грамматического строя «Задонщины» и «Слова о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла: К вопросу о времени написания «Слова». М.; Л., 1966, с. 127—196.

Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII вв. Л., 1968. 202 с.

Мещерский Н. А. Необходим полный историко-грамматический комментарий к тексту «Слова о полку Игореве». — В кн.: По новым программам. Петрозаводск, 1970, с. 304—314.

Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка: (X— середина XVIII в.). М., 1975, с. 145—178.

Творогов О. В. Мова «Слова о полку Игореве»: (підсумки і завдання вивчення). — Мовознавство, 1975, № 6, с. 3—11.

Колесов В. В. Ударение в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 23—76.

а) «Слово о полку Игореве» и восточнославянские народные говоры

Німчук В. В. «Слово о полку Ігоревім» і народна мова. — Мовознавство, 1967, № 4, с. 79—81; 1968, № 1, с. 36—40; 1971, № 3, с. 13—20.

Кобилянський Б. В. Діалектна лексика у «Слові о полку Ігоревім». — Мовознавство, 1970, № 4, с. 64—73.

Козырев В. А. Словарный состав «Слова о полку Игореве» и лексика современных русских народных говоров. — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 93—103.

б) Ориентализмы в «Слове о полку Игореве»

Малов С. Е. Тюркизмы в языке «Слова о полку Игореве». — ИОЛЯ, 1946, т. 5, вып. 2, с. 129—139.

Ржига В. Ф. Восток в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. статей / Под ред. И. Г. Клабуновского и В. Д. Кузьминой. М., 1947, с. 169—189.

Попов А. И. Кыпчаки и Русь. — Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1949, № 112. Сер. ист. наук, вып. 14, с. 94—119.

Попов А. И. Заметки о «Слове о полку Игореве». — Рус. литература, 1969, № 4, с. 181—186.

Баскаков Н. А. К этимологии собственных имен в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Проблемы истории и диалектологии славянских языков. М., 1970, с. 38—45.

Баскаков Н. А. Мифологические и эпические имена собственные в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Восточная филология. Тбилиси, 1973, т. 3, с. 183—192.

Сулейменов О. Аз и Я. Книга благонамеренного читателя. Алма-Ата, 1975, с. 51—83.

Менгес К. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве» / Пер. с англ. А. А. Алексеева. Л., 1979. 266 с.

Баскаков Н. А. Еще о тюркизмах «Слова о полку Игореве». — В кн.: Исследования и материалы по древнерусской литературе: «Слово о полку Игореве» Памятники литературы и искусства XI—XVII веков. М., 1978, с. 59—68.

Баскаков Н. А. Тюркизмы — социальная терминология в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Turcologica: К 70-летию акад. А. Н. Кононова. Л., 1976, с. 225—233.

XVII. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ И ТОЛКОВАНИЕ «ТЕМНЫХ МЕСТ» «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Лихачев Д. С. Из наблюдений над лексикой «Слова о полку Игореве». — ИОЛЯ, 1949, т. 8, вып. 6, с. 551—554.

(Толкование слов: «преднюю славу сами похытимь, а заднюю ся сами подѣлимь»).

Алексеев М. П. К «сну Святослава» в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 226—248.

Данилов В. В. Заметки к тексту «Слова о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 204—208.

(Толкование слова «ковылие», коммент. к описанию бегства Игоря).

Ржига В. Ф. Из текстологических наблюдений над «Словом о полку Игореве»: что такое «въ стазби»? — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 188—191.

Тиунов И. Д. Несколько замечаний к «Слову о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 196—203.

(Коммент. к словам: «истягну умь крѣпостию», «стязи глаголють», «и схоти ю на кровать», «копиа поютъ на Дунаи», «рекъ Боянъ и ходы на... когань хоти» и др.).

Шарлемань Н. В. «Дебрь Кисаню» — «дебрь Киянь». — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 209—211.

Щепкина М. В. К вопросу о неясных местах «Слова о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 192—195.

(Коммент. к словам: заря свѣтъ запала», «встала обида», «за нимъ кликну карна и жля», «у Плѣсньска на болони бѣша дебрь Кисаню»).

Булаховский Л. А. О первоначальном тексте «Слова о полку Игореве». — ИОЛЯ, 1952, т. 11, вып. 5, с. 439—442.

(Коммент. к словам: «оба полы», «помняшеть бо речь», «свистъ звѣринъ въ стазби», «утръже воззни стрикусы» и др.).

Дмитриев Л. А. Глагол «каяти» и река Каяла в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1953, т. 9, с. 30—38.

Щепкина М. В. Замечания о палеографических особенностях рукописи «Слова о полку Игореве»: (К вопросу о исправлении текста памятника). — ТОДРЛ, М.; Л., 1953, т. 9, с. 7—29.

(Коммент. к словам: «тоже звонъ слыша...», «рекъ Боянъ и ходы на... кроме плечю», «на канину зелену», «и схоти ю на кровать и рекъ», «босуви врани», «время бусово»).

Шарлемань Н. В. Из комментариев к «Слову о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1954, т. 10, с. 225—228.

(Коммент. к словам: «на кроваты тисовѣ», «у Плѣсньска»).

Булаховский Л. А. Заметки к спорным местам «Слова о полку Игореве». — Радянське літературознавство, 1955, № 18, с. 48—56.

(Коммент. к словам: «тльковинъ», «исхоти ю на кровать и рекъ», «тъи клюками подпръся окони», «утръ же воззни стрикусы», «рекъ Боянъ и ходы на... коганя хоти»).

Егоров Н. М. Мышью или мыслью? — ТОДРЛ, М.; Л., 1955, т. 11, с. 13.

Стеллецкий В. И. К изучению текста «Слова о полку Игореве». — ИОЛЯ, 1955, т. 14, вып. 2, с. 146—155.

(Коммент. к словам «князю Игорю не быть»).

Югов А. К. Образ князя-волшебника и некоторые спорные места в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1955, т. 11, с. 14—21.

(Коммент. к словам: «въ друзѣ тѣлѣ», «ни хытру», «клюками подпреся», «обѣсися синѣ мьглѣ»).

Мещерский Н. А. К толкованию лексики «Слова о полку Игореве». — Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1956, № 198. Сер. филол. наук., вып. 24, с. 3—9.

(Коммент. к словам: «слово», «бебрянъ», «похытити», «наниче», «лелѣяти»).

Петрусь В. П. Соколъ въ мытехъ. — Учен. зап. Кировск. пед. ин-та им. В. И. Ленина, 1957, вып. 11, с. 103—107.

Болдур А. Троян «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 15, с. 7—35.

Булаховский Л. А. К лексике «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 14, с. 33—36.

(Коммент. к словам: «рокотати», «путина», «притрепати»).

Дылевский Н. М. «Вежи ся половецкии подвизашася» в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 15, с. 36—46.

Котков С. И. «Слово о полку Игореве»: (Заметки к тексту). М., 1958. 43 с.

(Коммент. к словам: «ущекоталъ», «свистъ звѣринъ въ стазби», «крычатъ тѣлѣгы», «полелѣя», «на канину», «стругы» и др.).

Лотман Ю. М. О слове «папорзи» в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 14, с. 37—40.

Мавродин В. В. Одно замечание по поводу «мыси» и «мысли» в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 14, с. 61—63.

Махновець Л. Із досліджень «Слова о полку Ігоревім». — Радянське літературознавство, 1958, № 1, с. 39—42.

(Коммент. к фрагменту: «Два солнца помѣркоста... въ морѣ погрузиста»).

Мещерский Н. А. К изучению лексики и фразеологии «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 14, с. 43—48.

(Коммент. к словам: «слово», «бебрянъ», «похытити», «паниче», «мысленное древо», «луци... напряжени», «лучи съпряже»).

Назаревский А. А. О некоторых конъектурах к тексту «Слова о полку Игореве». — Вісн. Київ. ун-ту, 1958, № 1. Сер. філології та журналістики, вип. 1, с. 39—47.

(Коммент. к словам: «Рекъ Боянъ и ходы на...», «утръ же воззни стрикусы», «птицю горазду»).

Чепур Є. І. Спроби пояснення деяких «темних місць» у «Слові о полку Ігоревім». — В кн.: Збірник наукових праць. Київ, 1958. Т. 1. Мовознавство, с. 101—109.

(Коммент. к словам: «аминь», «се у Римъ кричатъ», «Рекъ Боянъ и ходы на...», «погрузи жиръ», «жирня времена» и др.).

Шарлемань Н. В. Заметка к тексту «Растѣкашется мыслію по древу» в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 14, с. 41—42.

Якобсон Р. О. Изучение «Слова о полку Игореве» в Соединенных Штатах Америки. — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 14, с. 102—121.

(Коммент. к словам: «утръ же воззни стрикусы», «время бусово», «съ дудутокъ», «на седьмомъ вѣцѣ» и др.).

Булаховский Л. А. Лінгвістичні уваги про міфологічні назви «Слова о полку Ігоревѣ». — Наук. зап. Ін-ту мовознавства АН УРСР, 1959. Т. 15. Мовознавство, с. 21—32.

(Коммент. к словам: «босув», Велес, Даждьбог, «див», Карна, Жля, Стрибог, Троян, Хорс и др.).

Ангелов Боню Ст. Заметки о «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1960, т. 16, с. 50—59.

(Коммент. к словам: «которою», «къмети», «бусови врани», «время Бусово», «безъ кнеса», «галица»).

Дылевский Н. М. «Утръ же воззни стрикусы оттвори врата Нову-граду» в «Слове о полку Игореве» в свете данных лексики и грамматики древнерусского языка. — ТОДРЛ, М.; Л., 1960, т. 16, с. 60—69.

Никольский А. А. К толкованию текста «Слова о полку Игореве»: (заря свѣтъ запала). — ТОДРЛ, М.; Л., 1960, т. 16, с. 70—72.

Сапунов Б. В. «Тисовая кровать Святослава»: (Из реального комментария к «Слову о полку Игореве»). — ТОДРЛ, М.; Л., 1961, т. 17, с. 323—326.

Лихачев Д. С. «Воззни стрикусы» в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1962, т. 18, с. 587.

Соловьев А. В. Русичи и русовичи. — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.; Л., 1962, с. 276—299.

Соболевский В. Ф. «Готские девы» в «Слове о полку Игореве». — Простор, Алма-Ата, 1963, № 5, с. 90—94.

Чепур Е. И. О веках Трояна в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Питання історії та культури слов'ян. Київ, 1963, ч. 2, с. 152—154.

Адрианова-Перетц В. Об эпитете «тресветлый» в «Слове о полку Игореве». — Рус. литература, 1964, № 1, с. 86—87.

Альшиц Д. Н. Что означает «Пирогощая» русских летописей и «Слова о полку Игореве». — В кн.: Исследования по источниковедению. М., 1964, вып. 7, с. 475—482.

Соловьев А. В. Восемь заметок к «Слову о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1964, т. 20, с. 365—378.

(Коммент. к словам: «Хинова», «не худа гнезда шестокрилци»,

«обеси ся синѣ мьглѣ», «Рекъ Боянъ и Ходына», «Ольгова коганя хоти»).

Джафаров Г. Заметки по этимологии слова «харалуг». — Изв. АН Азерб. ССР. Сер. лит., яз. и искусства, 1966, № 1, с. 84—92.

Попов А. И. «Каяла» и «Канина» в «Слове о полку Игореве». — Рус. литература, 1967, № 4, с. 217—218.

Виноградова В. Л. Еще одна догадка о «стрикусы» «Слова о полку Игореве». — ИОЛЯ, 1969, т. 28, вып. 1, с. 71—74.

Дылевский Н. М. Выражение «копие приломити» в «Слове о полку Игореве» как отражение дружинной идеологии и как фразеологизм древнерусской лексики. — ТОДРЛ, Л., 1969, т. 24, с. 21—25.

Евгеньева А. П. Несколько замечаний к истории и употреблению в русском литературном языке слов «рокотать» и «трепетать». — ТОДРЛ, Л., 1969, т. 24, с. 26—31.

Золотов Ю. М. О Трояне «Слова о полку Игореве». — Сов. археология, 1970, № 1, с. 261—263.

Яценко Б. Про Троянь. — Архіви України, 1970, № 6, с. 34—43.

Жуковская Л. П. Два замечания о методике изучения «Слова о полку Игореве». — ИОЛЯ, 1971, т. 30, вып. 3, с. 255—261.

(Коммент. к словам: «спала князю умь похоти»).

Колесов В. В. «Растѣкашеться мыслию по древу». — Вестн. Ленингр. ун-та, 1971, № 2, вып. 1, с. 138—139.

Мещерский Н. А. К интерпретации чтения «с три кусы» в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Проблемы истории феодальной России: Сб. статей к 60-летию проф. В. В. Мавродина. Л., 1971, с. 93—97.

Соболевский В. Ф. К вопросу об истолковании фразы «Спала князю умь похоти» в «Слове о полку Игореве». — ИОЛЯ, 1971, т. 30, вып. 3, с. 249—255.

Супрун А. Е., Брудный А. А. «Обѣсися синѣ мьглѣ». — ТОДРЛ, Л., 1971, т. 26, с. 202—211.

Яценко Б. Коментуючи безсмертну поему...: (Два зверення до Руської землі у «Слові о полку Ігоревім»). — Радянське літературознавство, 1973, № 7, с. 33—38.

Дылевский Н. М. Некоторые лексические элементы «Слова» в свете словарных данных современного болгарского языка. — В кн.: Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков: К 80-летию члена-корр. АН СССР С. Г. Бархударова. М., 1974, с. 27—35.

(Толкование слов: «връху древа», «кають», «полозие», «на Канину»).

Трубачев О. Н. Еще раз мыслию по древу. — В кн.: Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков: К 80-летию члена-корр. АН СССР С. Г. Бархударова. М., 1974, с. 22—27.

Дмитриев Л. А. Два замечания к тексту «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 285—290.

(Толкование слов: «истягну», «соколъ въ мытехъ»).

Дмитриев Л. А., Творогов О. В. «Слово о полку Игореве» в интерпретации О. Сулейменова. — Рус. литература, 1976, № 1, с. 251—258.

(О методике истолкования «темных мест»).

Дригалкин В. И. К вопросу о «темных местах» «Слова о полку Игореве». — В кн.: Этимологические исследования по русскому языку. М., 1976, вып. 8, с. 66—71.

(Толкование слов: «къ... богородици Пирогощеи»).

Захаров В. А. Что означает «...до куръ Тмутороканя» в «Слове о полку Игореве»? — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 291—295.

Лихачев Д. С. Гипотезы или фантазии в истолковании темных мест «Слова о полку Игореве». — Звезда, 1976, № 6, с. 203—210.

(О методике истолкования «темных мест»).

Мещерский Н. А. Из наблюдений над текстом «Слова о полку Игореве». — Вестн. Ленингр. ун-та, 1976, № 14. Сер. ист., языкозн., лит., вып. 3, с. 82—87.

(Толкование слов: «дивъ», «луци напряжени», «лучи съпряже», о «припевках» Бояна).

Мулич М. И. «Конець копия въскръмлени...». — В кн.: Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., 1976, с. 55—58.

Прийма Ф. Я. «А мои ти куряни свѣдоми къмети...»: (Опыт комментария). — В кн.: Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., 1976, с. 58—64.

Подлипчук Ю. В. 1) Как начинается «Слово о полку Игореве»?; 2) Прочтение «темного места» в тексте «Слова о полку Игореве»: (сон Святослава). — В кн.: Нравственно-гуманистическая проблематика и художественные искания литературы. Хабаровск, 1977, с. 1—13; 14—30.

Дылевский Н. М. «А Владиміръ по вся утра уши закладаше въ Черниговѣ» в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Восточнославянское и общее языкознание. М., 1978, с. 137—144.

Подлипчук Ю. В. Лексические уточнения двух фрагментов в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Лексика и словообразование: (на материале литературного языка и народных говоров). Хабаровск, 1978, с. 43—55.

(Толкование слов: «кощей», «шереширы», «до куръ»).

Степанов А. Г. Сон Святослава и «синее вино» в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Исследования и материалы по древнерусской литературе: «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI—XVII веков. М., 1978, с. 148—150.

Шервинский С. В. «Дивъ» в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Исследования и материалы по древнерусской литературе: «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI—XVII вв. М., 1978, с. 134—140.

Гребнева Э. Я. Сопоставление значений слова к м е т в «Хронике чехов» Козьмы пражского (XII в.) с к м е т и в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Сопоставительный лингвистический анализ: Межвуз. сб. науч. тр. Куйбышев, 1980, с. 126—134 (Куйбышев. пед. ин-т им. В. В. Куйбышева; Т. 240).

Салмина М. А. Из комментария к «Слову о полку Игореве». — ТОДРЛ, Л., 1981, т. 36, с. 228—230.

(Коммент. к словам: «время бусово», «готския», «неготовами дорогами», «до куръ», «дебрь Кисаню», «съ Дудутокъ», «трудныхъ повѣстии»).

XVIII. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Альшиц Д. Н. Ответ на вопрос: Какие возникают задачи дальнейшего изучения «Слова о полку Игореве»? — В кн.: Сб. ответов на вопросы по литературоведению. М., 1958, с. 37—41.

Гудзий Н. К. По поводу ревизии подлинности «Слова о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.; Л., 1962, с. 79—130.

Лихачев Д. С. Когда было написано «Слово о полку Игореве»? — Вопр. литературы, 1964, № 8, с. 132—160.

Обсуждение одной концепции о времени создания «Слова о полку Игореве». — Вопр. истории, 1964, № 9, с. 121—140.

Зимин А. А. Когда было написано «Слово»? — Вопр. литературы, 1967, № 3, с. 135—152.

Рыбаков Б., Кузьмина В., Филин Ф. Старые мысли, устарелые методы: (Ответ А. Зимину). — Вопр. литературы, 1967, № 3, с. 153—176.

Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., 1970, с. 305—345.

Рыбаков Б. А. О преодолении самообмана: (по поводу книги Л. Н. Гумилева «Поиски вымышленного царства»). — Вопр. истории, 1971, № 3, с. 153—159.

Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, с. 267—282.

Гумилев Л. Н. Может ли произведение изящной словесности быть историческим источником? — Рус. литература, 1972, № 1, с. 73—82.

Дмитриев Л. А. К спорам о датировке «Слова о полку Игореве»: (по поводу статьи Л. Н. Гумилева). — Рус. литература, 1972, № 1, с. 83—86.

Демкова Н. С. К вопросу о времени написания «Слова о полку Игореве». — Вестн. Ленингр. ун-та, 1973, № 14. Сер. ист., языкозн., лит., вып. 3, с. 72—77.

Яценко Б. И. Солнечное затмение в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 121—122.

Демкова Н. С. Проблемы изучения «Слова о полку Игореве». — В кн.: Чтения по древнерусской литературе. Ереван, 1980, с. 67—82.

XIX. АВТОР «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Сидоров Н. П. К вопросу об авторах «Слова о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 164—174.

Назаревский А. А. Автор «Слова о полку Игореве» и его общественно-политические взгляды. — Наук. зап. Київськ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, 1951, т. 10, вип. 3, Філол. зб., № 3, с. 195—212.

Ржига В. Ф. Несколько мыслей по вопросу об авторе «Слова о полку Игореве». — ИОЛЯ, 1952, т. 11, вып. 5, с. 428—438.

Федоров В. Г. Кто был автором «Слова о полку Игореве» и где расположена река Каяла. М., 1956. 174 с.

Щепкина М. В. О личности певца «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1960, т. 16, с. 73—79.

Ржига В. Ф. Автор «Слова о полку Игореве» и его время. — В кн.: Археографический ежегодник за 1961 год. М., 1962, с. 3—17.

Кузьмина В. Д. Мог ли архимандрит Иоиль написать «Слово о полку Игореве»? — ИОЛЯ, 1966, т. 25, вып. 3, с. 197—207.

Зимин А. Когда было написано «Слово»? — Вопр. литературы, 1967, № 3, с. 147—150.

Дмитриев Л. А. Автор «Слова о полку Игореве» и анонимные авторы в древнерусской литературе. — В кн.: Русские писатели: Биобиблиографический словарь. М., 1971, с. 11—18.

Пінчук С. П. Автор «Слова о полку Ігоревім». — Укр. мова и літ. в школі, 1972, № 8, с. 23—28.

Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972, с. 393—515.

Сокол М. Т. К вопросу о творце «Песни о полку Игореве». — В кн.: Некоторые вопросы отечественной историографии и источниковедения: Сб. науч. статей. Днепропетровск, 1976, вып. 3, с. 50—78.

Франчук В. Ю. Мог ли Петр Бориславич создать «Слово о полку Игореве»?: (Наблюдения над языком «Слова» и Ипатьевской летописи). — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 77—92.

Чивилихин В. Память. — Наш современник, 1984, № 3, с. 98—128; № 4, с. 90—130.

а) Боян и автор «Слова о полку Игореве»

Тихомиров М. Н. Боян и Троянова земля. — В кн.: Слово о полку Игореве: Сб. исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 175—187.

Щепкина М. В. О личности певца «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1960, т. 16, с. 73—79.

Высоцкий С. А. Надпись о Бояновой земле в Софии Киевской. — История СССР, 1964, № 3, с. 112—117.

Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. Л., 1968, с. 13—21.

Боровський Я. Особа віщого Бояна в пам'ятках давнього письменства. — Радянське літературознавство, 1970, № 6, с. 49—53.

Гаген-Торн Н. И. Некоторые замечания о «темных местах» «Слова о полку Игореве»: (заметки этнографа). — Сов. этнография, 1972, № 2, с. 55—60.

Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972, с. 410—423, 466—467.

Сокол М. Т. Биографическая ремарка о Бояне. — В кн.: Некоторые проблемы отечественной историографии и источниковедения. Днепропетровск, 1976, с. 23—34.

Шарыпкин Д. М. Боян в «Слове о полку Игореве» и поэзия скальдов. — ТОДРЛ, Л., 1976, т. 31, с. 14—22.

Никитин А. Л. Наследие Бояна в «Слове о полку Игореве»: Сон Святослава. — В кн.: Исследования и материалы по древнерусской литературе: «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI—XVII веков. М., 1978, с. 112—133.

Боровський Я. Б. Віщий Боян із «Слова о полку Ігоревім». — Укр. мова и літ. в школі, 1981, № 10, с. 26—31.

Колесов В. В. Ритмика «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, Л., 1983, т. 37, с. 22—23.

Лихачев Д. С. В защиту «Слова о полку Игореве». — Вопр. литературы, 1984, № 12, с. 80—99.

Никитин А. Испытание «Словом. . .». — Новый мир, 1984, № 5, с. 182—206; № 6, с. 211—226; № 7, с. 176—208.

Робинсон М. А., Сазонова Л. И. Несостоявшееся открытие: («поэмы» Бояна и «Слово о полку Игореве»). — Рус. литература, 1985, № 2, с. 100—112.

XX. «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» В РУССКОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ КОНЦА XVIII—ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

Алексеев М. П. П. И. Прейс в работах над «Словом о полку Игореве»: (К 150-летию со дня опубликования «Слова»). — Докл. и сообщ. Филол. ин-та Ленингр. ун-та им. А. А. Жданова, 1951, вып. 3, с. 221—254.

Сперанский М. Н. Из истории изучения «Слова о полку Игореве» в Московском университете. — ИОЛЯ, 1955, т. 14, вып. 3, с. 288—294.

Дмитриев Л. А. Н. М. Карамзин и «Слово о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1962, т. 18, с. 38—49.

Лихачев Д. С. Изучение «Слова о полку Игореве» и вопрос о его подлинности. — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.; Л., 1962, с. 5—78.

Курилов А. С. «Слово о полку Игореве» и русская историко-литературная мысль конца XVIII—начала XIX в. — В кн.: Материалы и исследования по древнерусской литературе: «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI—XVII веков. М., 1978, с. 151—162.

Моисеева Г. Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980, с. 117—119, 122—124.

Прийма Ф. Я. «Слово о полку Игореве» в русском историко-литературном процессе первой трети XIX в. Л., 1980, с. 73—129.

Моисеева Г. Н., Крбец М. М. Памятники Киевской Руси в изучении Йозефа Добровского. — В кн.: Славянские литературы: IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1983, с. 98—102.





ПОЭТЫ О «СЛОВЕ»

Игорь Шкляревский

Как утонул Ростислав

В конце мая 1093 г. утонул в реке Стугне юный князь Ростислав, брат Владимира Мономаха. Узкая речка с темной водой и вязким илистым дном, темное за давностью веков событие. Темное место — в «Слове о полку Игореве»: «Не тако ти, рече, рѣка Стугна: худу струю имѣя, пожръши чужи ручьи и стругы, рострена къ усту, уношу князю Ростиславу затвори. Днѣпрь темнѣ березѣ плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславѣ, уныша жалобою...».

«Не такая река Стугна. Худую струю имея, пожрала чужие ручьи и потоки, расширилась к устью, юношу князя Ростислава затворила... На темном берегу Днепра плачет мать Ростислава по юному князю Ростиславу, приуныли цветы от жалости...».

В рукописи «Слова», как известно, текст был записан сплошной строкой: «...ростренакусту...».

До сих пор существуют два варианта прочтения этого места: «рострена к усту...»; «ростре на кусту...». Например, у И. П. Еремина: «ростре на кусту».[1] У О. В. Творогова: «рострена к усту» — расширилась к устью.[2] У первооткрывателя «Слова» Мусина-Пушкина: «ростре на кусту».

Но Еремин в своем переводе слово «куст» пропускает: «потопила в омуте у темного берега...».[3]

Устье или куст? И если куст, то почему?

Щемящий вздох автора по загубленной юности Ростислава дошел до нас недосказанным.

---

[1] Слово о полку Игореве / Вступит. статья Д. С. Лихачева; Ред. текста и прозаич. пер. И. П. Еремина. М., 1964, с. 33.

[2] Памятники литературы Древней Руси: XII век / Вступит. статья Д. С. Лихачева; Сост. и общая ред. Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева. М., 1980, с. 386—387.

[3] Слово о полку Игореве / Ред. текста и прозаич. пер. И. П. Еремина, с. 49.

Есть такие места — притягивают... Темные омуты с плакучими ивами, глухие виры под кручами. У них свои тайны — не филологические.

Много раз я перечитывал жалобные строчки о гибели Ростислава и вдруг подумал, что люди во все времена тонули одинаково...

В детстве я тонул в мелкой речке Дубровенке — притоке Днепра (возле Могилева). Весной она разлилась, затопила кусты, а я еще плохо плавал... От страха глотнул воды, хотел вылезти, а куст не пускает к берегу! Я хватался за гибкие ветки, они прогибались — и я уходил на дно. Страх отнял силы, но я догадался и с разрывающимися от боли легкими по дну пошел обратно. Потом долго лежал на берегу Дубровенки и даже плюнул в нее. Не люблю ее с тех пор. Кусты чуть не затворили меня, как Ростислава.

Тысячи костров зажег я на берегах Днепра, Сожа, Припяти, мелких белорусских речек: Грезы, Лахвы, Ислочи, Струменя, Птичи. От истока до устья проплыл по рекам русского севера: Мегре, Сояне, Койде, Золотице. Рыбаки, браконьеры, рыбные инспектора ночевали у моего костра. Рассказывали: «Мотор заглох на пороге, лодку под куст затерло. Перевернулись»; «Вода была большая, мутная, не нашли его... А потом вода спала, а он — под тем же кустом, где затонул...»

Старики, у которых от воды и ветра слезятся глаза — поморы, артельщики, бакенщики, — имеют особую память: большие паводки связаны с несчастными случаями... Так и вспоминают — когда Федор утонул, когда Иван в сетях запутался. Остались только грустные названия: «Иванов куст», «Григорьин омут».

Что же произошло, считай, 900 лет назад с Ростиславом?

Почему в узкой (даже во время паводка не шире 100 метров) Стугне на глазах у брата утонул юный князь — воин, охотник, пловец?.. Из «Повести временных лет» известно, что Мономах пытался спасти Ростислава и сам чуть не утонул. Не умели плавать? Оба брата выросли на Днепре. Нападая, отступая, спасаясь бегством, переплывали реку. Города стояли на берегах рек. На русской равнине, сплошь изрезанной реками, уже возникал культ воды, поэзия воды (Купала)... В «Слове о полку» названы 23 реки! И не просто названы — одухотворены! И князья и дружина — все любили воду, все умели плавать — поневоле научишься...

В ту весну Мономах и Ростислав потерпели поражение и переправлялись через Стугну в спешке. В спину кричали половцы, летели стрелы. Уворачиваясь от стрелы, Ростислав мог потерять равновесие и упасть с коня в воду.

Все равно, держась за повод, не утонул бы... Вероятно, коней загнали. И переправлялись на струге — челноке. Выгребли на куст, хотели выпрыгнуть, челнок перевернулся, ноги не достали дна... Ведь и Мономах чуть не утонул. Охотник. Хладнокровный воин. Однако чуть не утонул. Значит, была преграда, помеха.

Значит, он тоже путался в затопленных кустах, хватался за ветки лозы, они гнулись, кольчуга тянула на дно. Слово «затворила» подтверждает наличие преграды.

Затопленные кусты не пускали Ростислава к берегу, путались ветки и мысли, страх отнял волю... Ведь утопили его дружинники перед этим несчастным походом монаха Григория, как рассказывает Киево-Печерский патерик. Григорий мыл сосуд, дружинники смеялись над ним, он ответил им не смиренно. И дружинники стали его топить.

— Сами утонете, — сказал Григорий.

Если это не легенда, Ростислав, оказавшись в холодной воде, вспомнил зловещее пророчество, хлебнул воды, тело опутал страх...

Жалко Мономаха. Каково ему было — видеть тонущего брата и не спасти. Ведь это на всю жизнь — просящие глаза и последние усилия Ростислава.

Переправлялись, вероятно, в неудачном месте — в закоряженном, заросшем лозой. Когда убегаешь — не до выбора.

Сторонники «устья» вправе возразить: но ведь Ростислав и Мономах могли переправляться в широком месте — в устье Стугны. А был там роковой куст или не было — неизвестно. Ответ один: если Ростислава нашли там, где он утонул, — значит, куст. Если не нашли (или нашли ниже по Днепру) — значит, устье.

Течение Стугны должно было снести его в Днепр.

В «Повести временных лет» о паводке 1093 г. сказано, что Стугна «наводнилася велми тогда».[4] Там же сказано, что Ростислава «искавше обретьша в реце и, вземше, принесоша й Киеву, и плакася по немь мати его, и вси людье пожалиша си по немь повелику, уности его ради».[5]

Нашли в Стугне, иначе летописец назвал бы Днепр. Да и не найдешь весной в Днепре тело. За день снесет за десятки километров. И сейчас весенние паводки Днепра — лавина мутной воды. Тогда они были еще мощнее. А кругом рыскали половцы. Победив Мономаха и Ростислава, они собирались осадить Киев. Ростислава нашли под тем же кустом, где он утонул.

Оставалось для меня неясным слово «ростре». «Ростре на кусту...»

И вот оказалось (благодарю А. Н. Робинсона, указавшего мне на это), что И. И. Срезневский к слову «ростр҄ѣти, ростру» «Слова о полку Игореве» дает значение «затереть».[6] Без лингвистики все-таки не обошлось.

Затянула (затерла) под куст князя юного Ростислава — затворила на дне возле темного берега. Плачет мать Ростислава...

---

[4] Памятники литературы Древней Руси: Начало русской литературы. XI—начало XII века. М., 1978, с. 230

[5] Там же.

[6] Срезневский, т. 3, с. 172.

После «затворила» — нет точки и Днепра нет. Есть дно при темном береге. Темный, как я думаю, — не скорбный, а просто темный, мутный. Вода Днепра и его притоков — темная, особенно весной; берега большей частью глиняные. Мутная была вода, потому и не спасли. Оправдательный эпитет. Ведь утонул на глазах князь! А что увидишь в мутной воде да еще под стрелами половцев?

В строке «затвори дне при темнѣ березѣ» слышится Днепр, и географически он — неподалеку, но это всего лишь звуковой мираж, свойство великой поэзии, когда слышишь больше, чем сказано.

* * *

В сентябре 1983 г. в Киеве закончился международный съезд славистов, и мы поехали в Белую Церковь. Автобус остановился перед мостиком. Еще не высохла утренняя роса, и не все пошли лугом к реке. Не клевало. В сентябре карась и карп уже капризничают, а в октябре зарываются в ил до весны.

Это была Стугна.

Мы стояли на берегу узкой темной речки, не так уж далеко от ее впадения в Днепр. Странно, ничто не шевельнулось в душе. Медленно текла Стугна, блестело на воде косое солнце, молчали в лодках рыбаки. И я подумал, что Стугна в «Слове» — тревожнее, глубже. В нее смотрел великий поэт...

Вот и все. Мы поехали дальше.





Андрей Чернов

Поэтическая полисемия и сфрагида автора в «Слове о полку Игореве»

Ни одно произведение древнерусской литературы так не искушает читателя стать исследователем, как «Слово о полку Игореве».

Попробуем показать, что главная из причин тому — бесконечная полисемия «Слова», основанная на поэтике непрекращающихся переосмыслений словесного материала. Переосмысляются Автором, превращаясь в яркие метафоры, феодальные клише.[1] Переплавляются в пламени поэтики «Слова» элементы фольклорные и книжные — славы, плачи, обрядовая лирика, мотивы славянских и тюркских мифов, стихи церковных песнопений, припевки Бояна, строки летописных преданий и воинских повестей. Постоянная борьба поэта с энтропией ведет к концентрации смысла, к череде метаморфоз ритма, к каскаду рифм и аллитераций.[2]

Анализ полисемантических особенностей памятника вне зависимости от ритмического анализа выявляет стиховую природу «Слова».

Считается, что большинство темных мест говорит о порче «Слова» временем. Осмелюсь утверждать обратное: «темные» места поэмы — свидетельство особых законов строения средневекового стихового языка.[3]

---

[1] См.: *Лихачев Д. С.* Устные истоки художественной системы «Слова». — В кн.: Слово о полку Игореве. М.; Л., 1950, с. 58.

[2] См. стиховую разбивку и комментарий в кн.: Слово о полку Игореве / Сост. А. Е. Тархов; Науч. ред. В. В. Колесов; Коммент. А. Чернова. М.: Молодая гвардия, 1981.

[3] «Созвучны и слова, означающие гнев и корабль. К подобным выражениям часто прибегают, чтобы затемнить стих, и это называется двусмыслицей... Подобные слова можно так ставить в поэзии, чтобы возникла двусмыслица и нельзя было понять, не подразумевается ли что-нибудь другое, нежели то, на что указывает предыдущий стих» (*Стурлусон С.* Младшая Эдда. Л., 1970, с. 179).

Игра смыслами пронизывает всю поэму буквально от заглавия до «аминя». Древнерусское *полк* — поход, битва, войско. «Слово о полку» — слово о походе, войске и битве... Но гражданский пафос поэта особо выделяет одно из значений слова *полк*. Дважды Автор воскликнет: «А Игорева храброго полку не воскресить!» И проходящий через весь текст плач о дружине горестным эхом отражен в последней фразе поэмы. Перевод *Слава князьям и дружине. Аминь.* — первый смысл.

Аминь — истинно, верно, подлинно. Конечное положение *аминя* в церковных текстах определило и народную этимологию: аминь — конец. И поскольку союз *а* мог быть соединительным, а мог и разделительным (либо противительным), вспомним, как читали последнюю фразу Первоиздатели, Жуковский, Пушкин и Срезневский: князьям слава, а дружине — аминь! Такое чтение подтверждается звуковым повтором. При произнесении по архаическим нормам древнерусского языка слышна рифменная метаморфоза: А дружИНЕ АмИНЕ.[4]

В «Словарь-справочник Слова о полку Игореве» (Л., 1965, вып. 1, с. 37—38) попал пример, демонстрирующий игру двумя значениями *аминя*: «сътвори пред сущими ту послѣднюю молитву... запечатлѣвъ воистину послѣднее „аминь“... успе блаженым сном и неизреченнымъ». Тут *аминь* — и 'воистину', и 'конец земного бытия'. Как, впрочем, и в «Слове».

Во фразе *княземъ слава а дружинѣ...* смысл, видимо, не такой уж и невинный. Автор полемизирует с дважды произнесенной формулой феодального этикета:[5] дружины «ищут себе чести, а князю славы»,[6] ведь после поражения удел князей — плен и бесчестие, слава же отдается павшей дружине. Ну а с другой стороны, *дружине — амине*.

Однако за что петь славу тем, кто «не с честью проливал кровь поганых», кто перед походом похвалялся: «прошлую славу похитим, а грядущую поделим», кто «выскочил из дедовой славы»? Может, и впрямь последние строки поэмы дописаны переписчиком? Обратимся к тексту: *Пѣвше пѣснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ. Пѣти слава Игорю Святъславичу...*

Так понимали Первоиздатели. Позже *пѣти* было присоединено к предыдущему стиху: *а потомъ молодымъ пѣти*. Получалось гладко, но прямолинейно и бравурно.

Автор начинал «от старого Владимира до нынешнего Игоря», а заканчивает «от Игоря до Владимира Игоревича», протягивая

---

[4] Звучание редуцированных в «Слове» даже в конечных позициях подтверждается десятками рифм и аллитераций, вроде *Святослав(о) — злато, слово, Игор(е) — возрѣ* и т. д. См. об этом в комментариях к упомянутому выше изданию 1981 г. Далее цитирую «Слово» по фонетической реконструкции В. В. Колесова, данной в этом же издании.

[5] См.: *Лотман Ю. М.* Об оппозиции «честь»—«слава» в светских текстах Киевского периода. — В кн.: Труды по знаковым системам. Тарту, 1967, т. 3, с. 100—112 (Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, вып. 198).

[6] Союз *а* тут не соединительный, а противительный.

диахронную вертикаль в будущее. Славу Игорю, Всеволоду и Владимиру Игоревичу по логике этого места споют «потом», когда русские князья наконец объединятся в своей борьбе с Полем.

Так начало и конец поэмы отражаются друг в друге. *Пѣти было пѣснѣ Игореви... — Пѣти: Слава Игорю...*[7]

Переведем почти дословно:

Пели мы славу князьям былым.
А потом — петь молодым.
Петь: Слава Игорю Святославичу,
Буй туру Всеволоду,
Владимиру Игоревичу!

Можно понять и так, что Автор вместе с Бояном поют славу «старым» князьям (в том числе и шестидесятилетнему Святославу), а потом молодым песнетворцам петь славу молодым князьям.

Фонетика не существует без артикуляции, а артикуляция, мимика и жест — едины при произнесении стиха. Исследуя фонетику, мы многое узнаем об интонации, а следовательно, и о смысле.

Многочисленные звуковые повторы позволяют нам говорить о фонетической близости ъ к *о*, а ь к *е* в тексте, сложенном «старыми словесы», т. е. по архаичным для Автора, но закрепленным в песенной традиции речевым нормам.

Пѣвше пѣснь старЫМО князеМО,
а потОМО МОлодЫМО...

Это звучит «старыми словесы» почти как скороговорка.

В «Слове» есть и дразнилка, передающая говор «лебедян»: *И реКО*[8] *ГзаКО КО КОнчаКОви*; и имитация голоса утки: *стрежаще ЕГО ГОГОлемь на воде*. Плач и смех — эмоционально близки.[9] Но одно дело, когда слушатели хохочут над клекотанием Гзака с Кончаком, другое — смех над князьями. Видимо, речь все-таки о молодом ученике-поэте, который «потом» будет петь Игорю и другим молодым князьям. А покуда он молод и робок: «мо-мо-мо».

---

[7] «Слово» наполнено цитатами Автора «из себя». В начале песни солнце заступает Игорю путь, в конце — *свѣтится на небесе*. В начале *кровавые зори*, а в конце — соловьи *свѣтъ повѣдають*. При Олеге Гориславиче *тогда... часто врани граяхуть... а галици свою рѣчь говоряхуть*, а во время побега Игоря *тогда врани не граяхуть, галицѣ помълкоша*. И голоса, что *уныли, — вьються чресъ море до Кыева*. Таких «самопереосмыслений» в поэме множество, и говорят они о том, что от заглавия до «аминя» текст написан одним художником.

[8] В Екатерининской рукописи не *И рече...*, а *И рекъ Гзакъ къ Кончакови*. Без полугласного ъ фраза непроизносима.

[9] См.: *Лихачев Д. С., Панченко А. М.* «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976, с. 7—32.

Память текста, стройность его художественной логики — верный признак композиционной стройности произведения.

Проверим логическую целостность «Слова». Условно поэма может быть разделена на три части: поход и его последствия—реакция Святослава—возвращение Игоря.

Каждая из частей, и практически и каждая самостоятельная тема в «Слове», развиваются по закону триады. Такая стихийная диалектика Автора не должна нас смущать. Гегелевская триада — наиболее общий закон любого развития.[10] Если бы в поэме были существенные утраты, добавления или перестановки, триадность развития рассказа была бы нарушена.

В зачине поэмы теза — выбор темы и манеры. Антитеза — замышления Бояна. Автор предлагает и два варианта синтеза: сам начинает «от старого Владимира до нынешнего Игоря», а потом заставляет Бояна «свивать славу обаполы сего времени» и петь о князьях XII в. Так синтезируются «старые словесы» и «замышления сего времени».

Принято ограничивать вторую припевку Бояна словами *стязи въ Путивли.* Однако устное слово не знает книжных кавычек: припевка перетекает в рассказ Автора:

Комони ржуть за Сулою.
Звенить слава въ Кыевѣ.
Трубы трубять въ Новѣграде.
Стоять стязи въ Путивли.
Игорь ждеть мила брата Всеволода,
И рече ему буи туръ Всеволодъ...

Инверсия подлежащего и сказуемого выдерживается трижды, и этот тройной хиазм делает последнюю пару стихов почти амебейной. Два поэта разделены целым столетием, а поют вместе, и Авторский голос сплетается тут с голосом Бояна.[11]

Когда умирающий скальд является во сне к своему отцу и слагает прощальную вису, даже современному исследователю не приходит в голову публиковать эти стихи среди наследия отца, а не сына![12] Современники Автора, верившие слову поэта куда больше нас, должны были верить, что устами Автора вещает сам Боян.

В поэме, видимо, нет перепутанных страниц. Есть два плана повествования: от автора и «от Бояна». Автор рассказал о выступ-

[10] В древнегреческой драме триада — это композиционный принцип: строфа—антистрофа—эпод. Мы же говорим о логической триадности «Слова».

[11] Иначе решает проблему амебейности текста Д. С. Лихачев в статье «Предположение о диалогическом строении „Слова о полку Игореве"» (см. наст. сборник, с. 9—28). Но у нас речь не о бытовании поэмы, а о метафорическом диалоге Автора с Бояном. Перетекание речи героя в авторскую справедливо и для «Золотого слова», у которого тоже нет ясного окончания. Очевидно, такие «перетекания» осознавались как особый поэтический прием: когда это нужно Автору, он умеет отделить слова одного героя от слов другого.

[12] Поэзия скальдов. Л., 1979, с. 162, 163.

лении Игоря и затмении, потом воскресил Бояна, и тот начинает издалека, с рассказа о сборах в поход. Поэтому предшествующий походу монолог Всеволода перенесен, и о затмении говорится дважды. Но во второй раз вместо Автора и вместе с Автором говорит Боян. Так синтезируются замышления Автора и Бояна, и это неизмеримо умножало авторитетность текста.[13]

Три дня битвы — тоже триада. Теза — легкая победа первого дня. Антитеза — половцы, идущие «со всех сторон» утром в субботу. Воскресный полдень — страшный, гибельный синтез.

Игорь вышел в Поле на Светлой седмице. Летописец замечает это роковое «изнаночное» сближение: «Так, в день святого воскресения навел на нас господь гнев свой; на реке Каяле навел на нас вместо радости — плач, и вместо веселья — печаль».

О том же говорит и Автор: русские, стяжавшие легкую победу в постную пятницу, именно в воскресенье, «в третий день», перебиты. И уже вовеки «Игорева храброго полку не воскресить!»

Но летописец ищет причину гибели войска и плена князей в грехах Игоря, поэт же глядит в глубину истории, выясняя реальный генезис катастрофы на Каяле. Прерывая описание боя, он вспоминает о «крамолах» деда Игоря, Олега Гориславича. Звон «котор» и «крамол» Олега летел по всей Русской земле. Слышал его Владимир, «затыкавший уши» в Чернигове, «слышал» сам Ярослав Мудрый, заклинавший детей жить в мире. Слышит и поэт: «Что ми шумить, что ми звенить...» И если при Олеге «редко оратаи покрикивали, но часто вороны граяли», то «сицеи рати не слышано!» Автор свивает славу и «гориславу», и потому историческое отступление невозможно перенести в другое место «Слова». Сложнейшие созвучия прошивают стык повествований так, что разорвать их немыслимо.[14]

В самом общем виде логика «Слова» такова.

Первая часть

I. Зачин, начало похода и битвы.
II. Историческое исследование причин поражения.
III. Последствия поражения на Каяле для Русской земли.

Вторая часть

I. Рассказ о Святославе и его сон.
II. Толкование сна боярами.
III. «Золотое слово», слово к князьям и рассказ о Всеславе.

Третья часть

I. Плач Ярославны.
II. Побег Игоря (побег—диалог с Донцом—диалог половцев).
III. «Диалог» Бояна и Ходыны, возвращение Игоря и «слава».

---

[13] Нечто подобное мы встречаем у средневековых авторов, нередко приписывающих свои сочинения авторитетному предшественнику.

[14] См.: Слово о полку Игореве / Сост. А. Е. Тархов, с. 144.

Переплетение триад образует стройную, но не прямолинейную структуру поэмы. Теза второй части — сон киевского князя. Антитеза — толкование сна. Синтез — «Золотое слово».

Логика третьей части: Ярославна плачет—бог слышит—Игорь возвращается. Тройное созвучие скрепляет стык, а точней — переход Плача в Побег: «иМО ЛУЧИ—иМО тУЛы затЧЕ—МОре поЛУноЩИ». Три обращения в Плаче, три части и в Побеге: побег—диалог с Донцом—диалог Гзака и Кончака.

Три развернутых напоминания о князьях XI в. — Олеге, Всеславе и Ростиславе — болевые точки прошлого в рассказе о настоящем. По одной на каждую часть поэмы. Но если рассказы про Олега и Ростислава имеют к судьбе Игоря непосредственное отношение, какая связь предания о Всеславе с событиями 1185 г.?

На седьмомь вѣцѣ Трояни връже Всеславъ жребии о дѣвицю себе любу... Для Всеслава *девица* — Киев. Но и поход Игоря *к сватам* заканчивается кровавой свадьбой: *Ту кръвавого вина не доста, ту пиръ докончаша храбрии русичи: сваты попоиша, а сами полегоша...*

Сваты — это тот же Кончак, а *девица* — Кончаковна, с которой помолвлен еще до похода Владимир Игоревич.

Игорь говорил: «Хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомъ Дону». *Любо* — всего лишь союз. Но вспомним *дѣвицю себе любу*, и союз *либо* словно превращается в наречие. Князю *любо* погрузить в реку золотой шлем. Это обернется невольным самопророчеством: *иже погрузи жиръ въ днѣ Каялы, рѣкы половецкыѣ, рускаго злата насыпаша...*

Хитростью, «клюкой» оперся Всеслав на коней, которых требовали киевляне у Изяслава. Хитростью, тайно от Святослава, выступает Игорь, чтобы похитить славу киевского князя.

Всеслав сидел в порубе и был освобожден при подходе половцев. Игорь — первый русский князь, попавший к ним в плен.

Всеслав в полночи бросил киевлян, не разделив их ратной судьбы. Игорь в полночи бежал из плена, оставив брата, племянника и сына (или даже двух сыновей) на милость врага.

Всеслав судил людям суд, а сам оборачивался волком, перебегал Хорсу путь и за ночь поспевал от Киева до Тьмутороокани. Перебежав солнцу путь, Игорь обрек свою дружину на гибель, а землю на поругание. Потом, превращаясь в горностая, гоголя и волка, от Тьмутороокани прыгнул к Киеву.

Всеслав расшиб славу Ярослава, Игорь, носивший, как и Ярослав, христианское имя — Георгий, хотел «похитить» славу прошлых князей, но «выскочил из дедовой славы», славы Ярослава Мудрого.

Всеслав отворял «в три удара» ворота Новгорода, а Новгород-Северский князь в трехдневной сече отворил ворота половцам на Русь.

У Всеслава была Немига, где кровавые берега реки засеивались костьми русских сынов. У Игоря — Каяла: «Черна земля под копытами костьми была засеяна...»

Автор пытался угадать, как бы запел Боян Игорю. Но только ли Всеславу говорит Боян припевку: «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду, суда божия не минути»? Ответ, как это бывает в загадках,[15] уже произнесен: «Ни хытру, нИ ГОРазду...» Совсем, как в другом месте, когда по созвучию с собственным именем Игорь превращается сначала именно в горностая: «поскочИ ГОРностаемъ...»

Итак, Боян обращается и к Всеславу, и к Игорю. Имя Игоря в первых же словах припевки запечатано анаграммой. Судьба Всеслава и судьба Игоря в «Слове» подробно сопоставлены, и про Всеслава рассказано лишь то, что откликается эхом в судьбе Игоря. Обоим за причиненные Руси страдания «суда божия не минути». (Тут, видимо, имеется в виду не сама смерть, а «божий суд» над душой после смерти).[16]

Замечательна и магическая кратность дат. Всеслав бросил свой жребий на седьмом, последнем веку Трояна. Игорь — в лето от сотворения 6693-е, т. е. за семь лет до окончания седьмого столетия седьмого тысячелетия. «Век» по-древнерусски — «тысяча лет». Значит, и Всеслав, и Игорь (внук Трояна) бросают жребий «на седьмомь вѣцѣ Трояни». Так поэт включает нас в калейдоскоп исторических реминисценций, и они становятся явными, когда мы начинаем ощущать текст не как ряд случайных эпизодов, а как стройное, развивающееся единство, полное не только линейного, логического, но и ассоциативного, поэтического смысла.

У великого художника система доказательств не менее строга, чем у Ньютона, только строится она не на формальной логике, а на логике художественной. Ученый стремится к терминологичности, поэт же, напротив, к многозначности, к расширению семантического поля слова. Комментируя, скажем, строки *которыи дотечаше, та преди пѣснь пояше...*, ученый избавится от ненужной ему двусмысленности. Что такое *та прежде песнь пела*? Прежде чего? Прежде других? В прежние времена? Но для поэта ценен как раз такой семантический дуализм. Ав-

---

[15] Сравним: ЧЕРный КОнь прыГАет в огонь (ко—чер—га).

[16] Еще один вероятный адресат припевки «ни хитру, ни горазду, ни птицу горазду...» — заключенный в гриднице Святослава хан Кобяк. По-древнерусски «кобение» — гадание по полету и крику птиц. В тексте XI в. встречаем: «Овъ кобени пътичь смотрить». «Кобник» — гадатель по птицам. В тексте XIII в.: «вълховъ и кобникъ хитръ» (Сл. РЯ XI—XVIIвв., вып. 7).

Заметим, что Бояну может принадлежать лишь первая в «Слове» припевка. Во второй, перетекающей в речь самого Автора, упомянута историческая конкретика лета 1185 г. со славой Святослава, звенящей в Киеве после похода 1184 г., и с тем вызовом, который кинули ей Новгород-Северские трубы и Путивльские стяги Игоря. В третьей припевке анаграмма И—ГОРь, о четвертой см. ниже.

тор нередко сближает омонимы: *любо* и *любо, копие приломити конець поля Половецкого* и *конец копия въскормлени* и т. д. Однако если бы этим и ограничилась полисемия поэтической речи, решить все проблемы можно было бы с помощью словаря.

Игорь и Всеволодъ уже лжу убудиста которою, ту бяше успилъ отець ихъ Святъславъ...

И в другом месте: *...на землю Рускую, на жизнь Всеславлю. Которое бо бѣша насилие отъ земли Половецкыѣ.*

Котора — существительное «усобица», а *который* в примере про соколов и лебедей — местоимение. Но существительное *котора* оба раза поэт поставил так, что на слух оно может пониматься и как местоимение.

Приведем еще несколько из многих подобных мест «Слова».

Мыслью или мысью (белкой) взмывал Боян по Мировому Древу? Кажется, все-таки мыслию, ведь и само Древо названо в поэме мысленным. Значит, править *мысль* на *мысь* нельзя. Но необходимо ощущать присутствие этой самой белки-мыси, иначе нарушается эмблемная триада Мирового Древа, известная по скандинавской поэзии: орел—белка—волк.

Взмывая подобно скандинавской белке, сновавшей по Древу Мироздания и переносившей вести из заоблачного мира на землю, вещий Боян ведал тайны иных миров, знал прошлое и грядущее, почти как путешествующие по трем мирам вселенной герои и колдуны древних народов.[17] Потому-то он, «вещий», и может спеть припевку Игорю.

Эпитет к Древу (мысленное, воображаемое) говорит о том, что Древо для Автора уже не мировоззренческая, а поэтическая конкретность. Интересно, что в XII в. после окончательной победы христианства над язычеством древние мифологические мотивы вновь начинают звучать и у скальдов. Но с XIII столетия скальдическая поэзия перестает быть устной и вскоре отмирает.[18]

Видимо, судьба русской дружинной поэзии, при всех ее отличиях от скальдической поэзии, складывалась в чем-то похоже.

Д. С. Лихачев предположил, что выражение «копия поють» означает «идет бой». Действительно, у скальдов «песня копий» — битва.[19] Однако Автор вовсе не механически использует этот оборот, ведь копья Рюрика и Давыда поют «розно», и это целиком согласуется с исторической реальностью лета 1185 г.

Двустишие Эгиля Скалагримсона — «Кукушка не кукует, коли кличет сокол» — косвенно может объяснить, почему молчат птицы, когда в погоне за Игорем Гзак и Кончак обсуждают судьбу «соколенка», Владимира Игоревича.

---

[17] Интересно, что образ Бояна все же несколько снижен по сравнению с образом архаических шаманов. Три эмблемы Древа в «Слове» относятся не к трем мирам, а к трем ярусам «срединного мира». Выше облаков и в глубь земли Боян не проникает.

[18] Поэзия скальдов, с. 115.

[19] *Стурлусон С.* Круг Земной. М., 1980, с. 647.

Скандинавский кеннинг правителя «древо града» напоминает о «кнесе», князьке (охлупне) на крыше златоверхих палат Киевского князя. Вглядимся в логику метафоры.

Описано Мировое Древо с эмблемами трех его ярусов. Гордо встали путивльские стяги. Солнце преградило путь, но упомянутый в древнерусских поучениях в числе языческих богов Див [20] «кличет на вершине Древа», и поход продолжается. Но вот стяги Игоря упали, Древо с тугой склонилось к земле, терем Киевского князя стоит без князька, и с преклоненного Древа падает на землю Див.

Значит, Див — олицетворение темной стихийной архаики: гордыни и «похоти». Див повержен, как стяги, сметен с вершины Древа, ибо оно «не добром листву сронило». Символизирующие Мировое Древо русские прялки нередко венчает птица-дева Сирин.[21] Но поверженный с Древа Див и обращается в деву-обиду с лебедиными крылами. И вот Автор призывает всех князей «склонить стяги», ведь они «розно веют».

Вновь упомянуто Древо в разговоре Игоря с Донцом. Поскольку Див уже сметен с вершины уронившего листву Древа, а тут Древо «зеленое», да еще под его сенью расстилается зеленая трава (вспомним «зеленую паполому» Бориса!), вероятно, прав Г. В. Сумаруков,[22] считающий, что это — реминисценция обрядового установления зеленого деревца и расстилания травы на Троицу. По рассчитанной Сумаруковым хронологической таблице именно в Троицу Игорь и прощается с Донцом. Значит, «зеленое древо» — альтернатива языческому Древу с его гордым Дивом, как Пирогощая — альтернатива гордыни.

Но двоеверие поэта XII в. сказывается в самой структуре его мышления. Для архаического мышления любое совпадение — знак или знамение. Вспомним о «магической темноте» скальдов или о «темном стиле» поэтов Прованса того же XII столетия. Мировоззрение у них христианское, а пристрастие к полисемии — языческое.

Тоже и у Автора. Затыкал Владимир Мономах уши или закладывал уши (скобы) городских ворот бревном?

Вторая трактовка подкрепляется историческим контекстом, угаданным А. Н. Майковым и аргументированным Б. А. Рыбаковым.

Первая — словами самого Автора: «Тои же звонъ слыша давныи великыи Ярославь...» Ярослав слышал, а Владимир «уши

---

[20] См. статью «Див» в энциклопедии «Мифы народов мира» (М., 1980, т. 1), а также Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 1, ст. «Берегиня»: «...тѣмъ же богомъ требу кладуть и творять и словеньскыи языкъ кланяется виламъ и мокошьи, дивѣ, перуну, хърсу...».

[21] Приношу благодарность А. Латынину за эту подсказку. Грифон и Сирин, видимо, — «заместители» Дива, как на прялках XIX в. царский орел.

[22] *Сумаруков Г. В.* Кто есть кто в «Слове о полку Игореве». М., 1983; замечание об обрядовом календаре — устное сообщение.

закладаше». Разумеется, не от страха, а от негодования. «Уши укланяя от зла слышания», — читаем в Изборнике Святослава 1076 г.

Б. А. Успенский упоминает полесское выражение «ужи закладать» — наводить порчу. В древности насылание болезни представлялось как насылание змей или червей.[23] Но известен неолитический культ ужей, с которыми связывалось представление о дожде и об охране жилища. Постройка неолитического дома начиналась с «закладывания ужей», с рисунка безвредных змеек на месте будущего жилища.[24]

Видимо, позднее такие изображения стали почитаться за колдовство, а память об охраняющих жилище ужах (например, от мышей) сохранилась в созвучном выражении, известном нам по «Слову»: «уши закладать» — запирать ворота.

Есть в «Слове» и «двуязыкая» полисемия. Всеслав из Киева дорыскивал «до куръ Тьмутороканя». Учитывая, что древнерусское *куръ* — петух, а тюркское *кура* — стена, можно перевести: «дорыскивал до пения петухов до стен Тьмуторокани».

Любопытно, что именно в рассказе о князе-оборотне Всеславе, обладавшем «вещей душой в двух телах», Автор достигает предельной концентрации бисемантических оборотов. Это еще раз говорит о том, что «магическая темнота» понималась как умение «вещее», а не как бессмыслица испорченного книгописцем текста.

* * *

Проследив некоторые закономерности поэтики «Слова», раскроем одну из «самых трудных» страниц поэмы: *Рекъ Боянъ и ходы на Святъславля пѣстворца стараго времени Ярославля Ольгова Коганя хоти...* Последнюю попытку распутать и объяснить это темное место сделал А. В. Соловьев.[25] Он согласился с И. Е. Забелиным, что ни одной буквы в этом тексте менять не нужно. Следует только правильно разделить слова, не понятые А. Ф. Малиновским и Н. Н. Бантыш-Каменским при подготовке первого издания «Слова»: *Рекъ Боянъ и Ходына, Святъславля пѣстворца стараго времени Ярославля, Ольгова коганя хоти.* Получается: «Сказали Боян и Ходына, Святославли песнетворцы (правильное двойственное число!) старого времени Ярославова, любимцы князя Олега».

Сейчас уже мало кто из исследователей сомневается, что Ходына — имя песнетворца.

---

23 *Успенский Б. А.* Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982, с. 69.

24 *Рыбаков Б. А.* Язычество древних славян. М., 1981, с. 165, 171.

25 *Соловьев А. В.* Восемь заметок к «Слову о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1964, т. 20, с. 365—385.

Действительно, в древнерусском языке сказуемое перед двумя подлежащими нередко согласуется с первым и стоит в единственном числе.[26]

Итак, Боян и Ходына — песнетворцы Святослава Ярославича, о котором известно, что он любил пение и игру на гуслях.

Заканчивая разбор этого места, А. В. Соловьев делает справедливый вывод: «Имя „Ходына“ никак нельзя считать вставкой». К сожалению, женевский исследователь, видимо, не знал, что за четырнадцать лет до появления его работы другой комментатор пришел к тому же результату.[27] Иначе как объяснить, что из восьми заметок А. В. Соловьева именно четвертая («Рекъ Боянъ и Ходына») практически повторяет работу И. Д. Тиунова?[28] (Позднее мы увидим, как библиографическое упущение обернулось в следующей, пятой, «заметке» досадными неточностями).

А. В. Соловьев возразил против перевода фразы *Ольгова коганя хоти,* полагая, что если бы тут действительно имелись в виду «любимцы когана Олега», то в двойственном числе было бы не *хоти,* а *хотя* (от существительного мужского рода *хоть*).

Рассуждал комментатор так: в русском языке *конь,* но *два коня,* значит, *хоти* — женского рода.

Ссылка на «русский язык» — конечно, аргумент весьма странный. По древнерусским грамматическим нормам *хоть* (м. р.), очевидно, должно склоняться как существительное не второго, а четвертого типа (как *гость, зять, тесть, тать*), и в именительном падеже двойственного числа его форма — *хоти.*

Далее А. В. Соловьев указывает «на странную ошибку И. И. Срезневского», который, приведя четыре примера из пророка Иезекииля, где *хоть* значит «любовник», почему-то в первом случае перевел это как «любимец».

Автор «Восьми заметок...» бросает своим оппонентам довольно резкое: «Боян и Ходына не могли быть „хотями“ князя Олега, иначе его следовало бы обвинить в педерастии».[29] Энергичный аргумент (почти угроза!) произвел впечатление: фразу *Ольгова коганя хоти* теперь все чаще трактуют как обращение к жене Олега Гориславича. (Напомним, что такую трактовку предложил еще В. Н. Перетц).

В чем же неправ А. В. Соловьев? Он пишет: «...слово „хоть“ говорит именно о плотской связи, происходя от глагола „хо-

---

[26] Пример можно было бы взять и из «Слова», ведь эпизод, предшествующий упоминанию Бояна и Ходыны, начинается с аналогичной конструкции: *ѣздить Гзакъ съ Кончакомъ.*

[27] *Тиунов И. Д.* Несколько замечаний к «Слову о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве: Сборник исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950, с. 196—203.

[28] Ссылка на статью Тиунова у Соловьева есть, но по частному поводу. В ссылке перепутаны инициалы предшественника, название статьи, неточны выходные данные.

[29] *Соловьев А. В.* Восемь заметок..., с. 377.

теть". Именно по-чешски chot' (м. р.) значит „муж"; chot' (ж. р.) — „жена, супруга". Последнее значение мы найдем в „Слове о полку Игореве": „Забыв чти... и своя милыя хоти красныя Глебовны свычая и обычая". Здесь И. И. Срезневский правильно перевел „хоть" как „желанная, милая, жена"».[30]

Почему-то для комментатора глагол *хотеть* говорит только о «плотском желании». Но если следовать такой логике, как быть со словами Игоря про то, что он «хочет копье преломить» и «хочет» сложить голову со своими русичами? Что делать с Бояном, который «если кому хотел песнь сложить, то растекался» и т. д.? Нетрудно заметить, что по логике автора «Восьми заметок...» вещий песнетворец и оказывается гомосексуалистом! И уж совсем не хочется, следуя за комментатором, думать о том, какая такая «похоть» иссушила Игорю ум.

И разве Автор «Слова», говоря о Буй Туре и красавице Глебовне, намекает на их плотские (хотя и в законном браке!) отношения? Можно ли так линейно понимать «свычаи и обычаи», а заодно и вообще слово поэта? Срезневский действительно неправильно перевел *хоть* в библейском тексте. Но «милая» и «желанная» — еще не значит «наложница», равно как в мужском роде «милый и желанный» — не всегда «любовник».

В церковной литературе мы не нашли слова «хоть», но не раз мелькает «любеникъ», «любимикъ», «люблеником», «любникъ», «любовникъ» в значении 'любимец', 'друг', 'сторонник', 'приверженец' (Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 8). Многократно зафиксировано древненовгородское имя Хотъ, Хотен.[31] Название Гатчины пошло от названия старинного села Хотчино; в Подмосковье есть город Хотьково. А в XVII в. мелькает фамилия Ивана Хотмышенина. Добавим и древнерусское *доброхотъ*.

Впрочем, сам же А. В. Соловьев и говорит, правда, вскользь и глухо, что в старочешском зафиксировано chot' (м. р.) — «желанный муж». А поскольку исторически возможно лишь семантическое снижение подобной лексики (желанный—возлюбленный—любовник—прелюбодей) и совершенно невозможна реабилитация уже сниженного значения, стало быть, в «Слове» (как в новгородском *хоть,* как в старочешском варианте этого слова) мы имеем дело с первоначальным, несниженным его значением.

Вспомним еще, что в «Слове» *хоть* Изяслава говорит поверженному на кровавую траву князю: «Дружину твою, князь, птицы крыльями приодели...» И хотя это место тоже довольно трудное и мы не знаем, кто этот *хоть* — наперсник или песнетворец, все же из контекста ясно, что он не может быть ни женой, ни наложницей.

---

[30] Там же. См. также: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1985, с. 230—233.

[31] *Медынцева А. А.* Древнерусские надписи новгородского Софийского собора. М., 1978, с. 102. См. также рецензию В. П. Яйленко на эту книгу, где исправлено чтение надписи № 200 — «хотец» на «хотен» (Советская археология, 1983, № 4, с. 232).

Не учитывает исследователь и исторического аспекта, того самого «героико-христианского характера поэмы», о котором так часто пишут в нашем «Слово»ведении. Если у современной Автору «Слова» средневековой латинской поэзии (и вообще у средневековой культуры) было два корня — один в античности, другой в христианстве, то корни поэзии творца «Слова» соответственно в языческом фольклоре и в древнерусском христианстве. Приведем рассуждение М. Л. Гаспарова по поводу поэзии вагантов: «„Песнь песней“ толковалась в христианстве аллегорически — как брак Христа с церковью. Но это толкование открывало путь эротическим образам во всю религиозную и — шире — во всю христианскую поэзию средневековья».[32]

На Западе этот процесс начинается уже с XI в. Есть ли у нас уверенность, что песнетворцы Древней Руси знали «Песнь песней», а тем более пережили влияние ее поэтики подобно своим западным «коллегам»? Разумеется, априори — нет.

Но дело даже не в гипотетических библейских реминисценциях: у средневековых поэтов Запада и Востока принято говорить о любви к правителю. У Низами третья же строка «Сокровищницы тайн» гласит: «На дороге любви к тебе — песню пою». Речь вовсе не о любви к «жене», как могло бы показаться, а о любви к Бехрамшаху. И написано это, кстати, при жизни Автора «Слова». Но куда раньше, за многие столетия до того, древнеанглийский поэт Деор называл себя dryhte dўre — милым государю, государевым любимцем.[33]

Вернемся, однако, к досадному библиографическому упущению А. В. Соловьева, который, хотя и ссылался на работу И. Д. Тиунова, все же не учитывал ее в своем анализе. Новаторство Тиунова (правда, тоже не абсолютное) — в перестановке знака. Он предложил читать «старого времени Ярославля Ольгова» и убедительно обосновал такое чтение ссылкой на само «Слово»: *минула лѣта Ярославля, были плъци Ольгови.*[34]

Тогда *коганя хоти* — уже просто «государевы любимцы», а не «любимцы когана Олега». Именно подобный оборот использует в конце своей небольшой поэмы и Деор. Так отпадает необходимость и в изобретении неведомой, а главное, — совершенно ненужной «жены Олега».

В начале «Слова» Автор обмолвился: *Боянъ... аще кому хотяше пѣснь творити...* Это значит, что Автор утверждает примерно следующее: Боян творил песнь только «кому хотел» и «если хотел»! В конце поэмы — зеркальное отражение этой фразы: «Боян и Ходына... песнетворцы... коганя хоти»! Боян «хочет творить» песнь тому, для кого песнетворцы — хоти. Речь о «взаимности» певца и правителя ведет и древнеанглийский

[32] Поэзия вагантов / Изд. подгот. М. Л. Гаспаров. М., 1975, с. 426.
[33] *Lehnert M.* Poetry and prose of the Anglo-Saxons. Berlin, 1955, p. 23.
[34] *Тиунов И. Д.* Несколько замечаний..., с. 203.

поэт Видсид. Правда, у него мера взаимности несколько иная. Поэма Видсида начинается с того, что он «раскрывает слово—сокровищницу» для государя, а с середины до последней строки описывает, как, когда и чем государи его за это награждали.

Мы видим, что тиуновское осмысление текста вновь и вновь подтверждается и самим «Словом», и поэтикой средневековых авторских стихотворных произведений. «Таким образом, — пишет И. Д. Тиунов в заключении, — не требуется никаких исправлений в этом многострадальном от конъектур тексте, и получаем следующий перевод: „Сказали Боян и Ходына, Святославовы песнетворцы, песнетворцы о старом времени Ярославовом — Олеговом, великокняжеские любимцы“».[35]

Представим в стиховой записи.

Рекъ Боянъ и Ходына,
Святъславля пѣсньтворца
старого времене
Ярославля — Ольгова
коганя хоти...

Переведем дословно:

Изрекли Боян и Ходына,
оба Святославовы песнетворцы,
старого времени
Ярославова — Олегова
государевы любимцы оба...

Темное место оказывается на поверку удивительно прозрачным. Нет даже необходимости дублировать слово «песнетворцы», объяснять его двойное грамматическое подчинение, править хотя бы и в переводе «песнетворцы старого времени» на «песнетворцы о старом времени». Вместо «нагромождения предложений» (А. В. Соловьев) — многозначная смысловая гармония стройной, эвфонически совершенной конструкции. Первый стих[36] эхом откликается в последнем:

реКО бОЯНО И ХОДЫНА
. . . .
КОгАНЯ ХОТИ!

Итак, Боян и Ходына — Святославовы песнетворцы и государевы любимцы. Они же — песнетворцы старого времени, и что

---

[35] Там же.

[36] Стихосложение «Слова» — трудный вопрос, требующий новых специальных исследований. Очевидно, термин «стих» может быть применен к древнерусской «поэме» лишь весьма условно, как, например, к старочешскому «безразмерному» стиху (см.: *Панченко А. М.* Перспективы исследования истории древнерусского стихотворства. — ТОДРЛ, М.; Л., 1964, т. 20, с. 256). Там же автор пишет о «традиции искусственного произношения редуцированных» (с. 263), которая на материале «Слова» подтверждена нами десятками примеров их рифменного звучания.

еще более акцентировано: песнетворцы — это старого времени государевы любимцы, т. е. налицо напоминание правителю: де, и само старое время и его государи любили песнетворцев!

Здесь можно буквально утонуть в параллелях из средневековой авторской поэзии. Приведем лишь одну: «Ведь гость я твой, властитель мой!» — восклицает знаменитый скальд.[37]

В глубокой древности у многих народов было распространено парное исполнение эпоса, так называемое амебейное пение. Два певца садились рядом и импровизировали. Первый сочинял либо припоминал стих, второй, несколько изменяя, тут же этот стих повторял, давая время сопевцу вспомнить или сложить следующую фразу. До XIX в. традиция амебейного пения дожила, например, в практике карело-финских рунопевцев, и мы вправе вслед за Д. С. Лихачевым[38] предположить, что «рекъ Боянъ и Ходына» — реминисценция амебейности древнерусской эпической поэзии. Однако если б Боян пел на пару с другим певцом, мы, очевидно, никогда бы не узнали ни имени Бояна, ни имени Ходыны: при двуголосом пении исполнители не считали себя авторами. Амебейное творчество — эпическое, фольклорное, анонимное по самой своей природе сочинительство. В нем явлен архаический, доавторский тип сознания. При двуголосом пении так же невозможна память о том, кто создает песнь, как невозможно отыскать «авторов» древнерусских былин или скандинавских баллад.[39]

Обычно ссылаются на древнеанглийского певца Видсида, у которого вроде бы названо имя другого сопевца: «Мы со Скиллингом возгласили чистыми голосами...»[40] Это единственное исключение из общего правила — плод текстологического недоразумения. Песнетворца Скиллинга никогда не существовало и не могло существовать; хотя он упомянут Видсидом в 103-м стихе, разгадка кроется в стихе 93-м: «владетель готский» подарил певцу обручье в шестьсот монет «счетом на скиллиги». Но это обручье поэт отдал Эадгильсу, «государю любимому» за «вотчину отчью», а Эальххильд потом одарила Видсида новым обручьем. Вот за это Видсид «со Скиллингом» и возгласил ей хвалу «чистыми голосами». Разумеется, обручьем Видсид со Скиллингом не делился, потому что Скиллинг тут — метафора и эвфемизм обручья.[41]

Следовательно, единственная ссылка на имена авторов в гипотетическом амебейном тексте оказывается лишь слишком бук-

---

[37] *Эгиль, сын Грима Лысого.* Выкуп головы. — В кн.: Поэзия скальдов. Л., 1979, с. 11.

[38] *Лихачев Д. С.* Предположение о диалогическом строении «Слова о полку Игореве» (см. наст. изд.).

[39] Скандинавская баллада. Л., 1978, с. 215.

[40] Древнеанглийская поэзия / Отв. ред. М. И. Стеблин-Каменский; ред. перевода О. А. Смирницкая. М., 1982, с. 15.

[41] Пользуюсь случаем поблагодарить О. А. Смирницкую, подтвердившую такое чтение дополнительным аргументом: в оригинале эпитет «чистые» — тот же, что используется для удостоверения чистоты пробы серебра.

вальным и невнимательным прочтением метафоры. Поэма Видсида не могла быть амебейной изначально: утверждать это нет просто никаких оснований. Но мог ли Боян исполнять свои «славы» в паре с другим песнетворцем?

Говоря о Бояне, автор «Слова» всячески подчеркивает его сакральную, вещую природу. По представлениям Автора, «соловей» старого времени наделен почти потусторонним знанием, а все метаморфозы Бояна в орла, соловья, волка — подчеркнуто индивидуальные превращения. Из самого «Слова» ясно, что Боян пел старым князьям отнюдь не амебейно, и появление на последней странице «напарника Бояна» — это с различных точек зрения более чем странный анахронизм, зачеркивающий все то, что было сказано о Бояне в начале поэмы.

Кроме того, если мы не предполагаем какого-то особого пути развития авторского «я» в поэтических текстах Киевской Руси, мы должны отвергнуть предположение о возможной амебейности «слав» Бояна, ведь по всей ойкумене к XI в. поэты, осознававшие себя авторами, не только порвали с архаикой двуголосого пения, но уже на протяжении нескольких веков противопоставляли амебейности состязания поэтов. Они не помогали уже друг другу вести рассказ, а спорили друг с другом, сочиняя на турнирах каждый раз минимум по строфе. И тем более странно, что Боян и Ходына, по свидетельству Автора, «говорят» свою припевку именно так, как пропели бы ее анонимные и архаичные рунопевцы, которые всего лишь варьировали во втором стихе первый: «Тяжко ведь голове без плеч. Зло ведь телу без головы»!

Протестуя против Ходыны как сопевца Бояна, видный филолог и тонкий текстолог М. В. Щепкина писала: «Добро бы это было нечто исключительное, но данная „припевка" ничего чрезвычайного в себе не заключает».[42] Исследователь совершенно справедливо отказывает Ходыне в праве быть соавтором и современником Бояна, ибо верно почувствовала архаическую примитивность двустишия, хотя специальных разысканий и не проводила.

Действительно, трудно себе представить, что Боян, певший Ярославу в одной гриднице со скандинавскими скальдами,[43] еще несколько веков назад простившимися с амебейной традицией, оставил о себе память как о «вещем» песнетворце, будучи всего лишь фольклорным сказителем, исполнявшим «славы» с Ходыной.

Приведем, кстати, еще одно косвенное возражение против амебейности творчества Бояна. Рассматривая на материале арабской средневековой поэзии проблему авторского самосознания, А. Б. Куделин ссылается на арабского филолога X в.: «...ал-Ха-

---

[42] *Щепкина М. В.* Замечания о палеографических особенностях рукописи «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1953, т. 9, с. 21.

[43] Об этом см.: *Шарыпкин Д. М.* «Рек Боян и Ходына...» (К вопросу о поэзии скальдов в «Слове о полку Игореве»). — В кн.: Скандинавский сборник. Таллин, 1973, вып. 18, с. 195—200.

тими в принципе исключает возможность двойного или коллективного авторства. Касыда может быть продуктом творчества только одного человека, а не результатом сотворчества двух и более лиц. Двойная атрибуция произведения возможна лишь по ошибке или вследствие мистификации».[44]

Это мнение средневекового арабского ученого для нас тем ценней, что речь идет не о частном вопросе конкретной стиховой традиции, а об общей закономерности перехода от фольклорного сознания к индивидуально-авторскому. Этот переход у многих народов происходил в средние века, и у нас нет оснований полагать, что тут были какие-то существенные различия. По мнению Автора, Боян сам выбирал, кому творить песнь, и каждый раз, упоминая Бояна, Автор обязательно уточняет, кому адресована «слава» или «припевка», т. е. Боян подчинялся общим для средневековья законам, согласно которым скальды, трубадуры, менезингеры, а также поэты Востока посвящали свои произведения конкретному лицу, а был это правитель или дама сердца — уже не столь важно. Главное, что авторское сознание требовало для диалога второй персонифицированной индивидуальности.

Кому же пел Боян?

Ярославу, Мстиславу, Роману Святославичу.

Этот ряд замечателен сразу несколькими обстоятельствами. Поминая «первых времен усобицы», Боян сразу называет двух князей, сразившихся в 1024 г. в Лиственской битве, но тут же уточняет, что Мстислав прославлялся за свой знаменитый поединок с Редедей, а, очевидно, не за «крамолу» с Ярославом.

Третий князь — молодой Роман Святославич. Между его гибелью (1079) и смертью Мстислава (1036) — четыре десятилетия. Чем же заполнен этот период в «Слове»? Во-первых, упоминанием о припевке Бояна Всеславу, впрочем, весьма двусмысленной. Во-вторых, красноречивым отсутствием припевок «крамольнику» Олегу Святославичу, хотя в «Слове» о нем подробно говорится. В-третьих, не менее красноречиво Автор в начале «Слова» «забывает» об отце Олега и Романа — Святославе Ярославиче. «Забывает», чтобы в конце прямо назвать Бояна «песнетворцем Святослава».

Ниже мы попытаемся объяснить, почему он так поступает, словно приберегая имя Святослава для последней страницы, а пока заметим, что Боян по логике «Слова» связан не с местными черниговскими, а с киевскими князьями, с теми, кого метафорически и впрямь можно назвать «каганами», т. е. государями, а их песнетворцев — «коганя хоти», т. е. «любимцами государей». (Как это делают Деор, Видсид, Низами и другие поэты средневековья).

Но не мог Автор назвать Бояна «Святославовым песнетворцем старого времени Ярославова», потому что это — вне логики:

---

[44] *Куделин А. Б.* Средневековая арабская поэтика. М., 1983, с. 115.

Ярослав умер в 1054 г., а Святослав стал Киевским в 1073 г. Другое дело, если это время — «Ярославово—Олегово», время единства и время усобиц, то время, когда «минули лета Ярославовы — были походы Олеговы».

Мы видим, как вновь и вновь поэтическая стройность «Слова» нарушается воистину загадочным «напарником» Бояна. Каждый раз, доходя до имени Ходыны, мы попадаем в тупик: с одной стороны, текст становится ясным и простым, если мы принимаем Ходыну, с другой — Ходына как напарник Бояна по амебейному пению противоречит современному научному представлению о двуголосом пении, превращает текст «Слова» в цепочку анахронизмов и оксюморонов.

Странно и, вероятно, просто невозможно появление на последней странице «Слова» неизвестного песнетворца еще по одной причине. Автор «Слова» — гениальный художник, отличный психолог и мастер. В его поэме звучит прямая речь Бояна, Игоря, Всеволода, Святослава Киевского, Ярославны, Донца, Гзака и Кончака, но всякий раз голосу героя предшествует косвенное упоминание. Скажем, сначала словно вскользь обронена фраза про «замышления Бояна», потом следует рассказ о Бояне, и только после: «так бы ты, Боян, запел Игорю...» Здесь же, в самом конце «Слова», неизвестный певец безо всякой психологической мотивировки буквально врывается в текст, да еще и как будто «на плечах Бояна».

Как объяснить все это и есть ли выход из подобного текстологического тупика?

Нам представляется, что объяснить это нетрудно, и выход безусловно есть: Ходына — имя самого Автора.

Понимая всю меру ответственности за подобное утверждение, покажем теперь, что это не просто единственно возможное решение трудной текстологической задачи. Если мы будем исходить из контекста средневековой авторской поэзии, то убедимся, что перед нами всего-навсего общее место.

Гипотеза о том, что Ходына — «подпись» творца «Слова», принадлежит одновременно советскому переводчику А. Г. Степанову и американскому писателю, переводчику «Слова» на английский В. В. Набокову. Однако Степанов предложил некоторую правку текста,[45] и она не была принята специалистами, а догадка Набокова, высказанная им уже после выхода его перевода и комментария «Слова» в тексте англоязычного романа «Бледный огонь»,[46] вообще не попала в поле зрения филологов, да, пожалуй, и не могла попасть — ведь Набоков подал ее столь

---

[45] Слово о полку Игореве: Поэтические переводы и переложения. М., 1961, с. 363—364.

[46] *Набоков В.* Бледный огонь / Пер. В. Набоковой. Мичиган, 1983, с. 232—233, 299. См. также: The Song of Jgov's campaign / Translated from old russian by Vladimir Nabokov. New York, 1960. В этом издании, впрочем, отсутствует даже упоминание о Ходыне.

по-набоковски, что требуется особый комментарий к его комментарию.

Итак, вновь: *Рекъ Боянъ и Ходына...*

Нас не должно удивлять ни то, что Ходына говорит вместе с песнетворцем XI в., ни то, что оба называются «Святославовыми песнетворцами», ни то, что «подпись» Автора звучит в третьем лице. Все это — и вполне в духе «Слова», и вписывается в своеобразный канон средневекового авторского мышления, и укладывается в закономерности исторической поэтики средневековья.

Вспомним, что Данте путешествует с Вергилием, а грузинский поэт и царь Арчил II запросто из XVII в. обращается к царю и поэту Теймуразу (начало того же столетия) и одновременно к поэту XII—XIII вв.: «Скажу царю и Руставели»,[47] что, впрочем, даже по конструкции напоминает: «Сказали Боян и Ходына».

Объединение двух одинаковых имен двух правителей разного времени — для средневековья не редкость. Современник Автора «Слова» великий Низами «на дороге любви» к правителю пишет в «Сокровищнице тайн»:

Двух славных поэтов две книги на суд,
И обе печать Бехрамшахов несут.[48]

А древнеанглийский поэт Деор, как мы уже видели, называл себя «хеоденингов певцом», но тут же в единственном числе — «любимым господину».

Остается лишь показать, что у Бояна в XI в. был свой «каган» — Святослав Ярославич Киевский, а у Автора в XII в. свой — Святослав Всеволодич Киевский. Его единственного признает Автор главой Русской земли. Его образ сначала мелькает напоминанием о звенящей в Киеве славе его похода 1184 г., потом говорится и о пленении Кобяка, и о сне Святослава. После толкования сна боярами следует знаменитое «Золотое слово». Даже Ярославна напоминает Днепру, что тот «лелеял Святославовы суда до стана Кобяка». А Игорь после возвращения из плена едет в Киев и спускается с «киевских гор», т. е. из терема Святослава по Боричеву к Пирогощей.

Образ Святослава Всеволодича — в буквальном и метафорическом смыслах центральный в «Слове», а в средневековой дружинной поэзии это означает, что поэт адресует свою песнь — в узком смысле этого слова — именно Святославу.

Но самое удивительное не в объединении двух киевских Святославов в одном выражении, а в том, что этот прием Автором был уже использован для подобного же «объединения» именно

---

[47] *Арчил II.* Спор Теймураза с Руставели. — В кн.: Поэзия народов СССР IV—XVIII веков. М., 1972, с. 470.

[48] *Низами.* Пять поэм. М., 1946, с. 29.

Святослава Всеволодича с другим Святославом, сыном Олега Гориславича (Святославича), отцом Игоря и Всеволода: «Ибо те два храбрых Святославича... пробудили „лжу“, которую усыпил отец их Святослав...» Слушатели древнерусской поэмы были вправе ждать рассказа о черниговском Святославе Ольговиче, но поэт неожиданно переосмысляет сказанное: «...грозный, великий, Киевский!» И говорит о том, как не отец, а двоюродный брат Игоря и Всеволода, феодальный «отец» всех русских князей, разбил Кобяка. Другими словами, отчество черниговским князьям дается не по их родителю, а по Киевскому Святославу!

Этот очень сильный и, безусловно, семантически наполненный поэтический прием, вписывающийся в поэтику «переосмыслений» Автора,— первое прямое упоминание о Святославе Всеволодиче. Ну а последнее — такое же «объединение» его «по имени» со Святославом Ярославичем, отцом Олега Гориславича. Такая зеркальность и в поэтике «Слова», в котором самореминисценции десятки раз выделяют соотнесенность начала и конца поэмы, подтверждают спиральное развитие каждого ее образа.[49]

Перед первой припевкой Бояна, которую тот по воле Автора произносит не кому-либо, а Игорю, звучит: «О Боян, соловей старого времени...». Сравним: «Боян и Ходына, песнетворцы старого времени...».

Но первая и последняя припевки «объединены» не одной самоцитатой: в начальной припевке Боян поет устами Автора его современнику, в конечной Боян с неким Ходыной говорят тому же Игорю! Трудно ли после этого угадать, кто этот Ходына? Оказывается, что отнюдь не случайно перед начальной «цитатой» из Бояна сказано, что Боян бы так пел Игорю, «свивая славу обаполы сего времени». Тут, в конце поэмы, сам Автор накрепко «свивает» двух песнетворцев двух веков — Бояна и себя, «свивает» двух Святославов Киевских, «свивает» и время Ярослава с временем Олега.

Прием, которым Автор «подписывает» свое произведение в третьем лице, называется сфрагидой.[50] Любопытно, что первые сфрагиды, которыми «опечатывал» свои творения античный поэт-эпиграмматист («И это сказал Фокилид»), напоминают сфрагиду Ходыны.

Оба величайших современника Автора — Низами и Руставели — также пользуются сфрагидой. Руставели оттискивает свое имя в последнем стихе «Витязя в тигровой шкуре» с той лишь разницей, что, упомянув в предыдущих строках имена своих предшественников-поэтов, называет их и себя певцами прославленных ими героев, но не может сыграть на сходстве имен.

---

[49] Автор вообще любит играть именами. В другой раз он рядом упоминает «сына Глебова» и «удалых сынов Глебовых», но его слушатели знали, что это разные дети разных Глебов. Эпитет «храбрый» как бы сближает двух Мстиславов двух различных веков, и т. д.

[50] *Квятковский А.* Поэтический словарь. М., 1966, с. 292.

Список сфрагид скальдов, трубадуров и т. д. вплоть до поэтов Востока столь велик, что невозможно и простое перечисление тех «подписей» средневековых авторов, которые по употреблению перекликаются с «подписью» Автора «Слова». Назовем лишь тех, чьи имена своим содержанием напоминают имя Ходыны: это трубадур Серкамон, буквально — странствующий по свету (вторая треть XII в.), древнеанглийский поэт Видсид — широкостранствующий. Прибегал к сфрагиде и Гугон Примас Орлеанский, «первый гений» вагантов, поэтов, чье латинское прозвище переводится как «бродячие». Известно, однако, что не только средневековые поэты, но и прозаики использовали прием упоминания себя в третьем лице. Так делали, например, древнерусские летописцы.

Но достаточно сравнить сфрагиду Ходыны и сфрагиду Руставели или того же Деора, чтобы убедиться, что Ходына — не прозаик или переписчик, как считает А. Г. Степанов, а поэт. Специфика поэтических сфрагид в аллитерировании имени автора с созвучным именем нарицательным. И Деор, и Ходына аллитерируют себя со словом «любимец». Более того, Автор «Слова» тут же подхватывает: «коганя хоти — тяжко ти... зло ти...» Перед нами особая — поэтическая, «рифменная» семантика. «Тяжко и зло» может быть тому, кто назван государевым любимцем, т. е. Автору. И только после того, как припевка отзвучала, она переадресовывается Игорю, который, кстати, никакой не глава Русской земли, и сказать о нем так можно, лишь следуя средневековой поэтике переосмыслений.

Обыгрывание образа собственной головы, какую поэт может и потерять, если песнь не придется по вкусу адресату, для средних веков — также общее место, известное поэтам разных традиций. Можно было бы привести многочисленные параллели, но ограничимся указанием скальдической традиции «выкупов головы».[51]

В русском фольклоре аналогичные формулы известны каждому с детства: «Мой меч — твоя голова с плеч» и «Не вели казнить, вели слово молвить».

Не случайно, видимо, о своей голове Автор вспоминает в концовке «Слова». Приведем как параллель мнение М. И. Стеблин-Каменского о структуре скальдических хвалебных песен: «Драпа обычно начинается с просьбы скальда выслушать сочиненные им стихи. Затем следует перечисление воинских подвигов прославляемого и восхваляется его храбрость и щедрость. Заключение драпы может содержать просьбу скальда о награде за его произведение».[52]

Автор «Слова» тоже говорит о награде, но эта награда — не «скиллинги» Видсида, а собственная голова певца, как, скажем,

---

[51] См. подробно в кн.: Поэзия скальдов, с. 114 и далее, а также с. 137—139.
[52] Там же, с. 110.

у Эгиля Скаллагримссона, «бесспорно самого выдающегося из скальдов».[53]

Ходына — не просто имя, это поэтический псевдоним, если угодно — судьба. Странник, пилигрим, Ходына, очевидно, не был «придворным поэтом». Этим отчасти объясняется и его гражданская позиция защитника единства Русской земли, и та смелость, с которой он ведет речь о княжеских распрях, и тот воистину «космический» взгляд на землю, с перечислением многих стран, народов, рек и городов, что и в древнеанглийской поэме певца с аналогичным по семантике именем — Видсид.

Замечательно, что в конце XII в. Низами также считает, что придворный поэт рано или поздно проглотит «кусок железа»,[54] что песнетворец, хотя и может посвящать свою хвалу государю, но долго оставаться вблизи его персоны не должен. В этом контексте становится особенно понятно, почему во многих дошедших до нас значительных памятниках средневековой словесности поэты всячески подчеркивают, что они «гости» или «любимцы государей» — «когани хоти». Об этом точно сказал тот же Низами:

Кто мыслью подняться до истины мог, —
Главы не положит на каждый порог.[55]

Единственный порог, на который мог бы положить свою голову Автор «Слова», — порог Святослава Киевского. В этом убеждает нас целый ряд историко-политических обстоятельств, равно как и контекст всей поэмы.[56] И все-таки поэтическая и политическая позиция «Святославова песнетворца» много шире, глубже, чем даже позиция киевского государя. За 39 лет до Калки поэт видит надвигающуюся из Поля катастрофу Киевской Руси, угадывает страшные последствия княжеской розни. Главный его герой, как неоднократно отмечали исследователи «Слова», — не Игорь или Святослав, а вся «Земля Руськая». Недаром Автор, как следует из «Слова», так много ходил по этой земле.

Как и Видсид, Ходына целиком оправдывает, «оплачивает» свое поэтическое имя всем текстом поэмы, ведь «Слово о полку...» — «Слово о походе...» Он, пользуясь его же выражением, «мыслью поля мерит», т. е. мысленно совершает весь путь Игоря от Новгорода-Северского до Каялы и от Каялы до Киева. Он ведет повествование «по былинам сего времени», противопоставляя этим «былинам» замышления Бояна. Помимо прочего, это еще и пространственное противопоставление. Боян не-

---

[53] Там же, с. 137.
[54] *Низами.* Пять поэм, с. 37.
[55] Там же, с. 36.
[56] Предположение, согласно которому Автор мог быть придворным поэтом или дружинником Игоря, фантастично: поэт, жалеющий и одновременно осуждающий правителя, не мог присутствовать при его дворе.

даром назван «соловьем старого времени», и четырежды подчеркнута в «Слове» вертикальность его передвижения: «мыслью по Древу», «волком по земле — орлом под облаками», «соловьем по мысленну Древу», «волком через поля на горы». Движение Ходыны параллельно движению русичей по плоскому Полю Половецкому. Можно сказать, что Автор замечает каждую былинку (др.-рус. *былие* — сухая высокая трава) во время прохождения полка к Каяле, играет созвучными словами «былины» — «былие», как в случае с Бояном играл созвучными «замышление» — «мысль» — «мысь» (или «мыстль» — зверек, белка). Такая игра встречается в «Слове» десятки раз, и это вполне соотносится с «темным», «магическим», «странным» стилем современников Автора — трубадуров, скальдов, Низами.[57]

Другое дело, что Автор, видимо, и в самой полемике с Бояном опирается на традицию Бояна, во многом развивая и переосмысляя ее. По свидетельству Кирилло-Белозерского списка «Задонщины», того самого, где имя Бояна прочтено переписчиком правильно, «горазд гудец» в Киеве «пояше славу русскыим княземъ, первому князю Рюрику, Игорю Рюриковичю и Святославу Ярославичу, Ярославу Володимеровичю». И хотя в других списках — другие имена, у нас есть все основания доверять именно этому тексту, потому что в нем намечена удивительная параллель к тому, что мы знаем из «Слова».

Оказывается, по мнению автора «Задонщины», Боян действительно «свивал славы обаполы» своего времени, сравнивая современных ему князей XI в. с князьями X в.! В «Слове» только глухой намек на это, а в «Задонщине» говорится впрямую. Можно предположить, что в Древней Руси минимум до XV столетья еще бытовали какие-то легенды о вещем песнетворце Святослава Ярославича. Иначе, перед нами более чем странный случай: если автор «Задонщины» узнал о Бояне только из «Слова», то мы должны признать его поразительные текстологические способности, ведь он не только правильно понял смысл выражения «Святославовы песнетворцы», но и, исходя из манеры Автора сравнивать князей XII в. с князьями времени Бояна, сделал вывод, что Боян так же сравнивал князей двух столетий, «свивая славу обаполы. . .»

Итак, на последней странице поэмы песнетворец Святослава Всеволодича называет поэтов государевыми любимцами старого

---

[57] Известно, что «почти каждая строка поэм Низами допускает ряд интерпретаций». Это позволяет исследователям утверждать: «Вероятно, что во многих деталях мы еще заблуждаемся, не чувствуем ряда тончайших намеков. . .» (*Низами.* Пять поэм, с. 19, 21). Очевидно, все это справедливо и для поэтики «Слова», если оно — поэтическое авторское произведение конца XII в. Только в XIII в. в противовес «темному» распространяется новый, «ясный» стиль. Одним из первых так начинает писать младший современник Автора «Слова» — Руставели. При этом он сам указывает на новизну своего стиля, в отличие от Автора, который ведет рассказ «старыми словесы» и связан с магической архаикой.

времени и называет себя певцом этого старого времени Ярославова—Олегова. Так и Боян назван в «Задонщине» певцом сначала Рюрика и Игоря (он, очевидно, вспоминал, воспевал их), а потом и певцом Ярослава и Святослава Ярославича.

Пока поэтическая традиция жива, живы и поэты. Потому-то с такой легкостью они протягивают друг другу руки через века: Данте — Вергилию, Арчил — Теймуразу и Руставели, Алишер Навои — Низами Ганджеви, Амиру Хосрову Дехлеви и своему современнику Джами.

Я верю — мне поможет Низами,
Меня Хосров поддержит и Джами.
Тогда смелее к цели, Навои!..[58]

Говоря о проблеме атрибуции средневековых письменных произведений, Д. С. Лихачев подчеркивает: «„Официальные“ данные об авторе в названии произведения менее достоверны, чем неофициальные. Косвенные указания более бесспорны, чем прямые...» И еще: «Надо в первую очередь внимательно изучить все высказывания автора произведения о самом себе, сделаны ли они в третьем лице или в первом».[59]

Сфрагида Ходыны в «Слове» сделана в третьем лице, но это «косвенное указание» как раз и свидетельствует о ее «неподдельности». А самый широкий контекст средневековой авторской поэзии Востока и Запада, равно как и поэтический контекст самого «Слова» подтверждают, что перед нами не двойная, ошибочная или мистификационная атрибуция припевки Бояна (вспомним мнение Ал-Хатами), а именно сфрагида Автора.

И, может быть, решающим аргументом будет то, что Ходына так же аллитерирует свое имя со словом «хоти» (любимцы), как Деор в своей сфрагиде аллитерирует себя с dyre (любимый).

В 1975 г. в Новгороде археологи нашли пятиструнные гусли середины XI в.[60] Музыкальный инструмент был опечатан сфрагидой — именем «Словиша» (Соловушка). Значит, нам известны три имени древнерусских песнетворцев: Словиши, Бояна и Ходыны. Последнее имя, если наши рассуждения были верны, — поэтическое имя автора великой поэмы XII столетья.

---

[58] *Навои А.* Смятение праведных: Отрывки из поэмы. Ташкент, 1983, с. 14.

[59] *Лихачев Д. С.* Текстология: На материале русской литературы X—XVIII вв. 2-е изд. Л., 1983, с. 343, 344.

[60] *Колчин Б. А.* Гусли древнего Новгорода. — В кн.: Древняя Русь и славяне. М., 1978, с. 361—364.



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ИОЛЯ	— Известия Отделения литературы и языка Академии наук СССР.
ПСРЛ	— Полное собрание русских летописей.
РО БАН	— Рукописный отдел Библиотеки Академии наук СССР (Ленинград).
СОРЯС	— Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук.
Срезневский	— *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1893—1912, т. 1—3.
ТОДРЛ	— Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР.
ЦГИА	— Центральный государственный исторический архив в Ленинграде.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТЫ О «СЛОВЕ»

Исследования «Слова о полку Игореве»

*Утверждено к печати
Институтом русской литературы
(Пушкинский Дом) Академии наук СССР*

Редактор издательства Н. А. Ивановская
Художник О. М. Разулевич
Технический редактор Н. Ф. Соколова
Корректоры О. И. Буркова, Г. В. Семерикова
и К. С. Фридлянд

ИБ № 21559

Сдано в набор 20.08.85. Подписано к печати 20.02.86.
М-24868. Формат $60 \times 90^1/_{16}$. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ.
л. 18.5. Усл. кр.-отт. 18.68. Уч.-изд. л. 21.2. Тираж 13700.
Тип. зак. 753. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука», Ленинградское отделение
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская лин., 1

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

2 р.

Исследования „Слова о полку Игореве“



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ